Цена свободная

Индекс 73274

ЖУРНАЛ "НАШ СОВРЕМЕННИК"

до конца 1992 года предполагает опубликовать следующие произведения:

Василий БЕЛОВ. **Год великого перелома.** Третья, заключительная часть романа-хроники.

Олег ВОЛКОВ. **Воспоминания.**

Михаил ВОРФОЛОМЕЕВ. **Куст шиповника.** Повесть.

Ирина ГОЛОВКИНА (РИМСКАЯ-КОРСАКОВА). **Побежденные.** Роман. Книга 3-я.

Вадим КОЖИНОВ. **История Руси и русского Слова.** От зарождения государства до Смутного времени (конец VIII в. – начало XVII в.).

Владимир КРУПИН. **Как только, так сразу.** Повесть.

Станислав КУНЯЕВ. **Сергей Есенин.** Из серии "Жизнь замечательных людей".

Юрий ЛОЩИЦ. **"UNION".** Роман.

Николай ПОПКОВ. **Чужая песня.** Повесть (предисловие Валентина Распутина).

Аркадий САВЕЛИЧЕВ. **Потоп.** Роман.

Из архивов ВЧК – ОГПУ – НКВД – КГБ:

Дело Сибирской бригады 1932 года (Сергея Маркова, Леонида Мартынова, Павла Васильева, др.);

Дело Есенина – Кусикова 1920 года;

Дело Павла Васильева 1937 года;

Дело Юрия Есенина 1937 года;

"Умоляю вас о помощи..." (Женские судьбы в эпоху Большого Террора).

Статьи Геннадия АВРЕХА, Владимира БОНДАРЕНКО, Юрия БОРОДАЯ, Петра ГОНЧАРОВА, Александра КАЗИНЦЕВА, Сергея КУРГИНЯНА, Михаила ЛОБАНОВА, А. В. МИХАЙЛОВА, Ксении МЯЛО, Михаила НАЗАРОВА, Николая СКАТОВА, Шамиля СУЛТАНОВА, Игоря ШАФАРЕВИЧА, других авторов.

Наш современник. 1992. № 5, 1–192.

НАШ СОВРЕМЕННИК №5 1992

НАШ СОВРЕМЕННИК

Журнал писателей России



№5 1992



АРМИИ
НАШЕГО
ОТЕЧЕСТВА
ПОСВЯЩАЕТСЯ
ЭТОТ НОМЕР



Мы долго молча отступали,
Досадно было, боя ждали,
Ворчали старики:
"Что ж мы?
на зимние квартиры?
Не смеют, что ли,
командиры
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?"

М. Ю. Лермонтов.
"Бородино".



● Командующий Черноморским флотом адмирал Игорь КАСАТОНОВ
● Закавказье. Дороги войны.
● Цхинвали. "Спаси, сынок!"
Фото Б. РЫБАКОВА, К. ПАНЬШЕВА.



НАШ СОВРЕМЕННИК

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Союз писателей Российской Федерации
и трудовой коллектив редакции

№5 1992

ИЗДАТЕЛЬСКО-
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПИСАТЕЛЕЙ
МОСКВА

Содержание

Технический редактор Л. Л. Ежова   Корректоры С. А. Артамонова, М. В. Масленникова

Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 30. Телефоны: 200-24-24 (главный редактор), 200-24-94, 200-24-83 (заместители главного редактора), 928-32-16 (ответственный секретарь), 921-48-71, 200-23-05 (отдел прозы), 200-23-07 (отдел поэзии), 200-24-28 (отдел очерка и публицистики), 200-24-70 (отдел критики), 200-24-76 (отдел писем, корректоры), 921-43-59, 200-24-32 (бюро проверки, технический редактор), 200-24-12 (зав. редакцией)

Сдано в набор 11.03.92 г. Подписано к печати 13.04.92 г.
Формат 70×108¹/₁₆. Бумага типографская № 2. Высокая печать.
Усл. печ. л. 16,6 Усл. кр.-отт. 17,24 Уч.-изд. л. 21,35 Тираж 177 731 экз. Заказ 394

ИПО писателей, 103750, Москва, Цветной бульвар, 30.
Ордена «Знак Почета» типография газеты «Красная звезда».
123826, ГСП, Москва, Д-317, Хорошевское шоссе, 38.



Вечная Россия

КИРИЛЛ,
митрополит Смоленский и Калининградский



СОХРАНИ НА МНОГАЯ ЛЕТА

(СЛОВО НА ВСЕАРМЕЙСКОМ ОФИЦЕРСКОМ СОБРАНИИ)

ПРАВОСЛАВНАЯ Церковь за каждым своим богослужением молится о Вооруженных Силах. Существует специальное прошение о властях и воинстве. Церковь не молится специально ни о какой другой профессиональной категории. Почему? Да потому, что власть предержащие и воинство обладают особой силой воздействия на людей. От них зависит в большей степени, чем от кого-либо другого, судьба народа и государства, судьба людей, наконец, сам драгоценный и священный дар человеческой жизни. Здесь особенно велика цена ошибки или преступления, особенно страшными и разрушительными могут стать последствия греха и нравственного развала. Церковь молится за властей и воинство, призывая помощь Божию, Божие водительство для укрепления их нравственных и духовных сил, дабы они были способны в голосе своей совести слышать голос Бога, любящего Отца всех, уметь видеть страдания слабых и беззащитных людей.

Сознавая высоту ответственности людей ратного труда, Церковь окружала их заботой, вниманием и любовью. История сохранила нам трогательные повествования о полковых священниках, разделявших со своей паствой все трудности армейской жизни. К великой скорби, семь десятилетий общество наше потешалось и глумилось над памятью православных священников и яростно топтало могилы и тех пяти тысяч военных священников,

---

КИРИЛЛ (в миру — Владимир Гундяев), митрополит Смоленский и Калининградский. Выпускник Ленинградской духовной академии, в 1974 году — ее ректор, в 1976 году — епископ Выборгский, позже — архиепископ Смоленский и Калининградский. Председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата

которые вместе со своей паствой гнили в окопах, шли в бой, горели и тонули на российских боевых кораблях. Даже по неполным данным, за годы Первой мировой войны военным священникам было вручено более 1200 высших боевых орденов.

Церковь заботилась о нравственном и духовном состоянии воина еще и потому, что воин обязан быть предан своему долгу совершенно особым образом, как никто другой, ибо выполнение воинского долга требует самого страшного — отдания собственной жизни. Долг же — понятие не столько юридическое, сколько нравственное. Никакой устав или закон не могут заставить человека добровольно переступить страшную черту, отделяющую жизнь от смерти. Самопожертвование есть отказ от себя во имя других. Это нравственный и духовный подвиг, его не способен совершить человек, внутренне слабый и порочный. Именно поэтому воинов причисляли к лику святых. И среди них святой великомученик Георгий Победоносец, святой благоверный великий князь Александр Невский и другие.

Поэтому воин, как никто другой, нуждается в сохранении высоких идеалов и нравственной целостности. Подрыв этих идеалов лишает воина нравственной мотивации его ратного труда и превращает в наемника. Армия без высоких нравственных идеалов не только теряет способность защищать Отечество, но становится силой, опасной для своего собственного народа. Не случайно, что нравственное и идейное разложение армии противника всегда было особо важной задачей противоборствующих сторон.

Сейчас много говорят о внутренних проблемах армии и флота. Наверное, много справедливого и в той критике, которая существует, и не следует закрывать глаза или делать вид, что все в порядке. Но отношение к армии должно быть справедливым, а критика не должна превращаться в охаивание и шельмование.

Совсем недавно я посетил соединения кораблей Балтийского флота. Я должен вам сказать от сердца к сердцу: это был для меня трогательный опыт глубочайших духовных переживаний. Что я увидел на кораблях Балтийского флота? Я увидел там подвижников, которые в тяжелейших условиях — простите меня, в нищете, в отрыве от семей, без достаточного питания, без нормальных условий жизни — несут тяжелейшую службу. Что движет этими людьми? То единственное, чего они не потеряли, — любовь к своему народу и к своему Отечеству.

Давайте подумаем, что будет с этими людьми, с армией, с народом нашим, если вооруженные люди потеряют этот великий нравственный стимул — жертвенно, подвижнически нести свое воинское ратное служение?

Нравится это кому-то или нет, но фактом является то, что сложилась историческая общность народов, населяющих наше Отечество. Эта общность сложилась не за последние семь десятилетий, и она ничего не имеет общего со сталинской империей. Этой общности тысяча лет, по крайней мере для славян, крещенных в единой киевской купели, и не одно столетие для других народов.

Историческое и культурное развитие этих народов сопровождалось ростом национального самосознания. Демократизация общественной и политической жизни способствовала ускорению процесса самоопределения народов, появлению на исторической сцене новых независимых государств, обладающих государственным суверенитетом. Это исторический факт.

В политике некоторых из этих государств обнаруживается сейчас сильная тенденция к радикальной реализации своего суверенитета. Исторически такие настроения понять можно. Во многом они являются реакцией на прошлое со всем его бесчувствием к национальному, культурному и религиозному началам.

Но что важно понять сегодня политическим лидерам, так это то, что никакие границы не способны разделить многовековую общность людей. И чем радикальнее будет проводиться политика разделения, тем меньше шансов у нее на успех. Ибо невозможно разделить семьи, оторвать детей от родителей, провести границу между мужем и женой.

Мы действительно во многом стали единым народом. И это не пропагандистский штамп из недавнего прошлого! Это результат многовековой совместной жизни. Все мы породнились, наша кровь смешалась, переплелись судьбы. И эти человеческие связи гораздо прочнее и гораздо важнее любых материальных связей. Не учитывать многовековой истории — значит повторить трагическую ошибку прежних властей, которые, говоря о единстве народа, игнорировали национальные начала, но теперь повторить ее как бы с обратным знаком, бросив вызов исторической общности людей. Поступить так — означает войти в конфликт с десятками миллионов людей, заложить, если хотите, бомбу, которая когда-то непременно взорвется. Границы и разделения, проведенные через человеческое сердце, обречены на разрушение, как была обречена на разрушение Берлинская стена.

Именно поэтому политика радикального суверенитета в наших условиях не может быть осуществлена без огромного риска нанести нравственный ущерб обществу и спровоцировать тягчайшие социальные последствия. В этих условиях наиболее гуманным, благородным и жизнеспособным было бы добровольное самоограничение государств в осуществлении их суверенитета. Когда это делается свободно и сознательно, без внешнего принуждения и нажима, то такое самоограничение не несет в себе ничего оскорбительного для государств. Но напротив, свидетельствует об их силе и мудрости их руководителей. История и современность дают много достойных примеров такой мудрости.

Совершенно очевидно, что мудрость эта должна быть в первую очередь проявлена в области строительства собственных вооруженных сил. Почему? Да потому, что создание полноценных современных армий — не военных формирований, призванных обеспечить внутреннюю безопасность и порядок в независимых государствах, а именно полноценных современных армий, — находящихся в непосредственной близости друг к другу, таит в себе огромную опасность. Ибо граница между армиями — это единственная граница, которая способна превратиться в боевой фронт.

И разделение единой армии беспокоит Церковь опять-таки не из-за геополитических соображений, не по причине нарушения военных балансов, а по той причине, что разделение ее — великая угроза нашей общей безопасности, угроза, проистекающая от нас самих.

Есть также и особые нравственные причины, побуждающие Церковь возвысить сегодня свой голос по этому вопросу. Опять сошлюсь на опыт своего общения с моряками-балтийцами. Командир одного из соединений поведал мне свою историю. Он — на Балтийском флоте, сын его — офицер на Черноморском флоте. Но что будет, если отец и сын примут присягу различным государствам? А ну-ка, если эти государства, сохрани Бог, да когда-нибудь вздумают свои отношения силой оружия выяснять! Что же, отец на сына и сын на отца руку поднимать будут?!

Сегодня на всех нас лежит огромная, эпохальная ответственность: перед лицом великой нашей истории, перед лицом нашего многострадального народа сделать все для того, чтобы гармонично сочеталось национальное развитие суверенных государств с многовековой исторической общностью их народов.

То, что я сегодня сказал, думаю, является отражением мнения не только Русской Православной Церкви. Ведь мы — многонациональный народ, и армия наша многонациональная, и вместе служат в ней и наши братья-христиане неправославные, и мусульмане, и буддисты, и иудеи. Я был бы рад, если сказанное могло выразить чаяние всех верующих людей, их тревогу, озабоченность и надежду.

В особо торжественные дни в православных церквах возносится замечательное Многолетие. Я позволю себе привести его здесь.

«Благоденственное и мирное житие, здравие же, и спасение, и во всем благое поспешение подаждь, Господи, богохранимой Стране нашей, властям и воинству ея и сохрани их на многая лета».





ВИКТОР ВЕРСТАКОВ



НАШИ ПОГОНЫ И НАШИ КРЕСТЫ

Прощайте, маршалы Державы

Прощайте, маршалы Державы,
морщинистые старики.
Воспоминанья вашей славы
встречает молодость в штыки.

Вы были взводными в тридцатых
и ротными в сороковых,
оставшись чудом средь живых,
чтоб очутиться в виноватых.

Вскрывая давние нарывы,
мы полоснули невпопад,
забыв, что в боли молчаливы
бойцы — и маршал, и солдат.

А все же вы тогда, в начале,
себя и нас могли спасти...
Но вы терпели, вы молчали,
вы в нас поверили почти...

Прощайте, маршалы народа,
вдруг позабывшего бои
ради побоищ за свободу.
Простите, маршалы мои.

* * *

По правую руку —
твой ангел-хранитель
незримо шагает с тобой.
По левую —
прыгает черт-искуситель,
довольный своею судьбой.

В стране православной
привычно от века
вдоль правых обочин идти.
И ангел не вправе
теснить человека
в житейском и вечном пути.

ВЕРСТАКОВ Виктор Глебович родился в 1951 году в семье офицера. Окончил Военно-инженерную академию имени Дзержинского. Автор поэтических и прозаических книг «Традиция», «Пылает город Кандагар», «Прости за разлуку» и других. Служит в Советской Армии, полковник. Член Союза писателей. Живет в Москве.

Он послан держаться
по правую руку
на грязном дорожном краю,
готовый на помощь,
готовый на муку
за грешную душу твою.

А черту шагается вольно и споро
по левой пустой стороне, —
есть время на пляски
и на разговоры
о варварской русской стране.

Ослабнешь и спросишь:
неужто от Бога
ниспослан неправый закон,
что дьяволу слева —
просторна дорога,
а справа — и ангел стеснен?

Давно устарели слова и напевы,
и ты постарел на пути.
И все-таки, все-таки,
все-таки слева
постыдно в России идти.

* * *

На парадах замерзали,
но стояли, как стена,
и в Георгиевском зале
получали ордена.

Возвращались из столицы
на флота и в округа,
на тревожные границы,
на крутые берега.

В общежитиях фанерных
китель вешали на гвоздь
молодые офицеры,
голубая кровь и кость.

И опять в комбинезонах
принимались за труды.
На истершихся погонах —
ни просвета, ни звезды.

То в солярке, то в мазуте,
то в дыму пороховом,
то в старпомовской каюте,
утираясь рукавом,

то в бумагах утопая,
то ныряя в дизеля,
то махорку закупая
и в кулак ее паля...

В час бессонного досуга
волновались горячо,
шестиструнная подруга
грифом билась о плечо.

Разумеется, под песни
принимали грамм пятьсот.
Разумеется, хоть тресни, —
в пол-восьмого на развод.

И опять — казармы, поле,
хозработы и стрельба.
Гарнизонная неволя,
офицерская судьба...

Разве жили мы иначе
в те недавние года
и противнику без сдачи
отдавали города?

Разве в золоте парада
громыхала сила зла,
разве сплошь не той, что надо,
наша армия была?

В общежитиях фанерных
пьет уволенный народ,
вспоминая сорок первый
и девяносто первый год.

* * *

Бог песнопевцев и странников
любит,
снова я выжил в бою.
Крест не спасет и звезда не погубит
горькую душу мою.

С ветру ли, с дыму
глаза заблестели,
в поле не видно ни зги,
где коченеют на снежной постели
братья мои и враги.

Пули нашли виноватых и правых,
в будущее не летят.
Славься в земных и небесных
державах,
Родина павших солдат.

Кто был спасением, кто был бедою,
как разгляжу в темноте, —
если сам Бог был живою звездою
на деревянном кресте.

* * *

Ах, пуля, конечно же, дура,
но это еще ничего...
Пьет штабс-капитан из главпура
с корнетом из войск ПВО.

Кремлевские звезды в оконце
опять обратились в орлов,
восходит трехцветное солнце
из красных советских углов.

В музейном Успенском соборе
гремит литургия опять...

И значит, за Черное море
нам скоро пора отплывать.

Сбежится с окраин Союза
орда голопузых господ,
стреляя в осевший от груза
ооновский наш теплоход.

А впрочем, куда торопиться,
товарищи штабс- и корнет?
Еще мы успеем напиться
и в землю зарыть партбилет.

* * *

Под небом гибнущей державы,
в дыму и заревах огня
воспоминанья русской славы
смутят ли давностью меня?

Безвестны нам пути Господни,
но светит прошлое во мгле.
Происходящее сегодня
происходило на Земле.

Очарованием свободы
преследовали силы зла
непокоренные народы,
богоугодные дела.

И восставали брат на брата,
обмануты, ослеплены,
и гибли русские солдаты,
рукою русской сражены.

И силы зла торжествовали
и пировали во Кремле.
Да, мы друг с другом воевали,
да, это было на Земле.

Но и прозренье наступало,
вливался в души Божий свет,
и возвращались из опалы
герои будущих побед.

Сбирались вновь святые рати,
привычно строились полки.
И угасали на закате
чужие стяги и штыки.

Развеивались злые чары,
личины падали с врагов.
И очистительною карой
плескала Русь из берегов.

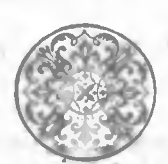
* * *

Побелела звезда жестяная,
и красны от закатов кресты.
И витает печаль неземная
над землею святой пустоты.

Стали черными белые кости,
стали черные кости черней,
на забытом российском погосте
породнившись за тысячи дней.

Вся Россия — могилы, могилы,
пусть на них ни крестов уж,
ни звезд —
неземная незримая сила
указует священный погост.

Отчего же, скорбя над пустыней,
небеса высоки и чисты?
Для чего же все зримее ныне
наши звезды и наши кресты?





ПРОЗА

ИРИНА ГОЛОВКИНА (РИМСКАЯ-КОРСАКОВА)

ПОБЕЖДЕННЫЕ

РОМАН

Глава десятая

Наталья Павловна писала мемуары. При этом она всегда садилась в старинное кресло, на спинке которого красовался вышитый герб Бологовских — башня и скрещенные мечи. В этом же кресле она занималась вязаньем — распускала и заново перевязывала семейные шерстяные вещи, выходившие из строя. Это была та добровольная обязанность по дому, которую она взяла на себя в дополнение к обязанностям кассира и главного диспетчера. Мадам прибирала, ходила по магазинам и изощрялась на кухне, стараясь разнообразить нехитрые блюда; молодая новобрачная была «девушкой на побегушках», судомойкой и помощницей в кухне. Олег взял на себя заготовку дров, топку печей и возню с пылесосом. Пылесос этот служил предметом постоянных шуток у молодой пары. Возней с пылесосом занимались обычно по воскресным утрам — в будни Олег возвращался со службы только к семи часам, и все старались сохранить вечер свободным от хозяйственных дел. Старшие дамы в эти часы садились часто за рукоделие. Мадам пробовала приохотить к рукоделию и Асю, но Ася органически не была способна высидеть за иголкой дольше десяти минут.

— Ничего не выходит! Бесталанная я! Распашонка моя не подвигается и уже завалялась: надо ее сначала выстирать. Завтра я по-настоящему примусь за дела, а сегодня я вам лучше Шопена поиграю, — заявляла она.

Мечтой ее было приохотить Олега к четырехручной игре, но Олег был не в ладах со всевозможными диезами и бекарами, аккорд со случайными знаками был для него, по собственному признанию, хуже, чем штурм сильно укрепленного пункта. Ася сердилась, и чем дальше продвигался урок, тем больше она превращалась в разгневанную амазонку. Но кончалось все неизменными поцелуями и объяснениями в любви.

Четырехручие не налаживалось. Тогда Ася ухватилась за другой план: еще года три тому назад она и Леля под руководством Сергея Петровича разучили множество народных русских песен. Красота и благородство старинных протяжных напевов, исполняемых a capella [1], настолько увлекали Асю и Сергея Петровича, что они готовы были каждый свободный вечер проводить за пением; дело обычно тормозила Леля, которая не всегда оказывалась под руками и не всегда имела желание петь. Однако она считалась с желаниями Сергея Петровича, и

Продолжение. Начало в №№ 1—4 за 1992 год.

[1] Всеми вместе *(итал.)*.

ансамбль процветал. После ссылки Сергея Петровича Асе первое время очень не хватало пения. Теперь она задумала воскресить его. Она несколько раз слышала, как Олег, трудясь над пылесосом или согревая себе воду для бритья, втихомолку мурлыкал старые офицерские песни, и заключила, что голос и слух у него достаточно хороши для участия в ансамбле. Трудность заключалась в том, что ей самой теперь предстояло занять должность Сергея Петровича. И в самом деле: начавшиеся спевки протекали так же бурно, как неудавшееся четырехручие, фальшивая нота оказывалась единственным, но безошибочным средством вызвать раздражение Аси. И все-таки Олег обожал эти занятия и спевки.

У Аси были свои мысли по поводу ее отношений с Олегом, но она доверяла их только Леле.

— Знаешь, мне иногда очень стыдно за мое счастье... Ты удивляешься? Я не знаю, как это объяснить... Когда я вижу вокруг себя столько печальных лиц — бабушку, твою маму, Нину Александровну — и еще многих, мне делается как-то совестно за свой сияющий вид и за свое слишком большое счастье. Почему только я? А я ведь очень требовательная: если бы я хоть раз услышала, что муж говорит со мной небрежно, ворчливо или с упреком, мне стало бы невыносимо обидно, и я бы этого уже никогда не забыла. Но я вижу, что его взгляд становится лучистым, когда обращается на меня, — вот мое счастье.

Леля задумчиво помешала в камине, около которого они сидели.

— Интересно, каков-то будет «мой»? Он должен быть немного в другом роде. Мне мужчины из «бывших» не нравятся. Они все какие-то пришибленные, с постными лицами. Шура — невинный теленок и маменькин сынок; твой Олег — мужчина, конечно, настоящий, но он слишком серьезен и чересчур уж пропитан хорошим тоном. В дворянской семье с девушкой мужчина должен держаться уже известным образом, а мне все это приелось до тошноты.

— Валентин Платонович ухаживает за тобой, — сказала Ася.

— В последнее время даже очень энергично. И я вижу, что маме страшно хочется, чтобы он сделал мне предложение. Знаешь, что в глазах мамы главным образом говорит за него? Не то вовсе, что он зарабатывает прилично! Он красиво, по-офицерски, кланяется и подходит к ее ручке; в обществе он сыплет остротами, он — свой, прежний, он — паж, это все определяет! А мне иногда досадно на Фроловского: в нем есть что-то наперцованное, а он облекается в рыцарские доспехи, которые мне вовсе не нужны. С ним можно было бы очень весело провести вечер, если бы он захотел совсем немножко изменить тон — ну, пусть бы нежданно-негаданно поцеловал меня или умчал на крышу «Европейской» гостиницы... хоть какую-нибудь экстравагантность!.. Я думаю, я окажусь в будущем темпераментной женщиной: когда-нибудь меня прорвет, вот как весной плотину.

— Глупости, Леля. Ты всегда что-нибудь выдумаешь, чтобы доказать, что ты нехорошая, и никто все равно этому не верит.

— А вот, кстати, о «крыше». Знаешь, что случилось в последнее воскресенье? Соседка — Ревекка — взяла меня с собой в гости к своей сестре; был там их знакомый — инженер будто бы, теперь ведь все именуют себя «инженерами». По типу — армянин, и очень недурен, а может быть, и еврей — не поручусь. Сначала я ничего не заметила, а когда сели пить чай, вижу — ухаживает: комплименты мне говорит, угощает, забавляет анекдотами, самыми пикантными — у нас таких не рассказывают; я все время боялась покраснеть. Ну, а когда собралась уходить, он вышел тоже. В двух шагах стоянка такси; он подходит к машине, распахивает дверцы и говорит: «Прошу вас! Если желаете — прямо на крышу «Европейской» гостиницы!» Я остолбенела от неожиданности и... знаешь... отвернулась и ушла не оборачиваясь. Я все-таки хочу для себя чего-то лучшего, чем случайные объятия... постороннего.

Ася испуганно схватила ее руку:

— Неужели он в самом деле имел дурные цели, приглашая тебя?

— Не сомневаюсь! — усмехнулась Леля. — Я хорошо знаю мужчин. Скажу тебе по секрету: я однажды уже побывала в «Европейской», только это было днем и не на крыше, а в зале; притом, я была с Ревеккой и ее мужем. Ревекка очень бережно ко мне относится — мама напрасно косится на это знакомство. Конечно, это совсем другой круг — это новая, советская, интеллигенция, выходцы из низов, евреи, два-три армянина, есть и русские. Это все дельцы, у них есть деньги, они гораздо увереннее и веселее. Говорят, гепеу начинает коситься на тех ответственных работников, у которых завелись большие деньги. Ходит даже анекдот, что с «крыши» видны Соловки. Но эти не унывают: как только приехали в ресторан, тотчас каждой даме — воздушный шарик, цветы, конфеты, блюда, какие пожелаем... Деньги так и летели... Между столиков танцевали фокстрот, и я танцевала тоже. Я имею там успех: это своего рода экзотика для них — русская аристократочка. Ты вот там никогда не побываешь! Ты, как жена своего мужа, будешь с ним вместе решать, как лучше истратить ваши общие деньги; а когда их бросает чужой мужчина с тем, чтобы провести с тобой вечер, в этом есть особое наслаждение — пикантное и острое, — и оно наполняет тебя желанием очаровать этого человека, который сам, очевидно, желает того же... Во всем этом что-то пряное, одурманивающее, чему не место с человеком, которого ты уже изучила, с которым встречаешься в ежедневной жизни. Может быть, в моих новых знакомых есть привкус дурного тона, мама потому и воюет, но это ново для меня и любопытно при нашей однообразной жизни. — И прибавила, грея перед камином руки: — А знаешь, я вчера встретила Нину Александровну с незнакомым мне моряком. И ей досадно было на эту встречу, я тотчас это почувствовала. Я всегда понимаю все недоговоренности!

— Глупости какие! Ну почему «досадно»?

— А если этот элегантный моряк ухаживает за Ниной Александровной и она не хочет, чтобы в вашей семье знали это?

— Нина Александровна сумеет, поверь, прекратить всякие попытки в этом роде, и скрывать ей нечего.

— Ты так уверена?

Вошел Олег.

— Пожалуйте обе в гостиную — пришел Фроловский.

Валентин Платонович явился прямо из кино поделиться с друзьями впечатлением. Перед началом фильма демонстрировался журнал, долженствующий обработать соответственным образом мнение трудящихся по поводу предстоящей паспортизации, а в сущности, это было попросту натравливание одних социальных группировок на другие. Провинциальная контора по выдаче паспортов; счастливые работницы одна за другой прячут за пазуху драгоценный документ — путевку в лучшую жизнь! Но вот появляется бывшая владелица мелочной лавочки, глаза ее беспокойно бегают, и весь вид самый жалкий и растерянный... В паспорте ей, разумеется, отказывают, и все присутствующие удовлетворенно улыбаются, уверенные, что отныне классовый враг обезврежен и ничто уже не помешает их счастью... Другая сцена — митинг на заводе, где сознательная молодежь разоблачает классового врага, который в недавнем прошлом... и тому подобная гнусность.

— Одним словом, приятно провел время и теперь преисполнен самых радужных надежд на будущее! — говорил Валентин Платонович, играя с пуделем, который прыгнул к нему на колени, как только он уселся в качалку.

Тотчас после ужина Валентин Платонович странно коротко и серьезно сказал Олегу:

— На два слова, конфиденциально.

И оба вышли в бывшую диванную.

— Прежде всего прошу тебя, чтобы этот разговор остался между нами. Три дня тому назад я получил приглашение в гепеу.

— Ах, вот что! Продолжай, пожалуйста.

— Там мне преподнесли: «Нам хорошо известно, что вы окончили Пажеский в тысяча девятьсот пятнадцатом году». Я поклонился: «Имел несчастье», — говорю. «Скажите, встречаетесь ли вы с прежними товарищами?» — «Нет, говорю. Очень занят, нигде не бываю». А они мне: «Стереотипная фраза, которую мы знаем наизусть! Перечислите нам ваших однокашников». Я стал им старательно перечислять всех, о которых точно знаю, что погибли. «Так, говорят, а Дашкова отчего не назвали?» Я уже хотел ответить «убит в Крыму», но показалась мне неуверенность в их вопросе — знаю ведь я их манеру говорить о неустановленных фактах, как о вполне достоверных, чтобы вернее заставить проговориться. Почуял, знаешь, что и здесь не без того. Попробую, думаю, сбить со следа, рискну. «Дашков, отвечаю, не нашего выпуска — лет на пять старше, Дмитрий Андреевич, капитан, убит в боях за полуостров». «Точно ли убит?» — спрашивают. «Слышал от очевидцев», — отвечаю. И вдруг они мне преподносят: «А к кому вы ходите на улицу Герцена? Какие у вас там товарищи?» — «Помилуйте, говорю, товарищей там у меня нет — там старуха и внучка прехорошенькая: регулярно бываю у них раз или два в месяц, знакомы с детства». «И с мужем внучки знакомы?» — спрашивают. «Познакомились на их свадьбе, отвечаю, простоват немножко, мужик, однако парень симпатичный!»

Олег усмехнулся.

— Ну, так ты, положим, не сказал! Что ж дальше?

— Взяли расписку, что разговор останется в тайне, и отпустили. Я хотел прийти на другой же день, да побоялся, что такая поспешность покажется подозрительной, могли следить... решил прийти будто бы с воскресным визитом к Наталье Павловне.

— Спасибо, Валентин, ты оказываешься хорошим другом.

— Это со мной случается только в гепеу.

— Я знаю, что я у них на подозрении, — ответил Олег. — Не так давно я сам пытался их уверить, что Дашков существовал только один — Дмитрий. Твое показание вполне согласуется с моим, что чрезвычайно для меня ценно. Один верный человек говорил мне, что архив Пажеского уничтожен и списков пажей нет. Маленькая отсрочка! Только бы тебя не притянули при случае за ложное показание.

— Все, что называется, под Богом ходим. Загадывать не стоит. Я тоже слышал, что архив уничтожен: не будь этого, многих бы давно выловили. А на меня был донос бывшего лакея моего покойного отца. Теперь весьма сомнительно, что репрессия может миновать меня. А я как раз было вознамерился взять пример с тебя и сделать прыжок в добродетельную жизнь, к величайшей радости maman, которая жаждет стать бабушкой.

— Твоя мать знает про донос?

— Не удалось скрыть. Переволновалась так, что с сердцем плохо было. Ну, времечко! На виселицу бы этих гепеушников всех до одного, а этот смердящий пролетариат, вроде ваших Хрычко и моего Викентия, отлупить бы казацкой нагаечкой. Прощай, дружище!

Они пожали друг другу руки. За чертами нахмуренного мужского лица внезапно промелькнуло лицо кадетика, а за ним — классы корпуса и детские шалости...

В соседней комнате стояла Леля и перебирала крошечные распашонки и чепчики, разложенные на рояле. Фроловский вытянулся перед девушкой:

— Милая Еленочка Львовна! Я глубоко сожалею, что в настоящее время установилась такая скверная погода! Наш величайший поэт Владимир Матюковский гениально отрифмовал:

Северные ветры ду-
ют, гулять я не пойду!

К сожалению, и я должен сказать то же самое, и чем вы очаровательней, тем мне досадней, что барометр стоит так низко. Разрешите откланяться.

Глава одиннадцатая

ДНЕВНИК ЕЛОЧКИ

3 февраля. Впервые я осмелилась извлечь этот дневник из тайника после нескольких месяцев. Итак, уже 1930 год. Жизнь моя все такая же печальная и одинокая, как жизнь моей России.

4 февраля. Известие о «нем», и неблагоприятное: опять плеврит. Вчера еще я видела в рентгене Лелю, и она уверяла меня, что все благополучно; ну как замалчивать такое известие? Глупая эта Леля! Сообщила сама Ася — прибежала ко мне утром улыбающаяся, розовая от мороза, прехорошенькая в своем собольке, и заявила: у меня к вам просьба — у моего Олега плеврит, доктор велел сделать банки, а я не умею! Не придете ли помочь? Вы так редко у нас бываете, и мы страшно рады будем случаю провести с вами вечерок. Я, конечно, сказала, что приду, и попросила рассказать о нем подробнее; к счастью, плеврит не гнойный и t° не выше 38°. Ася торопилась домой и не хотела снимать пальто, говоря, что madame поручила ей снести в кооператив молочные бутылки и получить за сдачу их 10 рублей; пустые бутылки были у нее с собой в сетке; я спросила, не тяжела ли ей такая ноша, она ответила «нисколько» и улыбнулась самой сияющей улыбкой. Когда я закрыла за нею дверь, я слышала, как она напевала, сбегая вниз. Беспечность ее не знает предела. Она не хочет видеть ни нужды, ни опасности, ни болезни, ни своего положения — бывают же такие люди!

5 февраля. Была у них; досадую на многое: он явно не пользуется той заботой, которая необходима, да и материальные дела их, по-видимому, плохи. Если бы он не женился, он бы уже обзавелся всем необходимым, а теперь ему приходится содержать целую семью. Любопытная деталь: ужин был самый простой — картофель с солеными огурцами, а перед Асей француженка поставила котлетку и сливочное масло, которое, по-видимому, подается ей одной. Посередине комнаты у них стоит ящик, в который собирают посылку в Сибирь для сына Натальи Павловны. Когда после чая я вошла в его комнату попрощаться, я застала сцену, которая меня возмутила: она сидела на краю его кровати, а он обчищал мандарин и клал ей в рот по дольке; мандарин этот принесла я и как раз сказала, что для больного... Вижу по всему, что о себе он меньше всего думает; ходит все еще в старой шинели, отсюда и плеврит; а еще шутил по этому поводу: спросил меня и Лелю, какого литературного героя он нам напоминает; Ася смеялась, — очевидно, уже знала, в чем тут секрет; я не решилась ничего сказать, а Леля сказала: Вронского! «Нет, Елена Львовна, куда там! Всего-навсего Акакия Акакиевича: у нас с ним одна цель — положить куницу на воротник».

6 февраля. «...Осколки игрою счастия обиженных родов!» Вчера Наталья Павловна была встревожена новым известием о ссылках; у нее есть общие знакомые с дочерью Римского-Корсакова: это пожилая дама — вдова с двумя дочерьми; одна из них выслана на этих днях по этапу в Сибирь, а старой даме в свою очередь вручена повестка. A propos [2], Наталья Павловна, которая, кажется, знает весь прежний петербургский свет, рассказала и о семье фон Мекк; дочь фон Мекк — Милочка — просит милостыню на паперти в Самаре или в Саратове... Оперы Чайковского и Римского-Корсакова идут во всех театрах и приносят огромные доходы, а потомки и друзья... У меня уже больше нет слов!

[2] Кстати *(франц.)*.

7 февраля. Вся душа кровью исходит! Сегодня я была у Юлии Ивановны; разговорились, по обыкновению, и она сообщила мне случай, рассказанный ее соседкой по комнате; это — студентка, которая ездила на зимние каникулы к родным; на одной из железнодорожных станций она вышла за кипятком и после вскочила в ближайший вагон, т. к. поезд уже трогался, а ее вагон был еще далеко. Тотчас же она в изумлении остановилась: вагон был весь до отказа набит крестьянскими детьми, которые лежали и сидели на лавках и на мешках. Пробираясь между ними, она спросила девочку: кто она? Та подняла льняную головку и ответила: «Мы кулацкие дети». «Куда же вас везут?» — «Не знаю, куда», — и головка снова поникла. Студентка сделала еще несколько шагов и наткнулась на мальчика лет восьми, который лежал на полу, свернувшись на мешке. Ей показалось, что он болен; она наклонилась к нему и спросила: «Что с тобой, малыш?» Он поднял глазки, синие, как васильки, и сказал: «Знобит малость». «Куда же ты едешь?» Он ответил: «У тятьки были две коровушки и яблочный сад; за такое дело увезли его и мамку, а потом пришли за мной». Отчаяние начинает хватать за горло. Отрывают от земли, гонят нашу крестьянскую старую Русь! Мучаются маленькие дети... И все молчат. И даже такие герои, как он, вынуждены бездействовать... Боже мой, Боже мой! Завтра я опять пойду к нему, и я буду не я, если не заговорю с ним на эту тему. Я не хочу, чтобы в нем зарастала любовь к Родине и закрывались раны души. Может быть, это жестокость с моей стороны, но я хочу, чтобы его всегда сжигал тот глухой огонь, который палит меня, — пусть каждую минуту своей жизни пламенеет ненавистью. К нему можно применить слова: вы — соль земли! если соль перестанет быть соленой... и т. д. Он не должен слиться с бескостной, бесхребетной массой — нет, нет! Я не хочу этого, я не допущу.

8 февраля. Иногда мне приходит в голову странная мысль: копаясь в собственной душе, я прихожу к убеждению, что, не случись в России революции, я в мирной обстановке царского времени могла бы сделаться революционеркой (разумеется, не большевичкой). Все господа положения, все уверенные в собственной безопасности мне противны, а в каждом почившем на лаврах мне чудится мещанское самодовольство. Я всегда на стороне борющихся, подвергающих себя опасности, или преследуемых и гибнущих... Идея религиозная меня не увлекает; я религиозна только в уме. Я сочувствую гонимой Церкви, но гражданские чувства во мне сильней религиозных.

9 февраля. Была у него, но поговорить не удалось: он был занят переводом с английского каких-то торговых бумаг. Бумаги эти привез его начальник по службе — еврей, который приехал на собственной машине, был очень любезен, поднес Олегу пакет замечательных яблок для скорейшего выздоровления и тут же попросил не отказаться сделать перевод очень важного текста. Я выразила по этому поводу возмущение, говоря, что если б была в эту минуту в комнате, непременно сказала бы «товарищу Рабиновичу», что затруднять такими просьбами больного невеликодушно. Олег оторвался на минуту от бумаг и ответил на это: «У меня не такое положение на службе, чтобы я мог артачиться».

10 февраля. Русь, моя Русь погибает! Мы не смеем назвать ее имени, мы не смеем называть себя русскими! Наши герои словно проклятию преданы — попробуйте-ка в официальном месте упомянуть об Александре Невском или князе Пожарском, о Суворове или Кутузове! Я уже не говорю о героях последней войны. Русская старина, сохраненная нам нашими предками, отдается теперь на расхищение. У моей Руси скоро не останется старой потомственной интеллигенции — последняя пропадает в лагерях и глухих поселках! У нее отнимают религию — церкви и монастыри почти все закрыты, а теософские кружки и библиотеки разгромлены. Теперь гибнет старый патриархальный крестьянский

класс, а с ним запустевают поля. Моя Русь погибает! О, зачем я не мужчина — я что-нибудь бы сделала: я с радостью пожертвовала бы жизнью, если б это могло спасти мою Родину! Я не могу молиться — я вся сухая, замкнутая и горькая, как рябина. Очень редко находит на меня восторженная волна и отогревает сердце — тогда я обращаюсь к Высшим с порывом, идущим от самого дна, — так было после встречи с ним в филармонии, но так бывает очень редко. Русь погибает... Прекрасный Лик — тот, который мерещится моему внутреннему взору, — туманит скорбь. Моя Русь... Я точно слышу ее стон. Мои мысли мне не дают покоя. «Река времени в своем теченье» все топит, видоизменяет, примиряет... Острота момента пройдет, новые формы понемногу отшлифуются, история даст свою оценку, а вот нам довелось биться в судорогах на рубеже эпох... Мучительный жребий!

11 февраля. Разговор состоялся, один из тех, ради которых стоит жить. Мы провели вдвоем целый вечер — вот как это вышло: на мой звонок открыл он сам, накинув на плечи китель. Я тотчас напустилась: почему он не в постели и подходит к дверям? Выяснилось, что вся семья ушла в Капеллу слушать Нину Александровну, которая солирует в концерте. Я тотчас почувствовала лихорадочный трепет — если заговорить, то сегодня! И вот, окончив возню с банками, я, упаковывая их, рассказала о том, что было в поезде. У него заходили скулы в лице.

— Да, — сказал он, — сняли с мест, сдвинули нашу черноземную силу, нашу патриархальную Русь — те лучшие хозяйства и хутора, которые насаждал Столыпин, в которых Царское правительство думало найти опору. Насадить этот класс снова будет не так легко — оторванная от родных очагов молодежь не захочет возвращаться к земле. Пролетаризация крестьянства и перенаселение городов и так уже идут полным ходом, а насильственная коллективизация разорит деревню дотла. Правительство слишком неосторожно подтачивает благосостояние страны. Как бы не пришлось ему пожалеть об этом! То, что мы с вами любим, Елизавета Георгиевна, — русская здоровая крестьянская среда — с ней... покончено!

Мы помолчали, а потом он заговорил опять:

— Диктатура пролетариата! Здесь есть нечто омерзительное! Пролетариат — наиболее испорченная и нездоровая часть населения, в которой моральные устои обычно раскачаны, которая отрешилась от патриархального уклада, но еще не приобщилась к культуре. И вот этой как раз части населения дать хлебнуть власти, дать наибольшие права, натравить ее на другие классы, разнуздать — это такой страшный опыт, который может навсегда погубить нацию. А тут еще азиаты, которых в таком изобилии вербуют в палачи и которыми наводнены органы гепеу. А тут еще евреи — эти маркитанты марксизма, которые ненавидят христианскую религию и русское дворянство... Россия больна смертельно, и неизвестно, излечится ли она когда-нибудь!

Он заметил, наверное, что мои глаза полны слез, и пожал мне руку, а я прошептала: неужели же ничего, совсем ничего нельзя сделать?

— Милая девушка, что? Должны пройти многие годы, пока вскроется этот нарыв и созреют силы к борьбе. Но и тогда неизвестно, можно ли будет сделать что-нибудь без толчка извне. Поймите, что сейчас опереться не на кого, никакая конспирация немыслима: двум-трем человекам невозможно собраться так, чтобы это не стало тотчас известно. Не зря ведется эта преступная кампания по ликвидации собственных квартир и превращению их в коммунальные — ведь это так облегчает шпионаж! Советская власть не брезгует никакими методами — я убедился в этом еще в семнадцатом году. Вы слышали об июльском наступлении во время двоевластия? Знаете вы, почему оно «захлебнулось», как они выражаются? Я был одним из участников этих боев — я знаю! Временное правительство выкинуло лозунг «Война до победного конца», и мы могли победить! Была полная договоренность с Антантой, было подвезено неисчислимое количество боевых снарядов; не-

правда, что их не было: за годы Двинской обороны мы их собрали; и союзники нам помогли в этом; у нас были силы, а Германия уже изнемогала. Оставалось сделать так мало! Какие-нибудь два месяца напряженной борьбы, и мы бы погнали немцев, как гнали при Суворове, а после гнали французов. Но этот большевистский лозунг «Долой войну» губил все! Они понимали, что если Россия победит, она выйдет окрепшей, а им надо было развалить, погубить ее! Ну что ж! Они это сделали: открыли фронт, призывая к братанию, — последствия известны! Я никогда не забуду июльское наступление: в то время, как многие части уже ушли в атаку, другие части не двинулись — восстание, подстроенное большевистской агиткой! Худший вид предательства: своих товарищей по битвам, своих русских, которые уже ушли, уже бьются, предать своих! Я командовал тогда «ротой смерти»; мы прорвали проволочные заграждения противника и овладели целым рядом укрепленных пунктов, мы зашли очень далеко, и вот... мы одни! Мы вызываем подкрепления, чтобы двинуться дальше, мы посылаем связных — тишина! Никто не идет к нам на помощь, никого, никакого ответа! Не выходят даже санитарные отряды. Мы преданы, брошены. Мы понять не можем, в чем дело! Я на своем участке имел такой успех, что не мог поверить приказанию отступить, когда оно, наконец, было получено, я затребовал письменное распоряжение Брусилова и до вечера удерживал позиции, пока ординарец генерала не доставил требуемый приказ. Немцы сто раз успели бы нас окружить и раздавить, но они оставались инертны, оглушенные нашим ударом. Елизавета Георгиевна, мы уходили назад по трупам наших товарищей, мимо проволочных заграждений, на которых бессильно повисли наши раненые, — и никто не пришел к ним на помощь! Наша отвага была поругана, осмеяна! Вскоре мы поравнялись с местом, где слег почти весь женский батальон; вид этих растерзанных женских тел был так ужасен и непривычен! Я в ужасе отворачивался, все ускорял шаг. Это походило на бегство! Я всего ожидал, но не этого, — я ожидал победы — большой, решающей, и она уже шла к нам в руки, она начиналась... Большевики сорвали ее! С того дня они мои смертельные враги! С тех пор пошло, и чем дальше, тем хуже. Советская пропаганда все больше и больше расшатывала дисциплину; такая мелочь, как отмена отдачи чести, окончательно ее подточила, участились неповиновение и расправы над офицерами, в нас уже переставали видеть начальников. Мысль, что мы теряем время, что мы даем немцам возможность собраться с силами и оправиться, меня изводила. Я пробовал на свой страх и риск делать разведки, иногда самые отчаянные: мы проникали иногда на несколько километров за линию фронта и никого не встречали, кроме русских, таких же добровольных разведчиков, как и я. Немцев не было, их укрепления пустовали! И вот в такое время большевики призывали к братанию и открывали фронт! Достижения такой войны сводились на нет! На этой мысли можно было с ума сойти! Скоро мне стало известно, что большевистские ячейки одной из распропагандированных рот приговорили меня к смерти за то будто бы, что я активно влияю на окружающих, побуждая их к продолжению войны, и олицетворяю будто бы собой доблесть царского офицера. Да, да, Елизавета Георгиевна, уже тогда приговорили: составился заговор; несколько преданных мне солдат меня предупредили. Я не очень поверил этому сначала и однажды чуть было не попался по неосторожности в их руки: я сам вошел в их логовище — блиндаж, где собрались солдаты этой роты; двое из них быстро загородили мне выход, я это заметил; я тотчас встал в угол и выхватил шашку и револьвер. Они переглядывались, но медлили: они знали, что я недешево продам свою жизнь и первый, кто осмелится подойти, — упадет мертвым. Гнусность не содействует храбрости! Тем временем денщик мой поспешил мне на выручку с несколькими верными солдатами. В этот же день меня вызвали к генералу: он сказал, что уже приготовил приказ отчислить меня в отпуск, и прибавил:

«Уезжайте как можно скорее: мне совершенно точно известно, что вы приговорены Советами. Представляете ли вы себе, как легко убить офицера? Ночью ли во время объезда, или у передовой цепи... На шальную немецкую пулю можно свалить все! Я говорю по-отечески, желая спасти вам жизнь. Сделать вам здесь все равно ничего не дадут: теперь не нужны такие офицеры, как вы! На днях, вероятно, начнется демобилизация в массовом порядке». И он протянул мне руку... Теперь не нужны такие офицеры, как я! Хотел бы я знать, какие нужны?

Олег остановился и прибавил спокойнее:

— Это было за месяц до захвата Зимнего.

Я хотела расспросить еще о многом, но вернулась француженка: она с обычной живостью стала рассказывать, что Нина Александровна имела огромный успех, и ей была преподнесена чудесная корзина цветов. Ася и Наталья Павловна пошли с концерта к ней. Наш разговор был окончен! Когда я уходила, у него оказалось 38° с десятыми — очевидно, он слишком волновался. Это моя вина, но я не хочу, чтобы минувшее покрывалось пеплом, не хочу!

13 февраля. «Теперь не нужны такие офицеры, как я!» Эта фраза как невидимым ключом раскрыла мне сердце, и я опять молилась вот с тем порывом, о котором писала на днях: молилась за Россию, а потом за него — чтобы черная месть не коснулась его и он стал бы Пожарским наших дней! После таких молитв странно идти на работу и принимать участие в ежедневном распорядке... Я живу двойной жизнью.

14 февраля. Была опять у них с банками и попала в переполох — прибежала неизвестная мне Агаша (по типу прежняя прислуга) и стала взволнованно повторять: «Молодого барина гонят в Караганду, а барыне Татьяне Ивановне плохо с сердцем, и не придумаю, что теперь у нас будет!» Все очень взволновались. Ася стояла бледная, как полотно; Наталья Павловна подошла к ней и, целуя ее в лоб, сказала:

— Не волнуйся, крошка. Сколько мне известно, Валентин Платонович ожидал этого со дня на день. Я сейчас же иду к Татьяне Ивановне.

В эту минуту из спальни вышел Олег и прямо направился в переднюю. «Я пройду с Натальей Павловной к Валентину», — сказал он, беря фуражку. Мы все стали его уговаривать, объясняя, как рискованно выходить с t°, да еще после банок; Ася повисла на его шее; он мягко, но настойчиво отстранил ее и сказал: «Не трать зря слов — Валентин мой товарищ», — и вышел все-таки. Ася, всхлипывая, повторяла: «Как жаль Татьяну Ивановну — у нее два сына погибли, один Валентин Платонович остался. Как жаль!» Я спросила, с кем остается эта дама. «С ней Агаша — прежняя няня — и две внучки этой Агаши», — сказала Ася, а мадам прибавила: «Madam Frolovsky a une bon coeur, mais ces deux fillettes, dont elle a élevée et mignardée, sont impertinentes et ignoles» [13]. Она попросила меня остаться с ними и выпить чаю, чтобы помочь ей развлечь Асю, и несколько раз повторяла, успокаивая ее: «Allons, ma petite! Courage!» [14]. Мы сидели за чаем втроем, и над всем была разлита тревога. Мадам вытащила старую детскую игру «тише едешь — дальше будешь» и засадила нас играть; она с азартом бросала кости и при неудачах восклицала: «Sainte Geneviève! Sainte Catherine! Ayez pitié de moi!» [5] В конце концов, ей все-таки удалось рассмешить Асю. Я так и ушла, не дождавшись ни Натальи Павловны, ни Олега. Уже в передней, прощаясь со мной, Ася очень мягко сказала мне:

---

[3] У мадам Фроловской доброе сердце, а эти две девчонки, которых она вырастила, неблагодарны и дерзки (*франц.*).

[4] Ну, малышка! Смелей! (*франц.*).

[5] Святая Женевьева! Святая Катрин! Сжальтесь надо мной! (*франц.*).

— Знаете ли, я никогда не говорю с Олегом про военные годы: это для него как острие ножа!

Просьба самая деликатная, и я поняла, что он передал ей наш разговор. В этом пункте, однако, я не намерена следовать ее предначертаниям, хотя голосок и был очень трогателен. Стоя в передней, она зябко куталась в старый шарфик, накинутый поверх худеньких плеч, несмотря на это, я все-таки заметила изменения в ее фигурке. Мне было жаль, что она так расстроена и печальна, и вместе с тем я с новой силой почувствовала, что, касаясь ее, все становится редким и дорогим украшением: даже беременность, через которую проходит каждая баба. Она талантлива, она хороша и обожаема, она под угрозой, и теперь эта ворвавшаяся так рано в ее жизнь мужская страсть, и будущее материнство, и мученический венок, который уже плетется где-то для нее, — все проливает на нее трогательный и прекрасный отблеск! Наверное, поэтому я неожиданно для себя опять чувствую себя под ее обаянием. Очевидно, я не из тех женщин, которые желают извести соперницу, а уж я, кажется, умею ненавидеть!

Глава двенадцатая

Старый дворник Егор Власович, выходя из своей комнаты с очками на носу, часто говаривал, что на их кухне осуществляется древнее пророчество, начертанное в Библии и гласившее, что придет время, когда за грехи людей около одного очага окажутся несколько хозяек. И в самом деле: 5 столов и 5 мусорных ведер выстроились в этой кухне, представляя собой 5 хозяйственных единиц. Среди них стол бывшей княгини выделялся обычно множеством немытой посуды, в то время как столы Аннушки, Надежды Спиридоновны и Катюши, казалось, соперничали до блеска чистыми клеенками. Стол Вячеслава отличался странной пустотой — на нем красовался только примус. Но каким бы видом ни отличались столы, в целом о чистоте этой кухни, предугаданной пророком, заботилась одна лишь Аннушка. В это утро она только что кончила мыть пол и разложила чистые половики, как, словно нарочно, начались звонки и хождения. Сначала саженными шагами проследовал в свою конуру Вячеслав, за ним проскочил Мика с ранцем; а потом — Катюша, сопровождаемая вихрастым парнем. Тут уж Аннушка не выдержала и наорала на обоих: наследили весь пол! Затем пришла какая-то школьница и спросила Мику. Аннушка критически окинула ее взглядом: лет шестнадцать, пальто потертое, и она из него давно выросла, плюшевый берет подлысел, озябшие покрасневшие руки без перчаток вцепились в потрепанный и старый, но кожаный портфельчик; в лице и во взгляде сейчас видно что-то «господское» (хотя вернее было бы сказать — просто интеллигентное). Увидев в кухне сырой пол, девочка поспешила сказать:

— Я не наслежу, вы не беспокойтесь! Я сниму башмаки и пройду в одних чулочках. — Она как бы заранее извинялась, и этим обескуражила Аннушку.

Когда она вышла, держа в руках туфли, дворник сказал:

— Никак к нашему Мике барышни зачинают бегать?

Но проницательная Аннушка с сомнением покачала головой.

— Такая не за глупостями: сразу видать — умница! Поди, дело какое-нибудь.

Дело было важнее, чем могла думать Аннушка. Мэри поведала Мике, что Петя каждое утро уходит будто бы в школу, но в школе не бывает. По вечерам он не готовит уроков, а когда на днях утром Мэри мыла пол, то нашла его ранец за кофром.

— Я завтра же уговорю его, Мэри, рассказать тебе все. Ничего плохого он не делает. Он поступил работать. Двадцатого он принесет тебе первую получку, — признался, наконец, после долгих уговоров Мика.

— Мика, его надо уговорить вернуться в школу. Лучше мы будем есть один только хлеб. Я очень горячая, и боюсь, что поссорюсь с ним, если начну говорить сама. Уговори его, а теперь я пойду. — И Мэри встала.

— Подожди, позавтракаем вместе: мне вот тут оставлены две котлеты и брюква. Ничего ведь, что с одной тарелки? Вот это тебе, а это мне, а здесь вот пройдет демаркационная линия.

Взялись за вилки. Глаза Мэри остановились на исписанных листках, в поэтическом беспорядке разбросанных на Микином столе.

— Что это у тебя? Стихи новые?

— Да, комические. Хочешь, прочту наброски? Называется «Юноша и родословная»:

> Пра-пра-прадедушки, вы эполетами
> Вовсе нас сгоните с белого свету!
> Пра-пра-прабабушки, вы в шелках кутались,
> Чтобы пра-правнуки ваши запутались!
> Папы и дяди, вы за биографию
> Нелестной давно снабжены эпитафией!
> Кузены и братья
> Властью советской
> Житие волокут
> В монастыре Соловецком.
> Нахмурив свой лоб, теперь я, словно Гамлет,
> Жду, что фортуна мне нынче промямлит:
> Быть ли мне в вузе или не быть
> И как мне вернее праотцев скрыть?!

А вот тут меня почему-то затерло.

— Очень хорошо, Мика, остроумно. Ты талантливый, а я вот ничем особенно не одарена, хотя ко всему способная. Но посредственностью я не стану — у меня есть идея, которая меня поведет. Это очень много значит. Моя мама... она все-таки удивительная... Она никогда не навязывала нам своей веры, не читала нам богословских лекций, не принуждала ни к посту, ни к молитве. В десять лет я бывала часто строптивой, я кричала: «Не хочу» или «Не буду». Папа возмущался и говорил: «Знай, что в воскресенье ты не пойдешь в театр» или «Садись за свои тетради и десять раз перепиши ту французскую диктовку, в которой у тебя были ошибки». Но мама чаще беседовала со мной вечером, благословляя на сон. Она с грустью произносила: «Сегодня ты опять забыла про свою бессмертную душу. А я за тебя в ответе перед Богом, пока ты маленькая. Мне это грустно и сегодня я буду за тебя молиться ночью». А то так — сядем мы все за обеденный стол; начинается обычное: «Мэри, поставь солонку, Петя, завяжи салфетку». Папа скажет: «А! Щи со свининой! Это славно!» Петя зааплодирует. А я загляну в тарелку к маме — у нее постный овощной суп, и она съедает его для всех незаметно. Несколько раз я заставала ее молящейся, а когда уводили папу, она сказала: «Господь с тобой! Здесь или уже там, но мы с тобой еще встретимся».

Когда покончили с завтраком — вышли в коридор и столкнулись с Катюшей, которая уже проводила двадцатиминутного визитера. «Elle est de nouveau perdue!»[6] — патетически восклицала в таких случаях Нина. Заинтересованная визитом Мэри, Катюша вертелась теперь в коридоре. Мэри остановилась было, но Мика неожиданно быстро перехватил руку Мэри и оттащил девочку в сторону:

— Вовсе не к чему тебе с такой знакомиться!

— Да почему же? — проговорила в изумлении Мэри.

— Не понимаешь, так и понимать незачем. Дай мне руку, не то споткнешься — в коридоре темно, у нас свет экономят, видишь ли! Шпионаж друг за другом учинили. Наш рабфаковец обещал мне намылить голову, если я не буду за собой тушить. Пусть попробует! Еще

[6] Она опять пала! (*франц.*).

посмотрим, кто кому намылит. Ну, вот и выбрались! Завтра я к тебе приду. До свидания.

Аннушка, дворник и Катюша с любопытством наблюдали их.

На другой день Мэри пожаловалась на прокурора, который не пожелал с ней говорить о маме, и на тетку, которая уже совсем бесцеремонно объявила: «Выслушивать тебя мне некогда. Завтра у меня званый обед по случаю моего рождения, приходи — угощу; только, пожалуйста, без Пети: у него последний раз были совсем грязные руки, к тому же у него безобразная манера управляться с ножом и вилкой — мне будет за него совестно».

— Мне так обидно стало, Мика! Я ответила, что лучше не приду вовсе, но я была совсем без денег, мне все-таки пришлось попросить их, и тогда тетя сказала: «Я знала, что это теперь начнется!» Тут у меня что-то подкатило к горлу: «Мама, конечно, не говорила так, когда вы жили у нас на средства моего папы!» — воскликнула я и пулей вылетела на лестницу. Я слышала, как тетя крикнула: «Грубиянка!» — и захлопнула за мной дверь.

Мика сжал кулаки.

— Жаба, дрянь — ваша тетка! Не лучше нашей Спиридоновны! У вас горе, а она со своим старорежимным этикетом — вилку не так держит!.. Какая чепуха!

— Нет, Мика, это не чепуха, но, видишь ли, Петя не хулиган — ему достаточно деликатно напомнить: за столом следи за тем, как держишь вилку. А тетя говорит так, как если бы Петя был захудалый родственник, дрянцо, которое стыдно показать. При папе она никогда не посмела бы так говорить. При первой же неудаче вокруг человека меняется все! Папа мой хорошо знал латынь, он часто повторял одну цитату; я ее запомнила: «Donec eris felix, multos numerabis amicos. Tempora si fuerint nabila, solus eris». Знаешь, что это значит?— И она перевела своими словами латинский текст: — Пока все благополучно — и друзей много. Ушло благополучие — и нет никого вокруг.

— Мэри, это неправда! Не смей так думать! Вот ты увидишь мою верность вам обоим, увидишь!

Работу Петя подыскал себе не самую легкую — сподручным по прокладке газовых труб, все время с рабочими на воздухе. Все бы ничего, если б не носить тяжестей и не мерзнуть.

В одно утро Мэри открыла Мике дверь с заплаканными глазами.

— Что ты! Что с тобой?

— С Петей опять воюю. Я говорила, что он простудится в этой куртке, — так и вышло: вчера он ушел совсем больным, а сегодня у него уже тридцать девять! Вот что наделала эта работа!

Мика вошел в знакомую комнату, еще недавно такую уютную. Как изменился постепенно весь ее вид!.. На столе уже не было скатерти, в вазе — цветов, перед божницей не теплилась лампада, миниатюрные фотографии были покрыты слоем пыли — комнате, как и детям, не хватало заботливой руки. Петя лежал одетый на постели матери, кутаясь в плед.

— Оставьте меня в покое! Я хочу только маму. Эта лампа невыносимо режет мне глаза; мамочка давно бы догадалась закрыть ее чем-нибудь. Отстань, Мика, я не буду есть. Мне ничего не нужно. Я хочу, чтоб вернулась мама!

— Петя, ты говоришь, как маленький! Я тоже этого хочу, но если это невозможно?

— Если это невозможно, тогда мне никого и ничего не надо — не приставай ко мне, пожалуйста!

— А ты не смей так со мной разговаривать, гадкий мальчишка! Мне не лучше, чем тебе, — воскликнула, всхлипывая, Мэри. — Вот он весь день так! Что мне с ним делать? — И она нерешительно прибавила: — Может быть, все-таки дать знать тете?

Петя тотчас сел на постели:

— Я запущу в нее вот этим канделябром, если она только подойдет ко мне. Замолчите, пожалуйста! От вашей трескотни мне стучит в голову! Мамочка двигалась бы неслышно, а вы стучите и скрипите сапогами, словно гвозди в голову заколачиваете.

Мика и Мэри растерянно переглядывались.

— Помоги мне, Мика, перевезти на салазках в магазин старой книги папиного Брокгауза: мы с Петей на ночном совете решили его продать, — отозвалась шепотом Мэри, — нам надо отдать долг тете. Надеюсь, папа не рассердится на нас за эти книги.

— Деньги ей пошли по почте, сама не ходи! — крикнул неугомонный Петя. — Пусть она поймет, что мы не хотим ее видеть.

На следующий день Нина просила Мику съездить в Лугу, отправить оттуда посылку Сергею Петровичу. Олег, который обещал ей сделать это, лежал с плевритом. Дошло уже до того, что продуктовые посылки, которые в огромном количестве устремлялись из Ленинграда в голодающую провинцию, отправлять разрешали лишь из мест, расположенных не ближе, чем за сто верст от крупных центров. На это дело ушел весь день, уроки пришлось делать поздно вечером. На следующий день прямо из школы он помчался к друзьям.

Мэри встретила его известием, что Петя бредит, ночью он все время звал маму, а теперь решает алгебраические задачи, толкует про бином Ньютона.

Мика подошел к товарищу:

— Старик, ну как ты? Давай лапу! Копытный табун шлет привет. Вот, бери яблоко. Петька, да ты слышишь меня? Ну, что с тобой? Ты меня разве не узнаешь?

Мэри всхлипнула:

— Был доктор, я бегала вчера за тем старичком, который лечил нас, когда мы были маленькими. Воспаление легких. Вот здесь записан телефон больницы, куда он велел звонить, чтобы приехали за Петей. Но мама всегда была против больниц. Когда я болела воспалением легких, она поила меня теплым молоком; я купила вчера Пете молока на последний рубль, а он толкнул меня и все пролил.

Мика все же уговорил Мэри позвонить.

Через час «скорая помощь» увезла мальчика.

На следующий день в справочном бюро больницы Мика и Мэри прочитали: «Состояние тяжелое. t 40° с десятыми. Без сознания. Ночью ожидается кризис».

Слово «кризис» было знакомо по литературным романам и показалось страшным.

На другой день, тотчас после школы, Мика помчался в больницу. Пересекая бегом больничный двор, он увидел около решетки больничного сада знакомую фигурку в куцем пальто и плюшевом берете; она стояла, припав головой к решетке, в черной косе не было обычной ленты.

— Что? Мэри, говори, что?

Девочка взглянула на него полными слез глазами и снова спрятала лицо в воротник.

— Мэри, говори же!

— Мне сказали... сказали... мой Петя умер.

Мика похолодел. Пети нет? А как же дружба? А клятвы друг другу все делать вместе?..

— Я знала, что ты его по-настоящему любил! Не плачь, Мика! Милый!

— Я не плачу! — поспешно сказал он и быстро провел рукой по глазам.

Головка в берете припала к его плечу.

— Мика, я видела его. Меня провели в покойницкую: он совсем холодный и лицо неподвижное. Я взяла его руку — она ледяная. А я-то еще сердилась на него, когда он меня отталкивал, а ведь он не пони-

мал — он бредил. Почему я всегда такая злая! Сколько раз мама говорила мне, что каждое злое слово будет потом стоять укором. Как я теперь пойду домой, когда там никого нет? Куда мне деваться?

Тут только почувствовал он силу ее горя, которое было не меньше его собственного. Он взял ее под руку, чего до сих пор никогда не делал.

— Пойдем. Надо тебе успокоиться. Я провожу тебя.

— Мика, что же я скажу маме, когда она вернется? Она войдет в комнату и спросит: где Петя? Что же я скажу? А папа? Он так любил его! Знаешь, когда Пете было семь лет, он смотрел раз, как папа играет в шахматы с приятелем, и вдруг сказал: «А ты, папа, сжульничал». Взрослые засмеялись, а наш Петя в одну минуту восстановил на доске положение, при котором была допущена ошибка, и доказал, что папа сделал неправильный ход конем. Помню, в каком восторге был папа! Он посадил Петю на плечо и повторял: будущий Чигорин! А как папа гордился его математическими способностями! Что же будет теперь с папой?

Митя вдруг вспомнил о загробной жизни. Ведь это утешает. Почему об этом не подумалось сразу? Он хотел сказать о своих мыслях Мэри, но почему-то впервые не мог так свободно говорить о христианских истинах. Они словно бы стали тяжелее, весомее и истиннее, а всякое слово казалось банальным. Медленно, почти молча прошли они рука об руку на Конную улицу сообщить известие и договориться, чтобы Братский хор спел заупокойную обедню, а потом пришли к ней, в пустую нетопленую комнату. Мике совестно было признаться, что он проголодался, но девочка сама сказала:

— Я поставлю чайник; надо немного подкрепиться, а то сил не будет; скоро восемь, а я с утра ничего не ела.

Мика вытащил из своего ранца бутерброды. Мэри с чайником в руке заглянула в коридор с порога комнаты и потом обернулась на него.

— Знаешь ли, у меня появился враг, — сказала она шепотом.

— Как враг? Кто такой?

— Рыжий слесарь, который занял по ордеру папин кабинет год назад. Раньше он никакого внимания на нас не обращал, а теперь, если только встретит меня в коридоре, обязательно дернет за косу или толкнет, один раз ущипнул очень больно. А вчера, когда я мыла руки в ванной, он подкрался и пригнул мне голову к крану, так, что у меня вся коса промокла.

— Вот нахал! Ты бы его одернула построже.

— Я пробовала. Он только хохочет, да и хохочет-то не по-человечески, а словно ржет. На него слова совсем не действуют. Я теперь боюсь с ним встречаться.

Мика озадаченно смотрел на девочку.

— Пойдем вместе. Пусть он только попробует при мне, — сказал он очень воинственно.

Но рыжий парень не появился.

Через час, прощаясь с Мэри, Мика увидел, что губы ее дрожат, а глаза полны слез.

— Как мне грустно и жутко оставаться совсем одной! — прошептала она, вздрагивая.

И внезапно совсем новая, острая, как нож, мысль прорезала сознание Мики, когда он услышал это слово «одной».

— Твоя дверь запирается? — спросил он.

— Мы вешаем замок, когда уходим. Ты же много раз его видел.

— Нет, я не об этом. Можешь ли ты запереться изнутри?

— Нет. Вот был крючок, но он давно сломан.

— А кто еще у вас в квартире, кроме тебя и слесаря?

— Злючка-старуха, но она по ночам постоянно дежурит в магазине: она — сторож. Ее дверь сейчас на замке.

— Я завтра же прибью задвижку к твоей двери, — пообещал Мика, — как жаль, что мы не подумали об этом раньше, а сейчас все магазины уже закрыты, — и, сам удивляясь, что приходится касаться вещей, которые оставались до сих пор совсем в отдалении, словно по другую сторону жизни, он прибавил: — Мэри... видишь ли... я думаю... думаю, что тебе следует очень остерегаться этого парня.

Она вспыхнула.

— Если бы он хотел романа со мной, он бы лез обниматься, а он всякий раз только больно мне делает.

— А это, по всей вероятности, особая грубая манера.

Она помолчала, по-видимому, что-то поняла.

— За меня заступиться некому.

Опять он почувствовал что-то совсем новое — очень большую и вместе с тем чисто мужскую жалость к ее слабости и беззащитности.

— Мэри, ну, хочешь, я останусь с тобой на эту ночь? Я ведь при твоей маме часто оставался. Я — на кофре у дверей, раздеваться не буду. Хочешь?

— Мика, милый! Спасибо. Конечно, хочу! Можно на Петиной постели, а не на кофре. Мы заведем будильник, чтобы ты не опоздал в школу. Какой ты благородный, Мика!

Вскоре после того, как они потушили свет, Мика услышал тихие крадущиеся шаги в смежной передней; он знал, что выключатель расположен у самой двери, и, выскочив из комнаты, тотчас включил свет; перед ним стоял высокий рыжий парень, лет на пять старше Мики.

— Вы, гражданин, что здесь делаете? — сурово спросил Мика.

Парень с минуту потаращил на него глаза, а затем ответил:

— А калоши свои ищу: побоялся, чтоб не затерялись.

— Странно, что вам среди ночи калоши вдруг понадобились! — самым воинственным тоном продолжал Мика.

— Извиняюсь, товарищ! У меня и в мыслях не было... Человек я самый мирный... Откуда мне было знать-то, что место уже, вишь, занято, — и парень ретировался в коридор.

— Что там такое? — крикнула Мэри из-за буфета.

— Ничего. Спи, — и Мика улегся снова.

Через два дня хоронили Петю.

Анастасия Филипповна сначала проявила самое горячее участие, она задумала организовать проводы на кладбище всем классом, выделила нескольких мальчиков для произнесения надгробного слова, привлекла к этому учителя математики и произвела денежный сбор на венок; но когда она узнала, что гроб перенесен вместо актового зала школы в церковь и уже назначено церковное отпевание, она отменила всякое участие в похоронах. Некоторые мальчики пришли в одиночку по собственной инициативе. Но Братский хор собрался в полном составе, и юноши на руках перенесли гроб от церкви к могиле.

Когда после похорон Мика прощался с Мэри, она уже овладела собой и сказала почти спокойно:

— Я теперь буду жить на Конной. Сестра Мария вернулась из больницы и прислала мне записку, что возьмет меня в свою комнату, пока не вернется мама. Навещай меня, Мика. Я только теперь поняла, чем я тебе обязана. Не знаю, что было бы со мной в эти дни без тебя!

Эти слова связались в его воображении с нежным запахом нарцисса, который он вынул на память из гроба Пети.

Глава тринадцатая

Нине начал сниться ребенок, девочка, — будто бы пеленает, убаюкивает колыбельной, будто бы держит на коленях, и на обеих — и на ней, и на дочке — надеты большие голубые баиты, как на английской открытке, которой она недавно любовалась. Вслед за этим она увиде-

ла дочку у себя в постели: ручки были в перетяжках, а головка чудно пахла свежей малиной, как пахло, бывало, темечко ее новорожденного сынка. Она вдыхала во сне милый, знакомый, младенческий запах; потом, любовным материнским жестом обмотав стерильной марлей палец, она сунула его в рот ребенку и нащупала первый зубок; теплая радость толкнулась ей в сердце, и этот именно толчок разбудил ее — она проснулась, чтобы увидеть в своей кровати пустоту! И горько задумалась. Уже конец марта. Остались бы только три месяца, а она все разрушила!

Ей уже давно стало ясно, что никакой исключительной любви этот человек не питал к ней. В новом романе не было ни заботы, ни общих интересов; музыкальность в этом человеке оказалась самая рядовая, незначительная. Он был вдовец и, имея взрослого, уже женатого сына, с которым жил в одной квартире, прилагал все возможные усилия к тому, чтобы сохранить эту связь в тайне. Нина, разумеется, хотела того же для себя, но его заботы по этому поводу ее оскорбляли. Встречаться им было негде; редкость и краткость этих встреч придавала им особый характер, и в этом Нине чудилось тоже нечто оскорбительное. Она не могла отделаться от мысли, что, обманывая мужа, ведет себя, как недостойная жена, и это отравляло ей страстные минуты.

В отдельные моменты в ней вырастало желание повиниться перед мужем, чтобы иметь возможность при встрече смотреть ему в глаза. Но она убеждала себя, что это — опасный шаг; к тому же не следует наносить душевной раны человеку, и без того достаточно несчастному, довольно, если она разорвет и сама даст себе слово, что более не повторит ошибки. Так будет вернее!

Сны о ребенке окончательно лишили ее душевного равновесия. Она решила порвать с любовником, поехать летом к Сергею и таким образом выпутаться из этой паутины.

Решение оказалось твердо. Они должны были в этот день встретиться в кафе Квисисана; желая во что бы то ни стало избежать личного объяснения, которое могло бы ее поколебать, она заранее приготовила письмо и придумала отдать его при прощании, ничем не подчеркивая его значимости:

«Сегодня мы виделись в последний раз. Я пошла на связь с вами, так как чувствовала себя слишком одинокой и покинутой. Я хотела забыться. Теперь вижу, что сознание вины перед мужем сделало меня еще несчастнее. Не оправдывайтесь, потому что я ни в чем не виню вас, а только себя. Не отвечайте мне, не вспоминайте меня. Пусть будет так, как будто никогда ничего не было. Желаю вам счастья. Нина Бологовская».

В кухне Нину ждал новый сюрприз — наливая ей в тарелку щедрой рукой борщ, Аннушка проворчала:

— Непутевая! Попался тебе хороший человек, так и сиди тихо. Не к лицу тебе глупости затевать. С Маринки своей, что ли, пример берешь? Берегись — у свекрови твоей, поди, глаз вострый.

Можно было, пожалуй, и оборвать старуху, сказать: не ваше дело! или: не вам меня учить! Но Нине тотчас припомнилась постоянная материнская заботливость этой женщины, знавшей ее ребенком, и она промолчала, несколько растерянная. Через минуту руки ее, ставя на стол уже пустую тарелку, вдруг сами потянулись к старухе и обняли ее, а потом и щека как-то сама собой прижалась к другой, морщинистой, щеке.

— Не беспокойтесь, Аннушка! Глупостей никаких не будет! — Но в шепоте этом было что-то виноватое.

— Не будет, так и ладно. А губы зачем красишь? Выпачкала, поди, меня. При барине старом ни в жисть этого не водилось.

— Теперь это модно, Аннушка. Я к тому же артистка. Ведь кормить-то меня и Мику все-таки некому.

При встрече в кафе она держала себя с обычным своим величественным тактом — жена цезаря, которая выше подозрений! Сказала, что назначенная на вечер встреча срывается из-за непредвиденного концерта, и, уже выпархивая из такси, сунула в окно машины письмо, а сама скорей вбежала в подъезд... Свершилось! Взволнованно бегая взад и вперед по комнате, она воображала себе, как он читает строчку за строчкой... Щеки ее горели. Вечером, припав к груди Натальи Павловны, точно маленькая послушная девочка, она робко спросила, есть ли возможность устроить ее поездку в Сибирь на очередной отпуск.

— Я думаю об этом же, Ниночка. У меня уже мало ценных вещей, но я лучше откажу в чем-нибудь себе и Асе и устрою вам эту поездку.

Очевидно, был приговорен столик с инкрустацией или бронзовая лань, а может быть, кулон с рубином. Ася до сих пор, еще на правах девушки, носила бирюзу, и остатки бабушкиных драгоценностей, покоившихся в бархатных футлярах, не тревожили ее воображение.

Нина стала всерьез готовиться к поездке. Теперь она уже знала, что расскажет Сергею все, что произошло с ней, и пусть он или простит, или... Нет, нет, он обязательно простит! Милый, милый Сергей!

Однажды вечером, когда Нина вернулась из Капеллы, Аннушка вручила ей письмо. От Сергея! Он почувствовал! Но вскрыв конверт, Нина увидела незнакомый почерк.

«Глубокоуважаемая и прекрасная Нина Александровна!»

Она остановилась. Что за изысканное обращение? Кто это пишет так? И, перевернув страницу, взглянула на подпись: «Ваш покорный слуга Яков Семенович Горфункель». А! Это тот чудак-антропософ — еврей из Клюквенки! Уж не заболел ли Сергей?

«Глубокоуважаемая и прекрасная Нина Александровна! Не сочтите дерзостью, что я взял на себя обязанность написать вам. Оно не печально — то событие, о котором я пишу, — я бы хотел, чтобы вы могли постичь всю его радостную сторону: ваш муж — этот благороднейший, умнейший, талантливейший человек — жив, светел и радостен, но продолжает свой путь уже под особой защитой, окруженный особой помощью. Высшие Силы сочли нужным охранить его от всяких неосторожных, грубых прикосновений и оградить от земной суеты: чтобы он мог безболезненно восходить к Свету, где выправятся и расцветут когда-нибудь и наши скорбные, смятые жизнью души и где когда-нибудь встретитесь с ним лицом к лицу».

Нина опустила руку с письмом. Что такое? Нет! Не может быть! Стала читать дальше.

«Я знаю, чувствую, вижу, какою болью наполнилось сейчас ваше сердце, глубокоуважаемая Нина Александровна, я чувствую сейчас за вас. Если бы и вы могли посмотреть на случившееся моими глазами! Что такое смерть перед вечностью?»

— Ах! — отчаянно вскрикнула Нина и выронила письмо. Аннушка повернулась к ней.

— Господь с тобой, матушка Нина Александровна, чего это ты?

— Аннушка, Аннушка! — воскликнула Нина, хватаясь за голову.

— Матерь Пресвятая! Да что ж это сталося? — и, вытирая о подол руки, Аннушка подошла к Нине, но та, схватившись руками за раму окна, припала к ней головой, повторяя:

— Боже, Боже, Боже!

В эту минуту на пороге входной двери показался Мика.

— Что с Ниной? — испуганно воскликнул он.

— Да вот, вишь ты, только взялась за письмо, да начавши читать, как вскрикнет, да как застонет, — озабоченно зашептала Аннушка.

Нина и в самом деле стонала — не кричала, не плакала, а стонала, по-прежнему припав к раме окна. С полным сознанием своего неоспоримого права Мика бросился к письму и схватил его. «Глубокоуважаемая и прекрасная!» — так вот как пишут его сестре — не все, стало быть, смотрят на нее, как он, — сверху вниз! Прочитав до того места, где Нина выронила письмо, он тоже оставил его.

— Нина, Нина, успокойся! Нина, дорогая! — воскликнул он, бросаясь к сестре и обнимая ее. — Аннушка, помогите, успокойте! Несчастье с Сергеем Петровичем!

На пороге показалась привлеченная их голосами Катюша.

— Нина, пойдем в комнаты. Встань, Ниночка! Посмотри на меня, перестань! — и вдруг со страшным раздражением он накинулся на Катюшу: — Ты что стоишь и смотришь? Любопытно стало? Да что же ты можешь понять в горе благородной женщины? Нечего тебе и делать здесь, около моей сестры!

Катюша, не ожидавшая такого смерча, быстро юркнула к себе. Аннушка и Мика, оторвав Нину от окна, повели ее в комнату, где уложили на диване. Мика вернулся в кухню, чтобы собрать и дочитать страницы. Что-то особенное показалось ему в каждой строчке — светлая уверенность в чудесной потусторонней жизни.

Когда Мика вновь подошел к Нине, она уже сидела на диване.

— Смерть... да — смерть! Что же могло случиться? — говорила Нина. — Ведь он был здоров. Да где же это мы живем?

Мика бросился к телефону, но Нина внезапно, словно тень, появилась около него и схватила за руку.

— Кому ты звонишь? Бога ради, не Бологовским! Там старуха с больным сердцем и молодая в ожидании. Им нельзя так вдруг сообщать такие вещи!

— Я хотел только вызвать Марину Сергеевну.

— Марину? Да, да! Позови Марину. И Олега позови — позвони ему на службу, только, Бога ради, не на дом.

Когда через полчаса Марина подбежала к дивану, на котором металась Нина, та села и, не обращая внимания на присутствие Аннушки, стала восклицать:

— Вот наказание! Вот расплата! За измену, за аборт, за безверие! Получила возмездие! Он не успел получить моего письма! Слишком поздно! Какое страшное слово «поздно»!

Марина обнимала ее, стараясь успокоить, повторяя, что во время своей поездки она уже достаточно доказала свою любовь. Письмо Якова Семеновича дочитали. Последовательность событий выяснилась во всей своей безотрадности: во время одного из очередных походов в тайгу ни Сергей Петрович, ни его напарник-уголовник не вернулись на место сбора. Ссыльные были уверены, что они заблудились, начальство заподозрило побег. После долгих упорных поисков, уже на другой день, с собаками, нашли только тело Сергея Петровича, уголовника не нашли вовсе. Яков Семенович был уверен, что это убийство — младший комендант еще с той сцены в лесу (когда был убит Родион) затаил злобу против Сергея Петровича, последнее время он гонял его в тайгу с каждой партией и назначил ему в напарники убийцу-рецидивиста. У мертвого оказалась так разбита голова, что лица узнать почти невозможно, но это был Сергей Петрович. Врач уверял, что так свернуть на сторону весь череп мог или медведь, или богатырский удар камнем. В следующую ночь тело увезли неизвестно куда. На третью ночь ссыльные, собравшись в мазанке на окраине, отпели «Со святыми упокой» и «Вечную память», почти все плакали.

Марина читала это письмо вслух и сама все время вытирала слезы. Мика, слушавший из угла, в который забился, видимо, тоже был потрясен. Едва они успели закончить, как в комнату быстро вошел Олег, явившийся прямо из порта.

Узнав о трагедии, он задумался — нельзя, чтобы Наталье Павловне и Асе стало известно о гибели Сергея Петровича, покуда у Аси не родится ребенок и она не оправится от родов. Все согласились, что это разумно.

Между ними составился уговор написать от лица Сергея Петровича два или три письма, в которых он сообщит, будто бы повредил себе руку и диктует это письмо соседке; так письма, естественно, будут короче и более общего характера. Олег и Нина составят вместе несколько таких писем; дату можно всегда поставить недели на две назад и опустить письмо за городом; доверчивые души не станут разглядывать почтовых штемпелей; сложнее будет, если они опять примутся собирать посылку, но и тут выход из положения найти нетрудно:

— Отправлять посылку придется, конечно, мне, — сказал Олег. — Не Асе же тащиться за город с тяжелым ящиком. Я принесу ее вам, Нина, и просижу у вас день — вот и всё.

Тут же составили первое письмо, которое Марина вызвалась переписать, чтобы почерк не показался знакомым. Она обещала точно так же переписывать и последующие письма.

Через несколько дней Нина собралась с духом и пошла к Наталье Павловне. Когда Наталья Павловна стала читать вслух полученное письмо, атмосфера слишком накалилась.

— Досадно, что он не сообщил подробней: чем повредил себе руку и в каком именно месте, — говорила Наталья Павловна, — я боюсь, чтобы это не помешало ему играть на скрипке, особенно если повреждено сухожилие. Как вы думаете, Ниночка?

Нина крепилась из последних сил и все-таки расплакалась.

— Это нервы! Я очень истосковалась... Не дождусь, когда поеду... — шептала она...

— Кажется, не выдержу! — сказала Нина Олегу, когда он вышел ее проводить. — Хорошо, что через две недели Капелла уезжает в турне на Поволжье. Вчера это выяснилось. К тому времени, когда мы вернемся, Ася уже будет матерью, и вы должны обещать мне, что сообщите обеим все без меня...

И потом, прощаясь с ним около своего подъезда, она сказала:

— Мы — друзья, не правда ли? Мы с вами знаем грехи друг друга и прощаем их. Не все так чисты, как ваша Ася. Мне и вам так досталось в жизни, что... Бог, если Он есть, смилостивится над нами и не осудит нас. Мы — друзья?

Он с прежней манерой склонился к ее руке:

— Да, Нина, и всегда ими останемся.

Глава четырнадцатая

— Не поеду, — наотрез отказывалась Леля, когда мать заводила речь о том, что хорошо бы навестить маму Валентина Платоновича, которая жила на распродажу вещей и из последних средств посылала сыну посылки в Караганду. — Вовсе ни к чему! Только себя в ложное положение belle fille[7] поставлю! Помочь мы ничем не можем, а общества старух с меня и так довольно. Тебе доставляет удовольствие плакать с ней вместе, а мне никакого!

На Пасху Леля все же уступила желанию матери и отправилась к Фроловским. Мама Валентина Платоновича — Татьяна Ивановна — обрадовалась гостье, сразу повела ее в свою комнату и стала показывать этот маленький домашний музей — скромный уголок, отделенный ширмой. Нянюшка Агаша, вынянчившая всех детей Фроловских, и две ее внучки жили в этой же комнате. За ширмой стояла кровать и маленький изящный столик, заставленный миниатюрными фотографиями, вазочками и безделушками, которые Татьяна Ивановна надеялась еще спасти от покушений со стороны девчонок. Бедные безделушки, осколки прекрасного прошлого, они напоминали прежний будуар с его изысканным убранством и хранили память об изяществе

[7] Невесты *(франц.)*.

пальчиков юной Танечки Фроловской — белый слон с поднятым хоботом, венецианская вазочка, маленький Будда с загадочной улыбкой; фарфоровое яичко с букетом фиалок помнило христосование и пасхальные подарки, а гараховский флакон до сих пор не расставался с запахом дорогих духов — запахом незабываемого времени... С фотографий смотрели дорогие лица, лица погибших в боях с германцами, в боях с большевиками и в советских чрезвычайках.

— Вот теперь моя «жилплощадь». Я собрала сюда всех моих, чтобы не чувствовать себя одинокой. Вот тут мои мальчики: это старший — Коля — убит под Кенигсбергом, а это — Андрей — его ты, наверно, помнишь,— ему случалось бывать у Зинаиды Глебовны. Он погиб от тифа в восемнадцатом году, в армии, мой бедный мальчик. А вот и Валентин, мой младшенький. Вот здесь он снят вместе с тобой — помнишь, ты изображала однажды Красную Шапочку на детском вечере, а Валентин был в костюме Волка; вы танцевали вместе, и ты еще не дотягивалась ручкой до его плеча. А вот и вся наша семья на веранде в имении мужа; веранда была вся увита плющом и хмелем.

К удивлению Лели, Татьяна Ивановна говорила все это совершенно спокойно, как будто всматриваясь в далекую картину, и только когда она стала рассказывать о письмах из Караганды, слезы неудержимо полились из усталых глаз.

— Я знаю, что он мне не пишет правды; я читаю между строк! Он замечательный сын, Леличка, всегда боится меня встревожить и огорчить — и мужем бы, наверно, был самым преданным и нежным, только прикидывается циником. Я ведь уже надеялась, что вы мне станете дочкой и оба будете у меня под крылышком тут, в соседней комнате... Как бы я вас любила!

Она обняла и прижала к себе девушку.

— Ивановна! — перебил их развязный звонкий голос.— Ты куда свои кораллы засунула? Я на рояль положила, одеть хотела, а ты уж и спроворила!

Леля быстро выпрямилась, пораженная: такого тона она все-таки не могла ожидать.

— Это что еще такое? Наглость какая! — воскликнула она.

— Тише, тише, милая! Не надо,— испуганно зашептала Фроловская.— Потом поговорим. Войди сюда, Дарочка. Видишь, у меня гостья. Ожерелье я прибрала, потому что на рояле ему — согласись — не место. Возьми, если хочешь надеть.

Вошедшая девушка, несколько все же сконфузившись, покосилась на Лелю, но тотчас скривила губы и взяла ожерелье с таким видом, будто говорила: «Давай уж!». Вышла.

— Как вы можете терпеть такой тон? — громко возмутилась Леля, чтобы та слышала.

— Что делать, дорогая! — зашептала Татьяна Ивановна — Ведь я не имею права их выселить, если у них нет жилплощади, а добром они не уедут. Конечно, они меня стеснили, мне даже пасьянс теперь негде разложить, приходится класть карты на подушку. Но я мирюсь — одной тоже было бы трудно: лифт стоит, а подняться в третий этаж я не в силах из-за моего миокардита. Они же покупают все, что я попрошу. Вот и сегодня Дарочка принесла и молоко, и булку. Нет, Тоня и Дарочка девушки неплохие, а только невоспитанные. Агаша ради них с утра до ночи гнет спину: в домработницы к моему знакомому академику поступила, чтобы заработать девочкам на кино и тряпки, а они на нее кричат хуже, чем на меня; стыдиться ее начали — если при Агаше придут их подруги или кавалеры, они прячут ее ко мне за ширму. Вот это совсем ни в какие ворота не лезет!

Она приподнялась и вынула бархатный футляр.

— Вот, дорогая, фамильный жемчуг; еще мой, девичий. Он был у нас приготовлен тебе как свадебный подарок. Возьми его. Кто знает, может быть, Валентин еще вернется... не возражай мне, девочка моя. Я не требую у тебя обещаний — я понимаю, как мало надежды... Но я уже плоха и не хочу, чтобы этот жемчуг попал в руки этих девушек. Он и уцелел-то потому только, что я повторяю и в кухне, и в коридоре, будто это простые бусы, не сто́ят и пяти рублей. Пусть он украсит твою шейку.

Но Леля замотала головой.

— Я не вправе принять такую вещь... Вы ее продать можете... Вам так теперь трудно!

— Нет, милая! Я этого не сделаю. Жемчуг этот заветный. Надень, я застегну на тебе замочек. Если бы ты только знала, как я грущу, но ты этого не поймешь в свои двадцать лет.

Как только Татьяна Ивановна усадила Лелю пить чай, с трудом разместив китайские чашки и чайничек на крошечном отрезке стола, послышался звонок и в комнате появилась хорошо знакомая фигура Шуры Краснокутского с его круглыми, добрыми, черными глазами. Следом за ним, не дожидаясь приглашения, тотчас юркнула Дарочка. Быстрый завистливый взгляд, брошенный ею в сторону Лели, говорил сам за себя — ишь ты, куколка дворянская! Возможно, что зоркие глаза уже заметили жемчуг на шее Лели.

При появлении Шуры Дарочка мобилизовала свои чары, и наилучшей из них, по-видимому, считала ежеминутный звонкий хохот.

Подымаясь, чтобы уходить, Леля самым невинным голоском спросила:

— Как здоровье вашей бабушки, Дарочка? К кому она нанялась? Помните, Шура, нянюшку Агашу? Такая добрая и милая старушка, вторая Арина Родионовна,— и покосилась на Дарочку, наслаждаясь плодами своего ехидства. С этой же тайной мыслью она позволила Татьяне Ивановне обнять себя и, прощаясь, сама повисла на ее шее. Но как только она и Шура вышли на лестницу, улыбка слетела с ее лица.

— Шура, что же это такое?!

— Да, картина самая печальная, а изменить ничего нельзя. Татьяна Ивановна имела право их вписать, а выписать права не имеет: одна из очередных нелепостей нашей жизни! Я часто бываю здесь — отношу на почту корреспонденцию Татьяны Ивановны и хожу по комиссионным с ее квитанциями. Я в курсе всего, что здесь происходит. И очень боюсь, что эти девицы приведут сюда кавалеров; если одна выскочит замуж, чего доброго, и муж въедет сюда же. Кроме того, они Татьяну Ивановну систематически обкрадывают, а она по непостижимому добродушию или безразличию допускает это и только просит ничего не сообщать Валентину и даже старой Агаше, чтобы не огорчать их. Легко может случиться, что, когда Валентину разрешат вернуться (если разрешат!), въехать ему уже будет некуда! Татьяна Ивановна долго не протянет, а девочки вместе с другими жильцами запрудят квартиру.

Девушка молчала.

— Барышня моя, ангел Божий! — услышала она внезапно на повороте лестницы: старая Агаша, закутанная в платок, перехватила ее руки и начала покрывать их поцелуями.— Радость-то нам какая выпала! Спасибо, что вспомнили мою барыню! Плоха она больно стала! Чему и дивиться, последнего сына отняли. Я, почитай, кажинный вечер забегаю к Спасо-Преображенью записочку в алтарь за нее подать, да пока все нет и нет ей облегчения. Навещали бы вы ее, невеста наша желанная!

— Спасибо, Агаша, за ласковые слова, но я невестой не была,— холодно проговорила Леля, освобождая свои руки из морщинистых пальцев старухи,— если вы так преданы Татьяне Ивановне, обуздай-

те лучше своих внучек — они с Татьяной Ивановной непозволительно грубы и присваивают ее вещи.

Леля быстро сбежала вниз. Шура догнал ее и тотчас заговорил на постороннюю тему, и все-таки Леле показалось, что он не одобряет той легкости, с которой она разрушила укрепления, воздвигнутые Татьяной Ивановной, дабы утаить от Агаши поведение ее внучек.

— Передайте Ксении Всеволодовне мой совет быть осторожнее,— сказал Шура,— биография ее супруга становится известна слишком многим — вчера ее повторяли за именинным столом у Дидерихс. Все это, конечно, люди самые достойные, но ведь не все одинаково осторожны!

— Благодарю вас, Шура! Я передам. Как теперь ваше служебное положение?

— Хуже некуда — только что посчастливилось устроиться на заводе «Большевик» переводчиком по приемке оборудования. И вот дня три тому назад подхватил простуду; ночью температура поднялась до тридцати девяти, мама с утра вызвала врача, а сама тем временем потчевала меня аспирином и чаем с малиной; тут, как на беду, к нам заходит отец Христофор — протоиерей Творожковского подворья. Мама его очень уважает. И надо же, что в ту как раз минуту, когда мама поила его чаем — ни раньше, ни позже,— шасть ко мне квартирный врач, еврейка; взглянула на батюшку, на маму в пеньюаре, меня, распростертого на диване под портретом генерала в орденах, и с самым непримиримым видом сунула мне градусник. У меня же от маминых забот температура уже спустилась до тридцати шести. Посмотрела сия новая Иезавель на градусник, криво усмехнулась и говорит: «И когда же со всем этим будет покончено!» И ушла. Бюллетень не выписала. И вот вам результат — я уволен за прогул.

Леля ахнула и остановилась.

— Да ведь при гриппе бывает, что и без температуры... А что она имела в виду? С чем покончено?

— С нами. Со мной, с мамой, с отцом Христофором, с вами, Леля. Ну ничего, не пугайтесь. Как-нибудь переживем. Бывает хуже!

«И будет!» — прогремел, щетинясь, грузовик, проносившийся мимо. «И бу-у-удет!» — прогудел, подхватив идею, заводской гудок.

Глаза Шуры, которые Ася называла «по-собачьи преданными», смотрели уныло.

Прощаясь с Шурой, Леля сунула ему в руку жемчуг и попросила, не возвращая Татьяне Ивановне, продать потихоньку в пользу Фроловских.

— Расходуйте на нее незаметно эти деньги или в Караганду пошлите, а я не имею права на этот подарок,— сказала она.

Глава пятнадцатая

Заглядывая то и дело в почтовый ящик, Олег полагал, что Клюквенское гепеу все-таки сочтет себя обязанным прислать семье официальное извещение о гибели ссыльного. Пересиливая отвращение, он все-таки обратился к Хрычко:

— Если вы обнаружите в почтовом ящике какие-либо письма к моей жене или теще, не вручайте им лично, а передайте сначала мне. Должно прийти извещение о смерти сына Натальи Павловны. Я не хочу сообщать об этом теперь. Очень прошу посчитаться с моей просьбой. Будьте уверены, что, если бы вы обратились ко мне с подобной же, я бы ее исполнил.

Хрычко в этот раз был трезв и добродушно пробурчал:

— Ладно, не передавать так не передавать! Нам-то что? Мы зла никому не желаем. За зверей нас напрасно почитаете. Слышишь, Клаша: письма, какие будут, только вот им передавать, а старухе и молодой — ни под каким видом.

В одно утро Хрычко с равнодушной и угрюмой миной вручил ему приглашение на Шпалерную, которое принял под расписку в его отсутствие. Стиснув зубы смотрел Олег на эту повестку. Если бы за это время на него поступили те или иные чрезвычайные сведения, они бы не замедлили с арестом, а это, по всей вероятности, только очередная попытка — авось да проговорится в чем-нибудь. И все же, когда он приближался к мрачному зданию, сердце отчаянно колотилось.

Наг исправно погонял его опять по его биографии, по-видимому, рассчитывая, что Олег в чем-нибудь собьется и сможет быть уличен в противоречии, чего, однако же, не случилось, и после спросил как бы вскользь по поводу одного очень незначительного события из жизни Валентина Платоновича. Мобилизовав все свое внимание, чтобы овладеть западней, которую он почуял, Олег, едва услышал это имя, ответил с небрежным видом:

— Я еще не был знаком с Валентином Платоновичем в тот период. Мы познакомились на моей свадьбе.

— А вы разве не вместе учились? — полюбопытствовал с самым невинным видом Наг, как бы невзначай.

— Не имею чести знать, какое учебное заведение окончил Валентин Платонович,— отпарировал Олег.

— Не имеете чести? А скажите, если вы так недавно знакомы, отчего вы явились вечером, накануне его отъезда, к нему на квартиру?

Олег опять моментально нашелся.

— Мать его — старая приятельница моей тещи, и мне пришлось проводить ее к Фроловским по просьбе жены. У Натальи Павловны больное сердце, и мы не выпускаем ее на улицу без провожатых.

Глаза у Нага блеснули.

— Ловко выворачиваешься! Но это до поры до времени, друг! Я тебя все-таки накрою!

Они помолчали.

— Надеетесь скоро быть отцом?

Олег молчал.

— Что же вы не отвечаете?

— Что я должен вам отвечать?

— Не переменили ли своего решения по вопросу о сотрудничестве с нами? Уверенность в своем положении и лишний заработок могли бы вам пригодиться теперь.

— Совершенно верно. Тем не менее решения я не переменил.

— Так. Я подожду еще немного. Дайте ваш пропуск — подпишу. До скорого свидания! — И опять отпустил его.

Олег рассказал о своей прогулке в гепеу только Нине, которую навещал почти каждый день.

— Совершенно ясно, что следователь не располагает достаточными данными, чтобы уличить вас. Если бы хоть одна улика — вы бы оттуда не вышли. Возможно, что в конце концов он бросит это дело, убедившись в его безуспешности.

— Нет, Нина, не бросит: он им увлекся, как спортом. Это не только профессионал — он в своем роде артист. Я, разумеется, буду в щупальцах этого подвального чудовища; вопрос только в том — когда?

— Это убийственно — жить с такими мыслями, Олег. А теперь, когда в перспективе ребенок...

— Не говорите об этом, Нина! Я, конечно, совершил преступление, когда женился на Асе...

В этот вечер Олег спросил Асю, когда они остались вдвоем:

— Скажи, как бы хотела ты провести оставшиеся два месяца? Я сделаю, как ты захочешь.

Она ответила, припав головой к его плечу:

— Я бы хотела в лес и в поле! Теперь весна — поют зяблики и жаворонки, цветут анемоны. Я так давно не видела весну в деревне! Но разве это возможно?

В течение всего следующего дня Олег несколько раз возвращался к мысли, как трудно в условиях большевистского режима исполнить самое невинное и скромное желание обожаемого существа!

В этот день после работы он зашел на несколько минут к Нине, которая уже готовилась к отъезду в турне.

— Моя тетушка,— сказала Нина,— тоже снимается с места: она едет к своей бывшей горничной, у которой проводит каждое лето. Вот бы вам отправить туда же Асю! Деревня стоит на песчаной горе среди бора, место сухое, здоровое; и всего в четырех часах езды от Ленинграда. Светелка, соседняя с той, в которой будет жить тетя, свободна, и тетя просила меня подыскать спокойных жильцов.

Олег ухватился за эту мысль. Комната стоила недорого, место было глухое, и все соответствовало желаниям Аси; к тому же там ей не угрожало никакое неожиданное известие.

Вместе с Асей отправились Леля и Зинаида Глебовна. Проводив всю компанию и вернувшись в тот же вечер обратно, Олег, едва войдя в опустевшую без Аси спальню, почувствовал прилив острой тоски. Он сел на кровать и почти час просидел неподвижно. Жаль каждого дня, каждой ночи, проведенной без милой!

Кто знает, сколько времени понадобится Нагу, чтобы доплести свою паутину и поймать жертву...

В первую же субботу он помчался к Асе с тяжелым рюкзаком за спиной, как и подобало «дачному мужу». Пока все обстояло благополучно: она встретила его на маленьком полустанке сияющая; он заметил, что кожа ее приняла золотистый оттенок, щеки порозовели — ради этого стоило пропускать неделю!

Вечер и следующий день прошли чудесно: гуляли вдвоем в лесу, собирали сморчки и ветреницу, пекли вместе картошку и пили молоко; Ася лежала в гамаке на солнышке. Олег только вечером спохватился, что привез с собой для перевода целую кипу бумаг; после ужина пришлось усесться за перевод; Ася вертелась около.

— Пойдем погуляем еще немножко! Белая ночь такая особенная, фантастичная! Здесь есть место — под горой у речки,— где в кустах черемухи поет соловей. Пойдем послушаем?

Он не соглашался, и она уговорила его отпустить ее одну минут на десять—двадцать. Она накинула пальто и выскользнула, а он углубился в перевод.

Окончив страницу, он взглянул на часы. Уже полчаса, как ее нет. Он перевел еще страницу — ее по-прежнему не было. Уже встревоженный, он выбежал на крыльцо. Не пошла ли в хлев? Она любит смотреть, как доят корову. Но в хлеву ее не оказалось. Может быть, кормит хлебом овец? Но и у овечьего загона ее не было.

Майский вечер был очень холодный, и когда Олег посмотрел на заросли молодых берез и черемух, спускавшихся к речке, они оказались подернуты белым туманом; серебристый серп месяца, неясно вырисовываясь на светлом небе, стоял как раз над ними. Белые стволы берез и зацветающие кисти черемух напоминали картины Нестерова смутностью своих очертаний и бледностью красок. Соловей щелкнул было и перестал — озяб, наверно.

— Ася! — крикнул он, углубляясь все дальше и дальше в чащу.

Наконец в ответ долетело ее «ау» и лай пуделя, а скоро и сам пудель подкатился к его ногам шерстяным комком.

— Ася! Да где же ты? Выходи ко мне! Я — на тропинке! — кричал он.

— Иди сюда сам, а я не могу! — зазвенел голосок.

— Что-нибудь случилось? — воскликнул он и бросился в кусты на ее голос.

Она стояла, прислонясь к дереву, в несколько странной позе — на одной ноге.

— Я попалась в капкан; вот посмотри: мне защемило ногу. Не бойся, я не упала, я успела схватиться за этот ствол. Уже около часа я стою на одной ноге — даже озябла.

— Капкан? Что за странность? Почему ты не закричала?

— Я боялась тебя взволновать и решила лучше выждать, пока ты сам прибежишь...

Он на коленях старался высвободить ее ножку, орудуя перочинным ножом.

— Готово! Лисичка, ты свободна! Ну-ка, что там с лапкой? — И он стал растирать ее онемевшую стопу.

Она сделала два-три шага, встряхнулась и вдруг звонко расхохоталась.

Но Олег рассердился:

— Тебе все шутки! Что мне, по следам за тобой ходить? На десять минут отпустил, так она в капкан попалась! Лучше ничего не нашла сделать! Что у тебя, глаз нет? Сколько раз я тебе говорил, что ты обязана смотреть себе под ноги!

«Крак, дзынь!» Олег пошатнулся и схватился за дерево:

— Что такое? Не понимаю!

Ася опять расхохоталась, еще звонче:

— Что же вы не смотрите себе под ноги, милый супруг? Глаз нет у вас, господин следопыт?

Раздосадованный Олег напрасно дергал ногу.

— Ты, кажется, рада, что мои самые приличные брюки порваны? Больше не ходи сюда в рощу — это может плохо кончиться. Последние брюки!.. Не понимаю, чему ты смеешься!

Пришлось потрудиться теперь над собственным освобождением, после чего оба, прихрамывая, вернулись наконец обратно. Пудель бежал за ними и поднимал заднюю ногу, прихрамывая, очевидно, из солидарности. Ася не соглашалась стричь «под льва» свою Ладу, и она походила на огромный ком белой шерсти; только три точки — нос и два глаза — чернели среди шелковых завитков.

Глава шестнадцатая

Надежду Спиридоновну, как многих бывших помещиков и помещиц, каждую весну начинало властно тянуть в лес и в поля. Ей хотелось ходить по молодой траве, собирать землянику среди папоротников и пней, поглядеть на пасущихся коров и овец, вдохнуть запах скошенного сена, а всего больше — поискать грибочков. Последнее было ее страстью. Как ни тяжело было подыматься с места на старости лет, укладываться и тащиться в деревню, где приходилось ютиться без всяких удобств в светелке, она не могла устоять перед этой приманкой. Надежда Спиридоновна пользовалась большой привязанностью и уважением бывшей своей горничной Нюши, которая провела с ней всю молодость, ездила с ней за границу и до сих пор величала ее «барышней». Каждую весну в середине апреля Нюша эта появлялась на городской квартире Надежды Спиридоновны с докладом:

— Ждем вас, барышня! Крышу брат перекрыл заново; ступеньки к вашему крылечку поправил; пса того негодного, что обидел вашего котика, мы со двора согнали. Корова у нас отелившись. Клюква и моченые яблоки вам заготовлены. Колодезь мы вычистили. Пожалуйте — рады будем!

В этот раз обычное сообщение усугублялось новым — чрезвычайным:

— Брат пристроил сбоку вторую светелочку, котору мы охочи тоже сдать.

Сообщение это весьма не понравилось Надежде Спиридоновне — она считала пребывание в этом доме своей монополией. Когда же Нина успокоила ее известием, что нашла ей спокойных соседей, и объяснила, кого именно, Надежда Спиридоновна со страхом воскликнула:

— Жену Олега Андреевича? Ниночка, да ведь она, кажется... кажется...

— Да, тетя, Ася в положении. А почему это вас беспокоит? Оберегать ее будет пожилая дама, тетка ее по матери. А уж что касается деликатности и кротости — в Асе всего этого больше, чем нужно.

Старая дева промолчала, но осталась чем-то очень недовольна.

Она приехала пятнадцатого мая вечером, когда Ася и Леля, утомленные прогулкой, уже крепко спали. Проснувшись поутру, она услышала странное повизгивание, которое сразу показалось ей очень подозрительным. Она отогнула край занавески. Лужайка, которая приходилась под ее окнами, весной всегда была усыпана желтенькими одуванчиками и мать-и-мачехой; Надежда Спиридоновна страстно любила эту лужайку и запрещала ее косить. И вот на этой-то лужайке, расположившись, как у себя дома, сидели на бревнышке Леля и Ася, греясь на весеннем солнце, а рядом с ними вертелся белоснежный пудель.

— Собака! — шептала Надежда Спиридоновна. — Собака на моей лужайке, на территории моего Тимура! Она перемнет все мои одуванчики, а бедному Тимочке теперь некуда будет выскочить! Какие, однако, нахалки эти девчонки! А фигура у молодой Дашковой так обезображена, что смотреть совестно. Вот удовольствие — выходить замуж.

Надежда Спиридоновна отличалась необычайной аккуратностью в туалете, но вместе с тем обладала пристрастием к старым вещам, которые бессчетное число раз чинила и перечинивала. Для деревни у нее была серия особых туалетов, которая каждый год приезжала с ней и считалась у нее своеобразным «хорошим тоном». Она надела темно-синий сарафан, а сверху серую «хламиду» — так она называла холстиновый казакин, который затягивала на талии ремешком. Надежда Спиридоновна была маленькая и очень худая — вся высохшая, как корка. К ремешку она привесила берёстовый плетеный бурачок, с которым еще в юности привыкла ходить за земляникой; ягоды еще не цвели, но Надежда Спиридоновна в лес без корзины никогда не ходила; в руки она взяла большую крючковатую палку — другой неизменный спутник. Мысль, что она сейчас увидит любимые привычные места, которые напоминали ей родные Черемухи, наполняла теплом ее душу — что-то мягкое и сердечное светилось в ее глазах, пока она привязывала бурачок и вооружалась палкой. «Пройду на «хохолок», посмотрю, нет ли сморчков. Лишь бы «они» не вздумали надоедать мне разговорами и увязываться за мною в лес», — думала она, закрывая на замок свою дверь. И вот, как только Надежда Спиридоновна вышла на залитый солнцем дворик, Леля, Ася и пудель тотчас окружили ее.

Очаровать, смутить, вообще как-либо сбить со своих позиций Надежду Спиридоновну было нелегко, тем более что она позволяла себе пренебрегать светским обхождением, правила которого были ей очень хорошо известны; причем позволяла только себе, строго порицая в других.

— Букет? Зачем это! Цветы я люблю собирать сама. Я уж, наверно, лучше вас знаю места, где растут campanules[8]. Гулять в компании я не люблю — я хожу всегда молча. Уберите сейчас же собаку — она обидит моего кота. — И отпугнула таким образом девчонок в одну минуту. Но когда к ней приблизилась с милой улыбкой Зинаида Глебовна, ее седеющие волосы и усталое лицо несколько умерили воинственный пыл Надежды Спиридоновны.

[8] Колокольчики *(франц.)*.

— Места здесь красивые, но какая же это «дача»? — говорила Зинаида Глебовна. — По нашим прежним понятиям, «дача» — загородная вилла: красивый дом, балкон с маркизами, дикий виноград и цветник... А это — просто комната в избе, стена в стену с овчарней; она годится только для таких разоренных и загнанных «бывших», как мы. Кроме того, здесь ничего нельзя достать: ни творога, ни сметаны, ни яиц, ни свежей рыбы — ничего из того, что прежде водилось в деревне в таком изобилии. Крестьяне не знали, кому сбывать... Это только при большевиках может так быть, чтобы в деревне не было ничего. Олег Андреевич и я притащили немного снеди на собственной спине, а иначе мы бы здесь голодали — ничего, кроме молока!..

— Кстати, утренний удой получаю всегда я. Так уже заведено, — сказала Надежда Спиридоновна.

— Пожалуйста! Мне все равно! Я буду брать вечернее, — поспешно сказала несколько удивленная Зинаида Глебовна.

Увидев свою Нюшу, появившуюся у калитки, Надежда Спиридоновна кивнула Зинаиде Глебовне и направилась к ней; несколько минут они о чем-то шушукались, после чего Надежда Спиридоновна вошла в бор, начинавшийся сразу за калиткой.

Тотчас после этого к Зинаиде Глебовне подошла Нюша и заговорила с улыбкой:

— Хотела я предуведомить... Та лужаечка, что под окнами моей барышни... Они ее почитают все равно как своей собственностью... так уж вы окажите уважение: не велите ходить вашим барышням, и на завалинку чтоб не садились... Собаку тоже пущать не велено. Не хотелось бы нам неприятностей.

Вследствие таких сюрпризов, когда Надежда Спиридоновна через некоторое время показалась у калитки, никто уже не бросился к ней навстречу. Леля шепнула Асе: «Идет!» — и поспешно придержала за ошейник пуделя.

Показалось ли Надежде Спиридоновне, что она была слишком резка утром, или ей захотелось похвастать своими трофеями, но она замедлила шаг и сказала:

— Я убила только что двух гадюк: одна спала на солнце, а вторая выползла из-под моих ног и едва не ушла в кусты. Здесь, на «хохолке», их много — имейте в виду. Я каждую весну убиваю несколько. Всего на своем веку я вот этою палкой убила сорок восемь змей — я им веду счет.

— Послушай, она часом не ведьма? — шепнула Ася, когда Надежда Спиридоновна отошла.

Вечером, когда они ужинали при свечке, Зинаида Глебовна сказала, раскладывая на тарелки печеный картофель:

— Сейчас рассмешу вас, девочки: сегодня старушка — наша хозяйка — та, что почти не слезает с печи, жаловалась мне на свою Нюшу, которая здесь вершит всеми делами, будто бы Нюша и ее старая барышня — ведьмы, будто бы за обеими водятся странности...

— Вот видишь! Я тебе говорила! Я первая заметила! — вскрикнула Ася.

— Старуха уверяет, — продолжала Зинаида Глебовна, — что лет десять тому назад Нюша вздумала вешаться на чердаке и, когда вбегала туда по лестнице, услышала, как кто-то взывает ее сверху страшным голосом: «А поди-ка, поди-ка». Нюша испугалась и не пошла, однако с той именно поры прочно связалась с нечистым: умеет взглядом заквасить молоко, заговаривает кур, питает пристрастие к черным кошкам и петухам, а в церковь ее не заманить даже к заутрене...

— А на помеле ездит? — деловито спросила Леля, обчищая картошку.

— Пока об этом мне не доложено, — засмеялась Зинаида Глебовна.

Воображение разыгралось, и когда после ужина понадобилось пройти к рукомойнику, висевшему на крылечке, Ася побоялась пройти через темные сенцы, где за бочкой воды притаился черный кот. Зинаиде Глебовне пришлось конвоировать ее, держа свечу; едва они успели выйти, как их с визгом догнала Леля, уверяя, что как только она осталась одна, глаза у кота загорелись, словно уголья.

С этого дня перешептывание по поводу двух ведьм и наблюдение за обеими стало любимым занятием. Обе девочки увлеклись этим, как крокетом или волейболом.

— Я сегодня видела, как одна ведьма сунула другой пяток яичек; нам не дает, а для подружки наколдовала.

— А утром, когда я вышла за околицу, Надежда Спиридоновна собирала там траву. Наверно, колдовскую. Может быть, разрыв-траву?

— Походка у нее самая ведьминская. Семенит быстро-быстро — и вдруг остановится и припадет на свою клюку, да озирается вокруг своими страшными глазами.

— Да бросьте вы, девочки! Собирала Надежда Спиридоновна всего-навсего щавель себе для супа! — урезонивала их Зинаида Глебовна.

Глава семнадцатая

В последних числах июня в Оттовской клинике санитарка, бегавшая в часы передач с записочками от молодых матерей к мужьям, в числе других принесла такое письмо:

«*8 часов утра.* Олег, милый, у тебя сын! Ты рад? Очень ты беспокоился? Меня здесь уверяют, что все было хорошо, ловко и быстро, а все-таки это мучительно! Зато теперь все уже позади, совсем ничего не болит; я чувствую только сильную разбитость и слабость, то задремлю, то очнусь и все время думаю, что у меня сын. Я еще его не разглядела; когда он наконец вынырнул на Божий свет, я только мельком увидела что-то маленькое, розовое и грязненькое; врач похлопал его по спинке, и он запищал. Это было рано утром; через большие окна лились солнечные лучи, из больничного сада я услышала щебет птиц. Вся палата наполнилась торжеством. Врач и сестра были такие добрые, ласковые; врач наклонился ко мне и сказал: «Поздравляю с сыном». Меня почти тотчас перенесли в палату, положили на спину и запретили садиться. Он лежит отдельно от меня в детской; в 12 часов обещали, что принесут покормить. Вот тогда уж я его разгляжу. Меня беспокоит сейчас только одно: будешь ли ты по-прежнему брать меня на колени, называть Кисанькой, сажать на плечо и носить по комнате? А вдруг ты решишь, что если я уже мама, значит я — большая, и станешь со мной деловым и строгим? Это было бы ужасно! Попроси бабушку напеть тебе фразу из корсаковского «Салтана»: «Я свое сдержала слово...» — она удивительно хороша! Прости, что пишу каракули — лежа писать неудобно.

12 часов 40 минут. Милые бабушка, мадам и Олег, приносили мне только что кормить моего сынка, сказали: прекрасный экземпляр! Как вам понравится такое выражение? Я, однако, вовсе не нахожу его прекрасным — личико красненькое, ротик беззубый, глазки темно-синие, черничные, но они как-то заплыли, говорят, что это от отечности, которая скоро пройдет; носик крошечный и сначала показался мне курносым, но после я разглядела, что в профиль носуля совсем приличный. Локонов нет — так, пух какой-то! Чепчики мадам, пожалуй что, нам и пригодятся. Да — красотой не блестим! Он довольно пристально меня разглядывал, а не спал, как большинство других. Ведь и в самом деле интересно увидеть ту, которая вызвала вас к жизни! Потом мой вид показался ему слишком скучным, он стал зевать, потом чихнул, а потом задремал. Я вспомнила, как однажды вот так же у меня на руках заснул маленький зайчонок, который жил у нас с Лелей. Потом он стал кочевряжиться — извивался и увякал. Няня из палаты ушла, и мне стало казаться, что он сейчас сломается и умрет. Я сама чуть не заплакала и с облегчением вздохнула, когда няня пришла и унесла его. А теперь уже снова хочется посмотреть. Надо сознаться, что при всем, совершенно очевидном уме и способностях, он все-таки больше похож на лягушонка или крысенка, чем на человечка. Впрочем, есть небольшая надежда, что он похорошеет, ведь до сих пор он был в ужасных условиях: было очень темно и тесно и, как я это поняла только здесь, лежал он, оказывается, вверх ногами! Бедный мой детка! Хорошо, что я этого не знала! Расскажите о нем Леле и тете Зине и не забудьте послать телеграмму дяде Сереже. Я хочу назвать сына Святославом — вместе с отчеством это будет звучать, как имена старорусских князей.

4 часа. Вот и настал час передач — мне принесли от вас чудесную корзину цветов и ваши письма. Запечатываю свое. Ася».

Писем было четыре; она распечатала первым письмо от мужа.

«Моя ненаглядная светлая девочка! Вот ты и мать! Как счастлив я, что все страшное уже позади и что ты и малютка живы. Мы всю ночь не ложились. В 7 часов утра я уже был в больнице, но швейцар не пустил меня дальше вестибюля, сколько я ни пытался его задобрить. Я вернулся домой ни с чем, и мы бросились звонить в справочное больницы: там никто не отвечал. Я опять побежал сам, и в этот раз швейцар, сияя улыбкой, мне заявил: «Поздравляю с сыном!» Ему сообщил это, уходя с дежурства, врач, чтобы он мог передать, если будут справляться о Казариновой. Тут же я узнал, что посещения строго запрещены и что с 4 до 6 — передача пакетов и писем. Я помчался домой. Вбегаю — у нас Зинаида Глебовна и Леля. Все так обрадовались; бабушка меня обнимала, Зинаида Глебовна и мадам плакали. В справочном, которое наконец открылось, подтвердили, что родился сын, и сообщили, что твое самочувствие хорошее. Милая девочка! Ты одна миришь меня с жизнью. Мне до сих пор не верится, что скоро я увижу сына и буду держать его на руках — вот будет ликование души! И я полюбил тебя еще больше! Ясочка моя, хорошо ли тебе в больнице? Обстоятельства жизни мешают мне окружить тебя теми удобствами и благами, на которые ты имеешь законные права. Ты, конечно, была бы дома, в самых лучших условиях, если бы... Обнимаю тебя. Твой Олег».

Второе письмо было от Натальи Павловны.

«Голубка моя! Поздравляю тебя. Рада, что мальчик. Мы очень беспокоились и теперь от счастья ходим с мокрыми глазами. Я вспоминаю себя в твои годы и рождение моих мальчиков. Кто бы тогда мог думать, какая трагическая судьба предстоит обоим. Мадам в восторге; она просит передать тебе поздравление и бежит сейчас в кухню делать твое любимое печенье «milles feuilles»[9], чтобы послать тебе в больницу. Лежи спокойно, береги себя. Крещу тебя и младенца. А я-то теперь прабабушка».

Третье письмо было такое же ласковое:

«Бесценная моя крошка! Я все время плачу. Если бы жива была твоя мама, как бы радовалась она вместе с нами. На даче будем вместе нянчить твоего сынка. Я уже люблю его! Дал бы только Бог и моей Леле такого же мужа, как твой, и такие же радости. Целую новую маленькую маму. Твоя тетя Зина».

И, наконец, четвертое:

---

[9] Слоеное, букв.: «тысячи листиков» (*франц.*).

«Милая Ася! Поздравляю с чудным синеглазым крошкой. Все вокруг меня сейчас словно помешанные: плачут, смеются, обнимаются... я сама начинаю понимать, что произошло что-то очень значительное. Мы приехали вчера вечером и сегодня как можно раньше забежали узнать о тебе. И вот попали как раз вовремя: твой Олег прибежал при нас такой сияющий, запыхавшийся. Если бы ты видела, в какую ажитацию пришла ваша мадам — она бегала по комнате и махала руками, повторяя: «Дофин! Дофин!» Как будто родился и в самом деле наследник престола. Мама старается, чтобы до моих ушей не докатились подробности, и на мои вопросы — сколько это продолжалось и с чего началось, и что такое «разрывы» и «воды», никто не отвечает. Но ты мне расскажешь все самым подробным образом, не правда ли? Все запрещенное меня всегда особенно интересует. Я, конечно, вчера успела поссориться с мамой: она непременно желала, чтобы я осталась на даче. Благодарю покорно! Сидеть одной с двумя ведьмами! К тому же последнее время стала бесноваться та черная кошка, которая живет у хозяев: она кувыркается, хватается за голову и орет истошным голосом. Ведь как давно живет уже у нас Васька, и всегда такой спокойный и благонамеренный, а в эту словно бы вселился нечистый дух. Мама, хоть и уверяет, что «ничего страшного», однако сама не может объяснить, что это такое. Подозреваю, что это тоже ведьма, только прикинувшаяся кошкой. Я, разумеется, настояла на своем и приехала, по крайней мере о тебе узнала. Дорогая Ася, будь всегда счастлива! Если я кого-нибудь на свете люблю, то это тебя. Твоя Леля».

Ася прочитала эти письма, взялась опять за первое и перечитала все по второму разу; потом положила их к себе под подушку, вздохнула, улыбнулась и погрузилась в счастливую дремоту.

Через два дня от нее летело следующее послание:

«Милые, родные! У моего мальчика понемногу открываются глазки, а ушки и лобик белеют. Когда его приносят ко мне, он всякий раз меня прежде всего осматривает. Мордашка страшно выразительная! Мне ужасно хочется, чтобы он вам понравился; только не вздумайте уверять меня в этом нарочно — я все равно пойму! Я вас предупреждаю, что когда он плачет, он делается весь красненький, морщится, гримасничает и становится похож на уродливого гномика, но в спокойные минуты у него чудное личико. Впрочем, когда вы увидите, как он сосет кулачок, вздыхает и потягивается, вы его непременно полюбите — невозможно его не полюбить! Вчера вечером у меня начала тяжелеть и гореть грудь и поднялась t° — это появилось, наконец, молоко, но когда я ткнула в ротик малышу грудь, он вместо того, чтобы присосаться и сладко причмокнуть, тотчас ее потерял и опять стал искать губками. У меня очень маленький сосок, который ему трудно удержать, и если бы вы видели его усилия — он и морщится и вздыхает, укоризненно косится при этом на меня своими черничными глазами и ужасно вабавно хмурится. А когда дело наладится, его личико делается спокойным и улыбающимся. Кроме того, он премило воркует — ни один из младенцев в палате не воркует так! Я никак не ожидала, что у трехдневного младенца может быть такая гамма выражений лица и звуков голоса! А какая у него нежная кожа — даже от поцелуя на ней остается розовый след! Только бы он был счастлив — вот уже сейчас его огорчают сосочки, а дальше могут случиться огорчения гораздо более серьезные... У меня совсем немножко уже теперь болит за него сердце! Напрасно Олег беспокоится, что я не окружена роскошью и профессорами — мне, право же, здесь очень хорошо и весело!»

Дни, последующие за возвращением Аси, Олегу омрачило письмо Нины, которая после поздравления с сыном сообщала, что, закончив серию концертов, проехала с Волги к Марине на Селигер.

«15-го июля туда приезжает на свой отпуск Моисей Гершелевич, а я возвращаюсь в Ленинград, — писала Нина, — напоминаю Вам ваше обещание сообщить Наталье Павловне известие о Сергее прежде

моего возвращения, чтобы мне не пришлось опять притворяться или сопереживать первые, самые острые минуты отчаяния. Я уже так устала от слез и горя».

Откладывать далее было немыслимо.

На третий день по возвращении Аси выдался подходящий для разговора час — Наталья Павловна спустилась к графине Коковцовой поиграть в винт, а мадам с «дофином» на руках вышла на воздух посидеть в ближайшем сквере. Они остались одни, но едва только он успел выговорить ее имя, Ася быстро повернулась и спросила:

— Что? Случилось что-нибудь? — и в голосе ее Олег ясно различил трепет тревоги. Пришлось договаривать!

Виденья прошлого! Как они много значат! Вот грязная теплушка, набитая страшными чужими людьми, а дядя Сережа греет на груди под армяком ее ножки, хотя сам уже с ног валится от сыпняка; вот они сидят рядом в бабушкиной гостиной около нетопленого камина, от мрамора которого как будто распространяется дополнительный холод и пробирается в рукава и за ворот... А дядя Сережа читает ей Пушкина или Шиллера, расшевеливает ее мозг, будит воображение, согревает душевно! По вечерам, возвращаясь с «халтурных» концертов, которые часто кончались угощением полуголодных артистов на заводе, он никогда не забывает принести ей пирожное или две конфетки... Еще и теперь, пробегая мимо его кабинета, занятого чужими, она всякий раз словно ждет, что он выглянет из двери и окликнет ее, а вбегая в столовую, словно видит дымок его сигары... за роялем слышит его интерпретацию данной вещи... Всю музыку, всю литературу она узнала от него. Она сдерживала слезы, но нос совсем «размокропогодился», а платка при себе не оказалось — сколько раз ей за это попадало от бабушки! Вот у Олега он всегда в кармане и всегда белоснежный — Олег сам себе стирает под краном носовые платки, а мадам гладит их и приговаривает, что кандидат на русский престол должен быть окружен самой неусыпной заботой и что Сандрильёна плохая жена!

В передней без звонка хлопнула входная дверь. Ася вскочила и схватилась за голову:

— Бабушка! Не сейчас... только не сейчас! Скажи, что у меня голова болит и я легла. Я не могу показаться сейчас бабушке.

Три дня подряд длилась эта агония: Ася собиралась с духом и не могла решиться заговорить.

— С Богом, дорогая! — шептал ей Олег перед дверьми бабушкиной комнаты.

— Courage! — повторяла свое любимое напутственное слово француженка, которой все уже было известно. Ася входила и садилась на край бабушкиной кровати, но заговорить не решалась.

— Подожду! Бабушка сказала, что сегодня у нее хуже сердце. Завтра скажу, — говорила она Олегу и мадам.

— Подожду. Сегодня бабушка мне показалась такая усталая и бледная. Завтра, — говорила она на другой день.

Не любовь и рождение ребенка опустили занавес над беззаботностью юности, это сделала потеря, первая в ее сознательной жизни. Она пришла одновременно с первыми материнскими тревогами, когда надо было подстерегать и понимать плач, агуканье и барахтанье маленького существа, вставать к нему ночью, пеленать, кормить и замирать от тревоги — все ли идет как надо? Почему кричит? Почему хуже сосал? Почему плохо спал сегодня? И смех ее затих в эти дни; тревожная морщинка залегла между бровей, в взгляд стал испуганный и печальный. К тому же донимала усталость: сказывалась ли в этом послеродовая слабость, или кормление, или необходимость вставать по ночам, но за несколько дней Ася потеряла цветущий вид. Она всегда была худенькой, но теперь стали исчезать румянец, округлость щек, блеск глаз...

Через несколько дней во время обеда Наталья Павловна вдруг положила вилку и нож и, обращаясь ко всем сразу, сказала:

— Отчего мне все время кажется, что вы от меня что-то скрываете? Уж не получили ли вы каких-либо тревожных известий от Сергея?

Все замерли, и это молчание подтверждало — она права!

— Может быть, его перебросили в концентрационный лагерь или с рукой что-нибудь? Пожалуйста, не скрывайте ничего!

Ася выскочила из-за стола и бросилась комочком в бабушкино запретное кресло, как будто хотела спрятаться. Француженка поднесла руку ко лбу и прошептала: «Oh, mon Dieu!» Наталья Павловна медленно обвела всех глазами и поднялась с места.

— Вы мне сейчас же скажете всё! Я категорически требую! — властно прозвучал ее голос.

— Дядя Сережа.. они его... он... — лепетала Ася.

— Погиб, — тихо и раздельно докончил за нее Олег.

Наталья Павловна не упала, даже не пошатнулась. Она осталась стоять так же прямо, как стояла. У нее изменилось лишь выражение лица, на которое вместо тревоги легла глубокая скорбь, особенно в поднявшихся кверху глазах. Несколько минут она простояла в оцепенении, потом спросила почти спокойно:

— Что случилось?

— Не вернулся из тайги, — шепнула Ася.

— Заблудился, — сказал Олег.

— Его искали?

— Нашли уже мертвым. Тело не отдали. Место погребения неизвестно.

И опять наступило молчание. Олег подал ей стул; она села; они остались стоять около ее стула в почтительной неподвижности. Может быть, она думала сейчас о том, что в отрочестве и юности любила его меньше старшего сына только потому, что он музыку предпочел гвардейским эполетам, а между тем как раз ему выпало на долю ценою постоянных жертв беречь ее старость; может быть, она вспоминала его рождение...

— Не плачь, детка! — сказала она, наконец, услышав тихое всхлипывание Аси. Красивая тонкая рука погладила волосы внучки. — Успокойся, побереги себя, твое волнение отзовется на молоке, а стало быть, и на малютке. — И спросила: — Когда это случилось?

— Восемнадцатого февраля, мы узнали в апреле.

— Так давно! А эти письма?

Олег объяснил происхождение писем.

— Нина знает?

— Знает.

— Так вот почему она почти перестала у нас бывать! Ей тяжело было притворяться... бедное дитя! А я уже начала опасаться... — И она снова погрузилась в задумчивость.

— Нина служила отпевание? — спросила она через несколько минут, подымая голову. Ася вопросительно взглянула на мужа.

— Нет, — виновато проговорил он.

— Да как же так! Прошло уже три месяца... Олег Андреевич, неужели и на вас с Ниной повлияло советское безбожие?

— Виноват, за последнее время и в самом деле отвык от церковных обрядов. Я до сих пор не отслужил панихиды по матери: сначала госпиталь, потом лагерь...

— Очень жаль, — сухо сказала Наталья Павловна. — Вы человек определенного круга и с вашим воспитанием этого не должны были бы допускать. Что касается меня, я в ближайшие же дни закажу заочное отпевание.

Она встала и пошла в свою комнату. Ася нерешительно двинулась вслед.

— Не иди за мной, — сказала ей с порога Наталья Павловна.

В течение последующих дней Наталья Павловна поражала всех своей выдержкой; она заказала заупокойную обедню и отпевание и разослала приглашения своим ближайшим друзьям; во время пения «Со святыми упокой», когда Ася и обе Нелидовы плакали, она стояла как изваяние, в черном крепе, который не снимала еще со смерти мужа.

Олег и Нина несколько раз высказывали друг другу мысль, что религиозность Натальи Павловны носит несколько внешний, обрядовый характер, непохожий на безотчетные, смутно-поэтические, но глубоко искренние порывы Аси; даже Леля заявляла не раз: «У Натальи Павловны вера государственная, регламентированная, которая держит в страхе Божием нас, меньшую братию». Тем не менее вера эта, по-видимому, оказалась куда более глубокой и сильной, она давала Наталье Павловне самообладание и утешение.

Вечером этого же дня, когда все сидели за вечерним чаем, Наталья Павловна сказала:

— Теперь я буду настаивать, чтобы Ася с ребенком завтра же ехала в деревню. Дача стоит пустая, Леля без Аси уезжать не хочет, а мы все не так богаты, чтобы бросить деньги на ветер. Я остаюсь с Терезой Леоновной, на днях возвращается Нина, да и Олег Андреевич пока еще здесь. Нет причин сидеть в городе.

Ася попробовала было слабо сопротивляться, но потерпела фиаско и на другой же день послушно уехала. Она самой себе не решалась признаться, до какой степени ей хотелось обегать с Лелей и с мужем эти леса, поляны и просеки теперь, когда она могла не остерегаться быстрых движений и всевозможных запретов окружающих.

В первую субботу Олег нашел Асю еще несколько грустной и бледной, и личико ее тревожно вытянулось, когда она спрашивала о бабушке; в следующий раз она выглядела лучше; а в третью субботу, бросившись ему на шею на пустом полустанке, она радостно лепетала:

— Здесь так чудесно! Славчик все время на воздухе. Знаешь, у него появляются на ручках перетяжки, это потому, что у меня теперь молока больше. У нас пошли грибы после дождичков. Мы их находим десятками. Маленькие боровички похожи на Славчика — такие же забавные и очаровательные. Знаешь, вчера Славчик в первый раз улыбнулся!

Грибная эпопея скоро развернулась во всем блеске, и Олег, как только получил в последних числах августа отпуск, принял в ней самое горячее участие. Грибы лезли из-под каждого кустика, из-под каждого пенька выглядывали их довольные и хитрые рожицы. На сыроежки и березовики уже никто не обращал внимания — охотились только за белыми и за груздями. Грузди гнездились преимущественно в отдаленной березовой роще, под опавшими листьями, тогда как белые грибы облюбовали бор. Это были очаровательные боровички с темными шапочками и толстыми корешками, жившие семьями по десять — пятнадцать штук. В поход за ними выступали с самого утра независимо от погоды. Случалось, небо было затянуто тучами и сеял мелкий и частый холодный дождь, осень в этом году была далеко не так хороша, как предыдущая; но ничто не могло остановить отважных грибников. Ася надевала старую шерстяную кацавейку и русские сапоги, Олег — старую кожаную куртку Сергея Петровича и солдатские сапоги, Леля — перешитый из дедовского камергерского мундира, весь перештопанный салопчик и войлочные туфли, сшитые Зинаидой Глебовной; обе девочки повязывались по-бабьему платками; и все выступали чуть свет из дому,

вооруженные корзинами и перочинными ножами. В лесу начиналась оживленная перекличка:

— Я нашла парочку! Чудные — крупные и совсем чистые! — вопила в азарте Леля.

— А что же я-то? Опять ничего! Хожу, хожу, и все без толку! — отзывалась Ася с нотой отчаяния в голосе. — Олег! ау! Почему ты не откликаешься? Нашел что-нибудь?

— Для начала — четыре! Я решил, что не уйду, пока на моем счету не будет ста штук, как вчера. Штурмуйте этих бездельников! — откликался бывший кавалергард.

Возвращались усталые и страшно голодные. Зинаида Глебовна, на которую оставались и дом, и младенец, встречала с обедом и вытаскивала ухватом из русской печи горшок с кашей и топленое молоко, словно заправская крестьянка — хозяйка избы. После обеда Ася и Леля садились чистить грибы, а Олег уходил снова в лес собирать валежник. Потом топили печь и сушили в ней грибы. В промежутках между подбрасыванием дров и выниманием грибов, в полутемной кухоньке около печи, затягивали песни или рассказывали страшные истории; Зинаида Глебовна тем временем пекла в этой же печи картошку к ужину. Ужинать садились, как только поспевало вечернее молоко. Олег замечал, что, отдаваясь этому нехитрому укладу, стал лучше спать и лучше есть. Ася была так мила в платочке с горошинками и в больших сапогах! В ней было столько душевного здоровья и детской беспричинной радости! Когда она прикладывала к груди ребенка и, улыбаясь ему, называла его «агунюшкой» и «птенчиком», а затем, опуская ресницы, смотрела на него сверху вниз, он находил в ней еще одно, новое, очень тонкое очарование, которого не было прежде. Может быть, эта жизнь казалась ему прекрасной потому, что была вся насыщена любовью к ней и к маленькому существу, а это вместе с добротой Зинаиды Глебовны создавало особую атмосферу взаимной свмой бережной нежности. Может быть, эта жизнь казалась прекрасной еще потому, что она не могла быть продолжительной.

Однажды разговор зашел о февральской революции, и Зинаида Глебовна проговорила с меланхолической улыбкой:

— Я так расстроилась тогда при мысли, что никогда больше не увижу скачек и парфорсных охот и что пришел конец нашим веселым вечерам у Его Высочества. Помню, я несколько дней проплакала в моем будуаре, а мой фок Жужу понимал, что я переживаю какое-то горе, и целыми часами просиживал около меня.

Надежда Спиридоновна продолжала держаться особняком и даже в грибные походы отправлялась одна. Этому делу, к всеобщему удивлению, она отдавалась с неменьшей страстностью, чем они сами, и даже с профессиональной пунктуальностью. Несколько раз случалось, что, приготовляясь к походу, все видели в серой дымке моросящего дождя фигуру старой девы в допотопной тальме, с бурачком и знаменитой палкой — она выходила за частокол и скрывалась между соснами всегда прежде них. Однажды они завернули в небольшой соснячок — один из участков огромного бора, раскинувшегося на много верст. Соснячок оказался очень плодовитым, и за полчаса они собрали втроем сто двадцать маленьких чистых боровичков. Они только что расположились отдохнуть на сломанном дереве и съесть по куску хлеба, как увидели фигуру Надежды Спиридоновны, которая появилась из-за песчаной горы и затрусила к ним.

— Вы здесь зачем? — не слишком дружелюбно спросила она.

— За боровиками, — глазом не сморгнув, ответила Леля и показала коробок.

Надежда Спиридоновна вдруг вспыхнула:

— Это мое место! Я здесь собираю уже в течение семи лет! Это известно всем, а вы могли бы пойти и подальше!

— Мы не знали, что вы помещица! Нас вот уже давно повыгоняли с наших угодий. Может быть, и весь этот бор ваш? — спросила Леля.

Но Олег поспешил перебить ее, не желая обострять отношений:

— Если мы неожиданно попали в положение браконьеров, то разрешите нам, Надежда Спиридоновна, исправить нашу вину и с величайшей готовностью преподнести вам наш сбор, — сказал он.

Но старая дева, вместо того чтобы смягчиться, неожиданно пришла в ярость.

— Зачем это мне? Я люблю сама находить грибы, а когда они сорваны, они мне неинтересны! Берите их, но больше сюда не ходите, если хоть немного уважаете старших.

— Так точно. Больше ходить не будем, — и Олег увел Асю и Лелю.

Пройдя шагов двадцать, все трое остановились, взглянули друг на друга и неудержимо расхохотались.

Вечера становились все темней и темней. Надежда Спиридоновна заранее запасалась хорошими свечами, и в комнате у нее было светло, в то время как ее соседи толкались в темноте, как кроты, и переносили за собой из кухни в комнату маленький огарок, воткнутый в бутылку. Олег отправился за свечами в далекий поход на ближайшую станцию, но в советской лавчонке не оказалось ничего, кроме водки и консервированных компотов, а ехать в город — значило истратить лишнюю сумму в то время, как денег систематически не хватало. Так и остались в потемках еще на несколько дней. Надежду Спиридоновну это, по-видимому, не беспокоило — она ни разу не пригласила их к своему столу и предпочитала коротать вечера одна за раскладыванием пасьянса.

В последнюю неделю своего пребывания на даче Надежда Спиридоновна простудилась: у нее сделался «прострел», и она слегла с острыми болями в пояснице. Пришлось выручать неприветливую соседку: Олег носил ей воду и топил печь, Зинаида Глебовна стряпала, а Леля посылалась к ней в качестве горничной. Она всякий раз жаловалась матери на «ведьминские» причуды:

— Я такой невыносимой старухи еще не видела: аккуратна до скуки — у нее в ходу всегда восемь полотенец и все развешаны по гвоздикам, и спутать не приведи Бог! Охает, скрипит, а глаза рысьи — сейчас приметит! «Это надо вытирать наружно-кастрюльным, а вы взяли внутри-кастрюльное, миленькая моя!» Клеенку на столе нельзя просто вытереть, а сперва тряпочкой номер один, а потом тряпочкой номер два, а тряпочек тоже восемь! Видели вы что-нибудь подобное? Злая: всякий раз спросит, сколько боровиков мы нашли, а я нарочно прибавлю, чтоб ее подразнить. Проскрипит: «Я, случалось, находила еще больше», а самою так и передернет от зависти.

Накануне отъезда Надежда Спиридоновна наконец пригласила всех к себе на чашку чая и довольно мило побеседовала о характерах различных грибов и способах солений. Уезжая, она милостиво поцеловала Лелю и Асю в лоб и пригласила обеих к себе на свои именины.

Глава восемнадцатая

— Явилась! Вот послушай-ка, что я намерен сообщить: коли единый раз еще найду свое письмо вскрытым — получишь на орехи. Поняла? — Этими словами Вячеслав приветствовал Катюшу, вернувшуюся со службы.

— Взбесился ты, что ли? Лается без толку! — равнодушно огрызнулась та, присаживаясь на табурет.

— Нет, не без толку! Сделаю, как сказал. Ишь как разохотилась! Уже второй конверт вскрытым вынимаю из ящика.

— Ну, а я тут при чем? Иди объясняйся на почте — коли наша цензура ленится запечатывать, там и раздавай на орехи, — я тут при чем?

— Не ври. Аннушка сама раз видела, как ты держала конверт

над паром. Наша цензура справится без твоей помощи, и нечего тебе в чужие дела нос совать.

— Много видела твоя Аннушка! Врет она. А тебе как комсомольцу не к лицу такие разговоры. Товарищ Сталин то и дело напоминает, что каждый советский гражданин, а тем более комсомолец, должен по мере сил помогать органам гепеу. А ты сам не помогаешь и другим мешаешь. У нас в квартире есть за кем последить, сам знаешь, какой тут круг!

— Любопытничаешь ты больше, чем следишь. За мной, что ли, тебе поручили приглядывать? Я такой же комсомолец, как и ты.

— Комсомолец, а снюхался с классовыми врагами...

— Ты смотри — словами не швыряйся! — И в голосе Вячеслава прозвучала угрожающая нота.— С кем я снюхался? Эх ты, трепло! Язык без костей. Я «снюхался»! Утром — работа, вечером — учеба, да комсомольские собрания. Даже в кино забежать часа не выберу. Мне деньги в карман не лезут, как тебе. И откуда, интересно знать, у кассирши при бане столько денег? А? Да ладно, молчи, я и так знаю, что ты строчишь. Небось в крепдешинах бы не щеголяла и сладкие булочки не уплетала. Эх, не все пока ладно у нас в системе! Донос... За него не должно полагаться награды, платные осведомители никуда не годятся! Коли я вижу, что человек опасен, я сигнализирую и делаю это потому, что так мне велит гражданский долг, а для себя от этого ничего не жду. Ну, а за деньги чего не наплетут! Кому крепдешинчик купить охота, кому велосипед, кому девушке подарок,— ну и наговариваете с три короба. Со временем обязательно подыму этот вопрос в райкоме. Что моргаешь глазенками?

— Как же! Послушают тебя! Гляди, чтоб самому рот не заткнули! Недолго!

— А это уж не твоя беда! — И, круто повернувшись, Вячеслав вышел из кухни.

Он пережевывал хлеб с колбасой, уткнувшись носом в книгу, когда кто-то стукнул в дверь.

— Да-да! — сказал он, продолжая жевать и даже не оборачиваясь.

На пороге показалась Катюша.

— Ладно, я не злая, надо мальчишке-комсомольцу пособить: иди, сторожи в коридоре — я твоей девушке сейчас дверь открыла, прошла к Нине Александровне.

Он недовольно сдвинул брови.

— Какая такая «моя» девушка? На что намекаешь?

— Будто не понимаешь? Что у меня — глаз нет, или уж вовсе дура? Не видела я, что ли, как прошлый раз ты в коридоре дежурил, чтобы только поглядеть, как пройдет мимо. Ступай, говорю,— сидит у Нины Александровны.— И дверь закрылась.

Он не шевельнулся и снова уткнул нос в книгу, однако через несколько минут отложил ее в сторону. Смущенная и как будто виноватая улыбка скользнула по его губам; он подошел к велосипеду и вывел его в коридор; с плоскогубцами в руках стал возиться над гайками. Дверь из комнаты Нины вскоре открылась, и на пороге показались хозяйка и гостья.

— Спасибо, Леля, милая, что навестили меня. Жаль, Ася не пришла вместе с вами, ну, да ей теперь некогда. Как Славчик?

— Славчик — чудный бутуз. Я его буду крестить, — ответила Леля.

Когда девушка надела старенькое пальто и шляпу из потертого бархата, Нина сказала:

— Вячеслав, вы хороший мальчик, всегда рады всех выручить, проводите до трамвая нашу Лелю. Я не хочу отпускать ее одну. Можете?

— Могу, коли требуется, — неуклюже ответил юноша, — вот только ватник одену.

Через несколько минут они вышли на лестницу и некоторое время шли молча. Вячеслав озадаченно размышлял, как следует обращаться с этой девушкой, и наконец не мог ничего придумать лучшего, как взять Лелю под локоть.

— Пошли, товарищ Леля! После рабочего дня прогуляться приятно. Погода сегодня больно хороша. Вон как подморозило. Может, пройдемся прежде на Невский, а после я вас провожу?

Девушка взглянула на него с удивлением и на всякий случай слегка отодвинулась.

— Я не пойду на Невский, я тороплюсь домой.

— Это вам небось мамаша внушила, что по Невскому гулять вечером неприлично? А вы мамашу поменьше слушайте — то было прежде, а нынче все наши комсомольцы со своими девушками по Невскому прогуливаются, а дамочек дурного поведения там и в заводе нет. Не бойтесь, пошли.

— Нет, спасибо. Пойдемте к трамваю. А впрочем, я отлично могу добежать и одна.— И Леля остановилась, показывая, что хочет распроститься.

— Ну вот, ровно бы и испугались! Не хочете — не надо. Я не принуждаю. Айда к трамваю, Леля.

— Меня зовут Елена Львовна.

— Вам все по старинке охота? Ну, Елена Львовна так Елена Львовна. Вы учитесь или служите, Елена Львовна?

— Я работаю стажеркой в больнице, в рентгеновском кабинете.

— Медработник, стало быть. Вот и я скоро медработником буду. Я с рабфака пошел в фельдшерский техникум. Мы с вами сослуживцы, значит. У нас на нашем курсе на днях постановочка будет, а после — кино «Катька — бумажный ранет». Хотите, достану вам билетик, Елена Львовна? Уж как я рад буду провести с вами вечерок. Ребята у нас хорошие, уважительные. Каждый будет со своею девушкой. Пришли бы?

— Благодарю вас. Я одна нигде не бываю. Я хожу только с Асей и Олегом Андреевичем, да иногда с моей соседкой.

— Мамаша не велит? Эх, Елена Львовна! Этак можно и всю жизнь просидеть около маминой юбки. Вы всё думаете — коли не ваш круг, стало быть, что-нибудь дурное, а ведь это не так.

— Я как раз этого не думаю, но... — она замялась.

— Неохота, что ли? А может быть, я больно уж не нравлюсь? Ваше дело!

Леле стало неловко и жаль его. В тоне его было что-то сердечное и простодушное. Во всяком случае, на нахала он совсем не походил, но слишком уж был весь серый. Желая показать, что она не дуется и не сторонится, она спросила:

— А вы на каком же отделении в техникуме?

— У нас еще пока не было разделения, а вот с января начнется специализация. Должно, возьму хирургию, — ответил он.

— Наверно, очень тяжело одновременно и учиться и служить? — опять сказала Леля, видя, что он умолк.

— Я привык.

Подошел трамвай и умчал Лелю.

На следующий день за вечерним чаем у Натальи Павловны она, смеясь, стала рассказывать о новом знакомстве.

— Посмотрели бы вы на его угловатость! Он ко мне обращался «товарищ Леля».

Все засмеялись, кроме Олега, который сказал:

— Я этого юношу беру под защиту. Он не заслуживает насмешек!

Хотите, я сообщу о нем нечто такое, что очень говорит в его пользу?

Все повернулись к нему, заинтересованные.

— Пятнадцати лет он пошел добровольцем в красную армию и участвовал во взятии Перекопа, где получил ранение в руку... — начал Олег.

— Ну, это еще не говорит в его пользу, — сухо прервала Наталья Павловна.

— Слушайте дальше. Он натолкнулся однажды на мой заряженный револьвер и разрядил его, чтобы предотвратить возможное несчастье; через несколько часов после этого, во время ночного обыска, он не счел нужным заявить агентам огепеу о наличии у меня оружия. Далее: ему было известно из очень верного источника — от меня самого, — кто я по происхождению, но, вызванный в огепеу, он отвечал на все вопросы по поводу меня, что ему неизвестно ничего больше того, что стоит в моих документах. Он даже не нашел нужным сообщить о своем великодушии мне. Я об этом узнал другим путем.

— Очевидно, он вам симпатизирует, но ради чего вы были так откровенны с ним? — сказала Наталья Павловна.

— Я нашел, что так будет вернее, и, как видите, не ошибся.

— И все-таки не следовало! Этому сорту людей доверять нельзя. Мало ли какой может быть на него нажим.

— Какой бы ни был нажим, этот человек не предатель, — твердо ответил Олег, — за всей его серостью есть настоящая идейность, а это теперь так редко!

— Мало, что он не предатель, — он, по-видимому, благороден исключительно! — подхватила Ася.— Нельзя ли зазвать его к нам, приручить и пригреть?

— Это уже крайность, которая ни к чему,— строго одернула ее Наталья Павловна,— я в моем доме партийцев принимать не намерена.

— Что бы то ни было,— опять начала Леля,— а я, хоть и не особенная сторонница бонтона, скажу, что в этом Вячеславе он доведен до минимума.

Олег решил подразнить ее:

— Я уверен, что девушка, которая свяжет с ним когда-нибудь свою судьбу, будет счастливее очень многих и сможет заслуженно гордиться им — это человек долга!

Головка Лели горделиво и возмущенно вскинулась, как голова породистой своенравной лошадки.

У Лели была густая белокурая коса, которая в последнее время вызывала ее постоянную досаду.

— Все ходят стрижеными, только мы с тобой, Ася, с этими допотопными косами. Когда я хочу хорошо одеваться и на это нет денег, тут возразить нечего — нельзя и нельзя! Но отрезать косу, подкрасить губки или сделать покороче юбку нам ничто помешать не может. А мама и Наталья Павловна и тут наперекор: «Все советские девчонки так ходят! Вы ни в чем не должны походить на них!» Это довольно-таки глупо — валить в одно и моду, и политику. В своем отрицании современности старшие, право же, доходят до нелепостей! Пусть посмотрят французские journals des modes [10].

Ася занимала промежуточную позицию в этом вопросе.

— Мне жаль было бы обстричь косы, потому что Олег любит их. Крашеные губы он, как и бабушка, считает дурным тоном; что же касается платья — мне бы очень хотелось иметь черное бархатное со шлейфом. Английские блузки так надоели! — повторяла она всегда со вздохом.

В одно утро Леля ускользнула тайком в парикмахерскую и от-

[10] Журналы мод *(франц.)*.

стригла косу. Около часа мать и дочь кричали потом друг на друга и обе плакали. Наконец Зинаида Глебовна сложила оружие, признавшись, что Леля и стриженой очень мила. Теперь ее беспокоило только, как посмотрит на случившееся Наталья Павловна, с мнением которой она очень считалась, тем более что Наталья Павловна относилась к Леле почти с такой же нежностью, как к родной внучке.

Вечером, у Бологовских, Зинаида Глебовна не впустила тотчас к Наталье Павловне своего «Стригунчика» — как она стала теперь называть дочь. Лелю показали Наталье Павловне сначала издали, с порога, после того, как предупредили о случившемся. Наталья Павловна бросила на девушку взгляд разгневанной матроны, как если бы Леля вступила в незаконную связь и призналась в беременности. Некоторое время она разглядывала в лорнет изящную головку, потом изрекла:

— Терпеть не могу стриженые затылки. Подойди ближе.

Леля сделала несколько шагов, все еще не смея приблизиться. Наталья Павловна продолжала лорнировать.

— Не так уж плохо — челка несколько скрадывает. Стиль, однако, нарушен. Подойди ближе. Мило. А все-таки жаль косы. Ну, поцелуй меня, дурочка, и впредь не смей ничего предпринимать без разрешения старших. А ты, Ася, не вздумай брать пример, тебе стрижка не пойдет, слышишь?

На бирже Лелю по-прежнему не брали на учет, хотя рентгенотехников не хватало. Леля отважилась подать в местком больницы заявление с просьбой принять ее в союз — иначе никто не взял бы ее на работу.

«Боже ты мой, какие рожи!» — подумала она, входя в зал и озирая состав месткома. Отыскав глазами Елочку, Леля робко уселась около Берты Рафаиловны, старой сотрудницы рентгенкабинета; та, добродушно улыбаясь, шепнула ей на ухо что-то ободряющее и погладила белокурые локоны. Врач-рентгенолог, заведующий кабинетом, не явился: очевидно, не захотел вмешиваться в это дело, предвидя неприятности.

Сначала разбирали заявление о принятии в союз молодого электромонтера. Его заставили кратко изложить свою биографию, после чего спросили, не держит ли его отец-крестьянин в своем хозяйстве корову или лошадь; спросили так сурово, будто речь шла не о домашнем скоте, а о притоне воров и проституток. Получив отрицательный ответ, остались очень довольны, задали еще два-три вопроса и приняли человека в союз.

— Теперь, товарищи, у нас на очереди заявление гражданки Нелидовой с аналогичной просьбой. Выйдите сюда, гражданка Нелидова. Вас не все знают, пусть поглядят, какая вы есть. Нелидова работает у нас, товарищи, с марта двадцать девятого года, в качестве бесплатной ученицы-стажерки, допущенной к учебе в рентгеновском кабинете. Штатной должности помимо этого никакой не занимает. Так вот, товарищи, давайте обсудим, как нам отнестись к этому заявлению и следует ли давать ему ход. Расскажите о себе, товарищ Нелидова.

Леля робко приблизилась к столу.

— Товарищи! Я могу сказать о себе очень мало: ведь мне только двадцать с небольшим лет. Я до сих пор еще нигде не работала. Живу в настоящее время с матерью, отца уже давно нет в живых. Мы с мамой находимся в самом тяжелом материальном положении. Я очень прошу принять меня в члены союза, чтобы облегчить мне возможность поступить на работу. Больше мне сказать нечего. О том, как я здесь работала, пусть скажут другие — те, кто это видели и знают.

Несколько минут длилось враждебное молчание.

— Что-то слишком коротко, товарищ Нелидова. Вы не осветили целый ряд весьма существенных подробностей. Например, ваше соци-

альное происхождение. Чем занимались до Октябрьской революции ваши родители?

Елочка и Леля невольно встретились глазами.

— Моя мама... она ничем не занималась... она была всегда дома... а отца я потеряла, когда мне было всего одиннадцать лет.

— Чем занимался ваш отец? Вы не отвиливайте, гражданочка! Может, лавочка имелась или мастерская? Мы все равно узнаем.

Леля вспыхнула.

— Я не увиливаю. Никаких лавочек. Дворянин, военный.

— Так. Ну, теперь ясно. Где погиб?

— Убит в Севастополе в двадцать первом году. — Слово «расстрелян» так и не сошло с губ Лели.

В президиуме переговаривались:

— Ясно. Я и сам сразу увидел, что тут есть чего-то — то ли лавочка, то ли погоны!.. Кто еще хочет спросить? Товарищ Мазутин? Просим.

— Слышали мы сторонкой, гражданочка, что ваш дед дослужился до крупных чинов. Не уточните ли вы этот пунктик?

— Мой дед, отец матери, был сенатор первоприсутствующий, а другой дед — полковник, улан Ее Величества.

— А что такое «первоприсутствующий»?

— Не знаю, товарищи. Я была тогда девочка. Я сказала это для того, чтобы вы опять не подумали, что я что-нибудь утаиваю, а что это означает — и не знаю.

— Так. У кого еще вопросы, товарищи?

Спросили по поводу Лелиной работы. Старая докторша в нескольких словах дала блестящую оценку:

— Товарищ Нелидова отличается удивительной понятливостью и быстротой в работе. У нее все горит в руках. За короткое время она научилась производить совершенно блестящие снимки. При этом очень тактична в обращении с больными, а двигается бесшумно. Это безусловно ценный работник. Заведующий кабинетом очень доволен ею.— Берта Рафаиловна явно желала выручить девушку.

Снова наступило враждебное молчание.

— Разрешите мне, товарищи, сказать еще несколько слов? — проговорила, замирая от волнения, Леля.

— Говорите, товарищ.

— Я хочу сказать... я была еще девочка при прежнем режиме. Я не успела попользоваться никакими льготами и благами. Отец... дед... я почти их не помню. А нужды и горя я видела очень много. Моя мать... мама такая добрая и кроткая. Она мухи не обидит... Ее нельзя, нельзя отнести к врагам народа... — голос Лели вдруг задрожал, — извините, товарищи, я волнуюсь, но это потому... Если вы сейчас откажете мне в моей просьбе, вы меня все равно что утопите. Мое положение безвыходное.

— Все понятно, товарищ. Собственно, и говорить-то не о чем, — голос председателя звучал все так же сухо.— Кто еще желает слова?

Елочка только хотела сказать «я», как увидела, что поднялась фигура завхоза с его плоской физиономией.

— Товарищи, разрешите мне!

Леля смотрела на него, как кролик на гремучую змею. Елочка, стиснув зубы, уставилась в пол.

— Товарищи! Я, так сказать, ошарашен тою наглостью, с которой предатели продолжают свою работу. Ведь это все тот же клубок, который мы недавно распутывали. Мы полагали, что, удалив Муромцева и его ставленницу, покончили с ними одним ударом, а вот, оказывается, и не покончили. Кто, скажите на милость, этот рентгенолог? Бывший офицер, друг и приятель Муромцева, и эту вот самую гражданочку Нелидову принял по его просьбе — как же не вытащить внучку сенатора; а вот небось когда его попросили взять к себе в ученицы нашу выдвиженку-санитарку, нашел предлог отказать. Товарищи, мы должны сейчас выявить всю нашу пролетарскую бдительность.

И опять плелась и плелась паутина. Бдительности проявилось достаточно, чтобы спасти завоевания революции от такого матерого и опасного врага, как Леля.

Елочка сообразила, что после того, как прозвучала фамилия ее дяди, выступать ей — значило только еще ухудшить положение. И она, и докторша поняли еще и другое: рентгенолог оказывался под ударом... Старая еврейка наклонилась к Леле и шепнула:

— Немедленно берите обратно свое заявление.

Расходились молча: одни — гордые своей классовою сознательностью, другие — с угрюмым видом людей, потерявших зря два часа времени, третьи — подавленные.

Леля исчезла в одну минуту. Боясь скомпрометировать тех, кто ей сочувствовал, она даже не простилась с ними и мчалась почти бегом по темной улице. Около двух лет усилий пропали даром, но сквозь всю горечь неудачи просачивалось еще чувство, до боли сильное, завладевшее теперь всем ее существом. Странная вещь! Говоря перед этим собранием нечестивых о матери, именно в ту минуту, когда она произнесла «мама такая добрая и кроткая», она почувствовала, как внезапно, словно от укола шприцем, влилась в ее сердце болезненная нежность: усталое лицо Зинаиды Глебовны, ее худые щеки, покорный взгляд и всегда выбивающиеся из прически, преждевременно поседевшие, мягкие волосы — все это вдруг почувствовалось таким необычайно родным и дорогим! И вдруг на нее нашел страх: а что если мама умрет вот сейчас, без нее? Умрет прежде, чем она прибежит и бросится ей на шею, чтобы сказать, как дороги ей эти морщинки, улыбка и волосы, сказать, что все злое и дерзкое бунтует только на поверхности, как пена в шампанском, что мать дорога ей, бесконечно дорога! И, крестясь, она взбегала через ступеньку по грязной лестнице, ругая голодных кошек, разлетающихся по сторонам.

Зинаида Глебовна, усталым, механическим движением крутившая неизменные цветы в маленькой, почти пустой комнате, вскочила при виде вбегавшей дочери.

— Ну что, моя девочка? Что? Говори скорее!

Леля вместо ответа бросилась матери на шею и разрыдалась.

— Что с тобой, мой Стригунчик? Неужели опять отказ? Да что ж они хотят — чтобы мы с голоду умерли?

Леля, всхлипывая, стала рассказывать.

— «...папа и дедушка!» — безнадежно повторила за дочерью Зинаида Глебовна и присела на табурет, бессильно уронив руки.

— Мамочка! Не расстраивайся, родная! Я ведь тебя люблю, так люблю! Я знаю, что я дерзкая и бываю очень часто черствой. Это находит откуда-то на меня. Но ты мне дорога, очень, очень дорога! Если с тобой что-нибудь случится, я повешусь на этом крюке. Да, да — так и будет! Меня и неудача эта огорчила больше всего потому, что я предвидела твое отчаяние.

Зинаида Глебовна стала гладить волосы дочери.

— Знаю, знаю, Стригунчик! Ты у меня хорошая! — Она вдруг задумалась и спросила с грустной улыбкой: — Ты еще помнишь дедушку?

— Да, мама. Помню, как он приезжал к нам иногда прямо из дворца, в мундире. Я должна была делать реверанс. Помню, как дедушка баловал и меня, и Асю. Помню, как в Киеве во время бомбардировок он нарочно садился к окну, чтобы подать нам пример бесстрашия. И смерть помню в этом страшном поезде, и как большевик-машинист нарочно выбрасывал горючее, чтобы предать нас красным. Все помню. Дедушку положили на деревянную дверь, снятую с петель, и понесли на ней. Кто-то сказал: «Вот так мы погребаем последнего сенатора!»

Помню могилу на этой маленькой станции в степи. Я в тот день потеряла своего плюшевого котика в сапогах и плакала сразу и о нем и о дедушке.

Они помолчали.

— Там, под Симферополем, — проговорила, поднося руку ко лбу, Зинаида Глебовна, — море крестов, море... Там погребена вся русская слава. Лучше и нам было лечь там, чем остаться одним в этом государстве негодяев.

— Ах, мама! Ты говоришь чистейший вздор! Ну к чему эти патетические фразы? — с раздражением обрушилась Леля и тут же осеклась, больно оцарапавшись собственными коготками. Но Зинаида Глебовна уже слишком привыкла к капризному тону дочери.

— Ну, не буду, мой Стригунчик, не буду! Ты еще так молода. Я знаю, что тебе жить хочется. Что бы нам с тобой придумать? К кому обратиться? Я слышала, что академик Карпинский выручает очень многих из нашего круга, Горький тоже.

Но Леля упрямо тряхнула кудрями.

— Ну, нет! К Карпинскому мы пойдем, если нас из города погонят, а работу я должна получить сама. Я пойду по больницам с этой бумагой, я еще раз пойду на биржу... Я не сдамся так скоро! У меня работа будет — увидишь.

Глава девятнадцатая

— Бабушка! Мадам! Олег! Славчик просыпается! — вопила Ася, стоя у детской кроватки. Олег, уже собиравшийся уходить, бросался из передней обратно в спальню и спешно ловил и целовал розовую пяточку сына. Мадам вбегала из столовой в переднике, Наталья Павловна торопливо подымалась с постели и облачалась в старомодный капот, чтобы не пропустить захватывающую картину пробуждения и утреннего туалета ребенка. Славчик потягивался, закидывая ручки за голову и выпрямляя ножки; вот он приподымает животик, чтобы встать «мостиком», при этом весь сияет — этот плутишка отлично сознает, какую радость он доставляет окружающим своими гимнастическими упражнениями. Для Натальи Павловны пододвигали к кроватке ребенка стул, и она часто подолгу просиживала в глубокой задумчивости, созерцая крошечное личико правнука. Вспоминала ли она своих сыновей, искала ли сходство с родными чертами, старалась ли проникнуть в будущее ребенка... Лицо младенца было захватывающей книгой, над страницами которой задумывались поочередно все; оно было изменчиво, как облачко: вот слегка нахмурился лобик с пушинками, обозначающими будущие брови... не рассердился ли Агунюшка? Вот широко улыбнулся беззубый ротик, похожий на ротик рыбки, и вдруг просияло все личико, а глаза с голубоватыми белками засветились такой безыскусственной и светлой радостью, что лица окружающих людей не могут не расплыться в ответную улыбку. Улыбка так же неожиданно пропала, и углы ротика опустились; трогательная, беспомощная, растерянная гримаска и жалобное «увя» или «ля»; плач становится громче и в нем слышатся ноты отчаяния: молодой человек уже ни на что не надеется и махнул рукой на всю свою жизнь.

— Что с моим Агунюшкой? Он мокренький? Или хочет на ручки к маме?

— Ася, ты опять качаешь его? Ты избалуешь ребенка. Положи сейчас же.

— Нет, бабушка, не избалую. Я лучше всех знаю, что ему надо — он хочет, чтобы мама спела ему про котика-кота. Бабушка, смотри, смотри, он улыбается!

Вечером начинались пререкания с Лелей.

— Дай его теперь мне, Ася. Ты забываешь, что я крестная. Посмотрите, как ему идет нагрудник, который я принесла. Моя мама велела передать, что придет сегодня к ванночке, и, пожалуйста, Ася, уступи маме его и вытереть и одеть. Ты знаешь, как мама это любит.

Перед камином протянута веревка и на ней — неизменные пеленки, распашонки и чепчики; на рояле — погремушки. Шуман, Шопен и Шуберт забыты — Ася играет только колыбельные, подбирая «гуленьки» и «кота». Дождалась, что ее вызвали в педчасть и предупредили, что она в обязательном порядке должна сдать полугодовые экзамены. По этому поводу Леля злорадствовала совершенно открыто: «Ну, вот, теперь он будет мой! Теперь уж, хочешь не хочешь, а купать его и нянчить буду я!»

Вскоре после Рождества, вечером, Ася задержалась в музыкальной школе дольше обыкновенного, репетируя в зале «Лунную сонату», которую ей предстояло играть на концерте. Олегу пришлось прождать ее в вестибюле школы, возвращались они бегом, тревожась, что Славчик изголодался. В передней их встретила Леля, а из спальни в ту же минуту донесся нетерпеливый голодный крик ребенка. Скинув пальто и расстегивая блузку, Ася бросилась в спальню; Олег повесил пальто жены и, обернувшись на Лелю, увидел, что она стоит с опущенной головой, опираясь о стол.

— Олег Андреевич, мне необходимо переговорить с вами без свидетелей. Пожалуйста, после чая проводите меня домой, — как-то необычайно серьезно произнесла она.

— К вашим услугам, — проговорил он.

За чайным столом он незаметно наблюдал за ней. Она была очень серьезна, допила уже начатую чашку и поднялась, прощаясь. Он тотчас поднялся тоже.

— Я провожу вас, Леля, если вы разрешите. Там на углу какие-то пьяницы. Одной вам идти рискованно.

Они вышли на лестницу; задумчиво трогая перила, она спускалась с опущенной головой, не начиная разговора. Он шел за ней в настороженном ожидании.

Случайно мелькнуло подозрение: уж не хочет ли она объясниться? Тут же, мысленно пристыдившись, Дашков отогнал эту вздорную фантазию.

Леля остановилась на панели и, оглядываясь по сторонам, сказала:

— Возьмите меня, пожалуйста, под руку — я буду говорить очень тихо. Олег Андреевич, я провела сегодня все утро у следователя на Шпалерной.

Он взял ее под руку, пытаясь ничем не выдать своего волнения, но на лбу выступили холодные капли.

— Я до сих пор не могу прийти в себя. Я точно побывала в аду. И самое ужасное, что завтра к одиннадцати утра я снова пойду... должна идти... туда же... Я никому ничего не сказала; мама так издергана, а я все эти охи и ахи не выношу. Мы бы непременно поссорились, поэтому я промолчала, а между тем, ведь я могу оттуда не вернуться!

— Вы правильно сделали, Леля, что сообщили мне. Говорите дальше.

— Дело в том, что они... странно, как они решились на это... они осмелились... они... — она умолкла.

— Они предлагали вам стать осведомительницей, не так ли, Елена Львовна?

— А как вы догадались?

— Немного знаком с их методами! — усмехнулся он.

— Разговор был мучительный для меня, но в сущности мы толкли воду в ступе, — продолжала Леля. — Начал с того, что ему, мол, обо мне все известно, чтобы я не пробовала увиливать. Сказал: «Мы знаем даже, что вы играли в кошки-мышки с младшим сыном великого князя, «высочество» преподнес вам коробку на ваши именины в мраморном дворце, где полагалась квартира вашему отцу». Очевидно, наши соседи, не евреи, а Прасковья с мужем, мельком что-то слышали и сооб-

щили. Я ответила, что кроме моего происхождения, которое действительно всем известно, за мной нет ничего контрреволюционного.

— Молодец, Елена Львовна! Хорошо ответили. Что ж дальше?

— А дальше... дальше он начал подъезжать, я не сразу поняла... «Мне вас жаль... вы так молоды и нуждаетесь... я хочу вам помочь и предложить очень легкую работу, которая великолепно оплачивается... Никто не будет знать, что вы отныне наш агент. Обязанности ваши будут самые легкие, а вместе с тем вы не будете иметь нужды ни в чем, не будете дрожать за завтрашний день», — ну, и все в таком же роде... Я не решилась быть очень резкой и ответила, что не могу взяться за такое дело, потому что нигде не бываю и никого не вижу. Он сказал: «Вы будете бывать». Я сказала, что не умею притворяться. Тогда он сказал: «Мы вас проинструктируем, укажем вам несколько приемов, это вовсе не трудно».

— За кем же предлагали следить? Называли какие-нибудь фамилии? — спросил Олег.

— Персонально указали покамест только на Нину Александровну — когда я сказала, что нигде не бываю, он меня поправил: «Вы бываете ежедневно в доме у Бологовской».

— Чем же кончился весь разговор?

— Опять стал повторять, что ему жаль меня, и предложил подумать. Я ответила, что думать тут не над чем, стать агентом я не могу. Тогда он сказал: «Мне жаль вас, вы становитесь на опасный путь, мы можем вас запрятать очень далеко, разлучить вас с матерью. А впрочем, я надеюсь, что вы еще одумаетесь. Вы девушка умная и не захотите стать врагом самой себе. Завтра вы подойдете ко мне еще разок — я спущу вам пропуск к одиннадцати часам». Олег Андреевич, если бы вы могли представить, как мне страшно! — И она содрогнулась.

— Не отчаивайтесь, Елена Львовна! Такие угрозы не всегда приводятся в исполнение. Это просто их система — запугивать человека. Я был в таком положении и, однако же, несмотря на мой категорический отказ, до сих пор цел. Держитесь. Позволить затянуть себя в это болото — это хуже и ссылки и лагеря. Могу вас уверить. Не давайте им подметить в себе колебание или страх. В таких случаях чем категоричней ваш отказ — тем лучше. Знаю тоже по опыту.

— А что если он меня арестует? Мама с ума сойдет, если я вдруг исчезну!

— Могу обещать вам, Елена Львовна, что завтра же прямо со службы заеду к вам и, в случае несчастья, как только смогу поддержу Зинаиду Глебовну. И не я один — вы знаете, как мы все любим и уважаем вашу маму.

— Заключение... холодно, темно, страшно... а вдруг меня будут бить? А вдруг меня...

— Елена Львовна, почти наверно — вас не задержат. Ведь вам не предъявлено обвинения, пусть вздорного, а все-таки обвинения...

— Ну, что же? Сколько вы еще будете думать? Уже битых три часа мы с вами толкуем и все не можем столковаться. Отвечайте: согласны?

— Я уже вам ответила: предательницей я быть не могу!

— Как вы любите громкие, ничего не значащие слова, которых потом сами же пугаетесь. К чему наклеивать ярлыки! Каждую вещь можно рассмотреть с разных сторон. Возьмем пример: должно произойти нападение на мирный дом, где дети, женщины; вам случайно это становится известно — ведь вы сочтете же своим долгом сигнализировать милиции? Или другой пример: во время империалистической войны в России орудовали немецкие шпионы, в Германии — русские; обе стороны своих считали героями, чужих — подлецами. Что вы на это скажете?

— Это... это совсем другое! Это... за Родину!

— А у нас — за рабоче-крестьянское государство, первое и единственное в мире. Какая же разница?

— Большая, очень большая разница. Нет, не могу.

— Заладили одно и то же. Ну, не можете, так сидите здесь еще три часа, еще подумайте.

— Я больше не могу оставаться здесь, не могу. Я пришла к вам в одиннадцать, а сейчас четыре. Меня ждет мать, она будет беспокоиться, она не знает, где я.

— Вы что, смеетесь, гражданка? Какое нам дело до какой-то вашей матери? Для нас существуют лишь интересы государства. Сидите. Часа через три я приду, если успею. А то так завтра.

— Что вы? Как завтра? Разве можно не вернуться домой на ночь? Я не могу, уверяю вас, не могу! Отпустите меня, пожалуйста.

— Вы что же, не понимаете, где находитесь, гражданка? Тут ваши «пожалуйста» и «мамаша беспокоится» не помогут. Подпишите согласие сотрудничать — тогда будем говорить как добрые друзья, а не желаете — пеняйте на себя. Я рад помочь и вам и вашей матери, вы сами этому препятствуете.

— Но вы предлагаете мне подлость, я не могу пойти на это.

— Скажите, какая самоуверенность! Говорит, словно полноправная гражданка! Как будто мы не знаем, что вы за птичка: перепелочка недострелянная; ну, да ничего, дострелим! Видите эту бумагу? Это приказ о вашем аресте. Мне начальник давно велит вас задержать, но я вас жалею за молодость — все жду, что одумаетесь. Ну, а нет — дам ход приказу. Сколько мне еще с вами валандаться? Запрячу вас куда Макар телят не гонял — огепеу может все! Штрафной концлагерь! Под конвоем копать землю! Ходить будете под номером! Руки назад! А мать вашу в другой такой же! Поняли, наконец? Согласны теперь?

— Не знаю... не знаю... Боже мой, какая я несчастная!

— От вас зависит. Можете даже очень счастливой стать. Вы молодая, интересная, оденетесь, с нашими ребятами на вечера ходить будете, на курорт поедете, службу получите.— Он сладко улыбнулся.

— От вашей службы лучше повеситься.

— Будете работать по специальности. Я вам уже присмотрел место рентгенотехника.

— Место рентгенотехника? Да как же? Ничего не выйдет — меня даже на биржу не берут.

— Коли я говорю, значит, будет место. Никакой биржи нам не надо. Завтра же получите направление. Валяйте, подписывайтесь! Чего вы боитесь? Я вам самые легкие, безвредные обязательства подберу. Вынуждать показания у вас никто не собирается. Клеветать на людей вас не заставят. Вы можете десять раз прийти с известием, что ни за кем ничего не заметили. Нет так нет — только и всего. По рукам, что ли?

Лицо его сияло доброй улыбкой, будто он уговаривал ее пойти с ним в кино. Она молчала.

— Есть такое? Согласны? Опять молчите? Решайте, черт возьми! В лагерь или на работу? Ну?

Добрая улыбка спрыгнула с его лица, как лягушка. Леля закрыла лицо руками.

— Устраивайте на работу, согласна. С тем только, чтоб без вымогательства. И еще условие: за близкими своими я следить отказываюсь — предупреждаю. А впрочем, за ними заметить нечего. Я на работе только буду следить и если что замечу, сама приду и скажу, вы меня не вызывайте.

— Ладно, договоримся. Вы увидите сами, как с нами хорошо ра-

ботать, надо только начать. Еще как довольны будете! Мы вам конспиративную кличку придумаем, что-нибудь изящное, экзотическое... Гвоздика, или тубероза, или олеандра. Лучше всего гвоздика. Так вы и подписывать свои сообщения будете. До свидания, товарищ Гвоздика... чуть не сказал мадемуазель Гвоздика. И помните: никому ни слова, если не желаете попасть в лагерь.

Зинаида Глебовна уже больше полутора часов стояла на лестнице и, увидев наконец дочь, бросилась ей навстречу с тревожными восклицаниями.

— Оставь, мама, не расспрашивай, потом объясню. Я очень устала.

Она вошла в комнату и бросилась на постель. Зинаида Глебовна несколько минут постояла над ней.

— Девочка моя, скажи мне только... — робко начала она.

— Ах, мама, не расспрашивай! Ну, один раз в жизни не расспрашивай! Закрой меня, мне холодно.

Зинаида Глебовна укутала ее пледом и присела на край постели на кованом сундуке.

— У тебя не болит ли головка, Стригунчик?

— Да, да, болит, очень болит. Не разговаривай со мной, мама, не расспрашивай.

— Дорогая моя! Как могу я не расспрашивать? Ты вернулась измученная, на тебе лица нет, тебя не было шесть часов, и ты хочешь, чтобы я тебя не расспрашивала? Не сердись на свою маму... Скажи мне только, где ты была? Может быть, что-нибудь случилось? Может быть, тебя... мужчина...

Леля приподнялась.

— Я безжалостна к тебе, как всегда. Ничего такого, мама, не случилось, я — цела. А только... видишь ли... опять неудача: я ходила условиться в одну больницу... надеялась... прождала заведующего... и ничего не вышло. И вот от всего этого у меня голова разболелась.

Зинаида Глебовна перекрестилась.

— Ну, слава Богу, слава Богу, Стригунчик, что только это! Спи. А я пойду простирну твою блузку.

Она вышла было, но через несколько минут снова приоткрыла дверь.

— Что ты, мама?

— Еще не спишь, Стригунчик? Пришел Олег Андреевич: я сказала ему, что у тебя болит головка, но он просил все-таки передать тебе, что пришел.

Леля несколько минут молчала.

— Попроси его войти, мама, и оставь нас. Нам надо обсудить один план, это — сюрприз... попроси, мама.

Она села на кровати, поджав ноги и зябко кутаясь в плед.

Вошел Дашков.

— Олег Андреевич, я высидела у следователя шесть часов. Я держалась сколько могла. Я не хочу лукавить с вами: в конце концов, я не устояла. Он пригрозил мне штрафным концлагерем и разлукой с мамой. Я слишком была запугана и... согласилась сообщать... не о своих, о чужих, конечно. Согласилась только на словах, разумеется, я не погублю ни одного человека. Я хочу вас просить никому не говорить об этом и самому не смотреть на меня как на шпионку. Неужели мне надо доказывать, что я скорее умру, чем перескажу хотя бы одно слово Аси, ваше или Натальи Павловны! Надеюсь, вы во мне не сомневаетесь?

Он смотрел на нее, кусая губы.

— Олег Андреевич, вы презираете меня теперь?

— Нет, нет, Елена Львовна! У них в лапах устоять нелегко. Я только бесконечно вас жалею. Вы сейчас попали в очень трудное положение.

— А может быть, не так уж страшно? Я согласилась работать на очень определенных условиях: следить я буду только на службе...

— Как на службе?

— Ах, да! Я еще не сказала: он обещал мне место рентгенотехника, у меня будет работа в больнице, настоящая честная служба, только дают ее мне с условием, что я буду... буду сообщать. Но, поскольку мне обещано не вымогать показаний, я могу отвечать, что ни за кем ничего не заметила. А как-нибудь однажды, чтоб отвязаться, выберу когонибудь из их же среды, махрового партийца или гепеушника, и на него наплету — на такого, которому ничего за это не будет. Другого выхода у меня не было!

— Елена Львовна, вы все еще не поняли, с кем вы будете теперь иметь дело — для них не существует условий, вам снова и снова будут грозить все тем же концлагерем. Вы показали свою слабость, и теперь вас в покое уже не оставят, я ведь вас предупреждал! Они, конечно, будут требовать показаний о всех тех людях, с которыми вы встречаетесь. Из вас, как клешнями, будут вытягивать эти показания. Вас будут проверять, вам будут подкидывать разговоры... Знаете поговорку: «Коготок увяз — и всей птичке пропасть»?

— Птичке? Он тоже назвал меня птичкой, недострелянной перепелкой. «Дострелим», — сказал он.

— Бедное ты дитя! — произнес Олег с глубокой мягкостью в голосе и взял ее руку.

— Олег Андреевич, ведь вы верите, не правда ли, верите, что никогда ни вас, ни Асю... что я не способна на это... верите? Вы не будете остерегаться меня? Если я это замечу, я... я...

Он никогда не слышал таких нот в ее голосе, таких усталых, безнадежных, безрадостных...

— Я верю в чистоту ваших намерений, Леля. Верю, что вы всей душой постараетесь этого избежать, но... Чем дальше, тем будет труднее!

Зинаида Глебовна, которая вошла в комнату, положила конец этому разговору. Они простились.

— Стригунчик, ты с утра не ела, принести тебе супцу?

— Нет, мама, спасибо. Я устала, я так устала! Я, кажется, буду больна. Ночь такая длинная, длинная... Дай мне заснуть.

Глава двадцатая

— Товарищ Казаринов, у меня к вам дельце. Не войдете ли ко мне на минуту? — Вячеслав окликнул Олега, выходившего из комнаты Нины.

Молодые люди сели друг против друга.

— Какое же дело? Располагайте мной, Вячеслав. — И, видя, что юноша мнется, Олег прибавил: — Я не болтлив. Никому ничего не передам. И сам не имею привычки задавать вопросы.

Вячеслав сконфуженно пробормотал:

— Бегает сюда с вашей женой подружка...

И снова умолк, теребя свою всегда всклокоченную шевелюру.

— Совершенно верно, Леля Нелидова. Она и моя Ася — двоюродные сестры.

— Стало быть, и она из господ? Так я и подумал. Эх, жаль! Девушка очень уж располагающая, стройненькая, что твоя осинка, и кудрявая, и бойкости этой чрезмерной нет, вот как теперь у многих...

— Хотите, я познакомлю вас? — спросил Олег.

— Не то что познакомить... Мы с ней уже ровно бы и знакомы... А устройте вы мне, Казаринов, случай куда-нибудь с ней пойти... да поговорить... Выручите по-товарищески...

— С удовольствием, Вячеслав. Только для начала пойдем все вместе. На этих же днях я что-нибудь организую, как будто бы случайно. Можете положиться на меня. Незаметно и слово за вас замолвлю, а дальше уж от вас будет зависеть...

— А кто родители ее? — угрюмо спросил Вячеслав, размышлявший, по-видимому, над тем же, над чем вмиг задумался Дашков.

— Отец — адъютант высокой особы, дед — гвардейский полковник, другой дед — сенатор. Теперь бедствуют, разумеется, и она и мать,— прибавил Олег не без умысла.

— А что же такое?

Олег изложил коротко злоключения Лели, которую на другой же день после несчастного собрания отчислили вовсе, даже от стажерства.

— Да как же так получилось у них в месткоме? Уж не сводились ли какие личные счеты? Это ведь перегиб явный, — сказал Вячеслав.

— Перегиб! — жестко усмехнулся Олег. — Хорошее это у вас, у партийцев, словечко! Удобное! Им можно объяснить все: разорение хутора, истребление семьи, сровнённую с землей Иверскую, затравленных ученых — таких, как Платонов и Тарле. Жаль, что у Царского правительства не было в запасе такого словечка, — за счет перегиба ведь можно было бы отнести и «кровавое воскресенье» и Ленский расстрел! Перегиб — и все тут! Как вы полагаете, а?

Вячеслав был слегка озадачен и не нашелся, что сказать.

— Я все время разыскивал одну знакомую семью и только недавно напал на след, — желчно продолжал Олег. — Глава семьи, по вашим понятиям, преступник, не заслуживающий снисхождения, ибо он — редактор «Нового времени» и преподаватель великих князей, с ним не поцеремонились — расстрелян! Но вот семья... Старший сын — семеновский офицер, мой ровесник — расстрелян! Дочь провела год в заключении и в настоящее время выслана в Сибирь; младший сын от страха репрессий отрекся от родителей, «отмежевался», как принято это называть в коммунистической морали; а мать... ну, а мать после всего, что на нее обрушилось, бросилась из окошка полгода тому назад... разбилась намертво. Как вам кажется, не было ли здесь «перегиба»? Вымещать на семьях! Да это водилось только во времена Иоанна Грозного! Революционеры из «Народной воли» и даже сами большевики, работая в подполье, никогда не опасались за родителей и детей. А декабристы? Вы, конечно, слышали о декабрьском восстании — полки на площади столицы, Каховский стреляет в самого императора... Пять человек повешено. А ну-ка, если б такое восстание разразилось теперь? За никому не известное, недоказанное вредительство расстреливают пачками, что же было бы, если б события достигли размеров декабрьского бунта? Я со стороны матери потомок декабриста, и вот та репрессия, которую я с детства привык считать жестокой, кажется мне пустяшной, не стоящей внимания после всего, что мне пришлось видеть за последние годы. Концентрационные лагеря для жен ответственных работников — слыхали вы что-нибудь подобное в царской России? Ни одна из жен декабристов не была репрессирована. Я не удивлюсь, когда объявят военным преступником меня, и если в один прекрасный день военный трибунал вынесет смертный приговор князю Дашкову — активному белогвардейцу, — я найду его вполне заслуженным. Но, когда меня травят как Казаринова, который отбыл шесть с половиной лет лагеря за то только, что не выдал товарища, и когда я знаю, что в случае расправы со мной будут всячески преследовать и мучить до последнего вздоха мою жену и моего ребенка, — я не могу не думать, что ваш коммунизм — кровавое пятно в истории России. И вы уверяете при этом, что указываете путь к прогрессу и счастью, вы?!

Дашков умолк, спохватившись — слишком много эмоций он вложил в окончание свой речи.

— Очень здорово вы говорите, Казаринов. Слова у вас так и льются. И все-то во вред нашему строю! Опасный вы человек, как пораскинешь разумом! Террор не по вкусу вам? Лес рубят, щепки летят, товарищ Казаринов, а рубить-то его надо. Не устрой мы красного террора — не устоять Советской власти. Капиталисты и помещики всех стран рады нам наступить на горло, а внутри нашего Союза врагов и вредителей — не пересчитать! Вы, поди, лучше меня их знаете. Кому неохота от своих привилегий отказываться — мы тому как бельмо на глазу. Моего прадеда помещик в карты проиграл. Меня небось не проиграют. Я учусь, работаю, никому кланяться не обязан. Трудные бытовые условия? Ну, что ж! Мы этого не боимся, пусть трудные! Сейчас переломный период: трудности возникают из-за крестьянского саботажа. Идея колхозных хозяйств — одна из величайших идей в мире! Вот победит колхозный строй, и увидите, как расцветет наш Союз! А сейчас — период становления. Деревня ропщет потому, что не понимают люди сложности момента, не видят дальше своего носа. А спросите-ка их: хотят ли они возвращенья царского режима? Пусть им вернут белые булки, возы муки, капусты и гороха и ведра яблок, даже приусадебные участки втрое больше теперешних, — и все равно не захотят.

— Ну, это еще неизвестно! Посулите им, что у них будут свои собственные поля, и захотят. Во время гражданской войны крестьянская масса присоединилась к вам после лозунга «Земля — крестьянам!». Это решило вашу победу, а теперь вы у них эту землю отнимаете под совхозы и колхозы.

— Нет, не отнимаем. Мы проводим переустройство деревни, ломаем старые формы. Борьба за ликвидацию мелких собственников рушит уклад жизни, сложившийся веками, но мы, коммунисты, трудностей не боимся. Будущее — за нами. Вот переустроим деревню — легче будет; закончим первую пятилетку, а потом вторую — еще легче! Наши лозунги привлекают внимание. Будь наша программа нежизненна, мы бы не победили! Ведь наша молодая республика устояла едва ли не против всей Европы. Мы вышли победителями из гражданской войны, а потом из разрухи. Теперь вот ГЭС и Беломорканал построили, а сколько еще построим! За деревню взялись... Когда я про это думаю, я словно слышу, как земля дышит. Во мне этак растет, да, растет желание трудиться! Я знаю, что со мной миллионы других вот так же... Эх, говорить-то я не умею!

— Умеете, Вячеслав, потому что говорите искренно! Только я вот что-то не верю, что с вашим сердцем бьются в унисон миллионы других сердец. Если бы много было таких, как вы, — искренно и бескорыстно преданных идее, — не было бы всей этой мерзости, которая мутит мне сердце. Я понимаю, что в самом принципе аристократизма есть нечто возмутительное, несправедливое в самом корне: небольшая часть общества оттачивает, утончает и облагораживает свои чувства и свой мозг в то время, как вся масса поглощена борьбой за существование. Но ведь положение, при котором возможно было это различие, уже отмирало, дворянство разорялось, оно уже потеряло свои привилегии. Еще две-три либеральные реформы — и с этим порядком было бы навсегда покончено. А те реки крови, в которых вы пожелали утопить людей, вместо того чтобы разумно использовать их, привели только к тому, что вы почти истребили интеллигенцию, во всяком случае, потомственную, наиболее рафинированную. Попробуйте обойтись без нее! У вас уже теперь не хватает «кадров», а чем дальше, тем будет хуже. Вам грозит полный застой мысли. Культура воспитывается поколениями, вы разрушили то, что создавалось веками!

Вячеслав взглянул на него загоревшимся взглядом.

— Как вы метко про аристократизм сказали! Я именно это думал, только определить не мог. Да, да! Само благородство возмутительно и ненавистно, как растение паразитическое!

Олег нахмурился:

— Рад, что помог вам уясинить вашу мысль, Вячеслав. Но мы, по-видимому, не убедим друг друга. Заключения наши как раз обратные. Вячеслав, выслушайте! Ни я, ни другие, подобные мне, «бывшие» никогда не были и не будем «вредителями». Мы можем быть врагами в бою, мы можем влиять идейно, но на службе, там, где нам доверяют, где нам за нашу работу платят деньги, — мы работаем не за страх, а за совесть. Вредительские процессы, за очень редким исключением,— клевета с целью найти оправдание своим неудачам. Лично я ни одного вредителя не встречал и не знаю. Ну, а теперь мне пора.

Он встал и взял фуражку. Изящество этого жеста и этих тонких узких рук бросилось в глаза Вячеславу.

— Вон руки-то у вас и по сю пору еще холеные. Труд-то, видать, не больно вам знаком, — сказал он жестче, чем, может быть, хотел.

Олег быстро и зорко скользнул по нему взглядом.

— Шесть с половиной лет тяжелых каторжных работ, да и теперь дома я всегда сам заготавливаю дрова для печек. Если руки кажутся холеными, то потому только, что я с детства приучен заботиться, чтобы они имели приличный вид. Это может сделать каждый, я полагаю.

В коридоре они натолкнулись на Аннушку, которая, стучась к Нине, говорила:

— Выдь к ней, Лександровна. Не знаю, кто такая. Спрашивает тебя али Мику.

Молодые люди вышли в кухню. Там, на подоконнике, на фоне серой глухой стены противоположного дома, сидела незнакомая женщина лет сорока. Олег принял ее сначала за дворничиху или сторожиху — она была в ватнике и в платке; но почти тотчас ему бросилось в глаза благородство того наклона головы, которым она ответила на слова Аннушки «Нина Александровна сейчас выйдут».

Олег и Вячеслав уже подходили к двери, когда услышали позади себя восклицание Нины: «Ольга Никитична!»

Женщина порывисто поднялась навстречу Нине.

— Извините, что я позволила себе прийти к вам, хотя я только сегодня *оттуда*. Я хочу узнать о детях. Меня выпустили на один день. С вечерним поездом я должна уехать в Караганду, а моя комната на замке. Бога ради, где Мэри и Петя? Неужели высланы?

— Нет, нет! Мэри здесь. Мика ее видит. Она в каком-то общежитии. Мика скоро придет и скажет вам адрес, — мямлила Нина, будто можно было до бесконечности тянуть тот миг, когда придется сообщить о смерти сына этой женщины.

— А сын? А Петя?

На лестнице, уже спустившись на несколько ступенек, Олег с пытливым взглядом обернулся на Вячеслава, закрывавшего за ним дверь:

— Ну, что вы думаете об этой сцене? Не кажется ли вам, что здесь опять «перегибчик»?

Дома он нашел всех в радостном оживлении: только что прибежала Леля с известием, что получила службу. Выслушивая радостные поздравления Натальи Павловны и мадам, Олег оставался «при особом мнении». Длинные светлые лучи, заструившиеся из глаз Аси, почти тотчас сменились выражением тревоги, встретив тень в карих глазах подруги.

— Ты еще не совсем поправилась, Леля? — тревожно спросила Ася.

— Нет, я здорова.

— Отчего же ты не радуешься?

— Я радуюсь.

— Нет, Леля. Я вижу, что нет. Тетя Зина то же самое скажет.

— Не забывай, что я неделю с температурой лежала. Я очень ослабела. И потом, меня все-таки волнует, что больница тюремная. Решетка, пропуска... При уходе с работы нас в любой день могут подвергнуть

обыску, а в канцелярии с меня, как с вновь поступившей, взяли подписку, что никаких сведений о здоровье и других изустных поручений я от больных принимать не буду. Еще предупредили, что больные часто просят взять от них письмо и опустить в почтовый ящик. Этого тоже делать нельзя.

Олег, взявший газету, оторвался на минуту от чтения и сказал:

— Имейте в виду, Елена Львовна, что вас непременно будут проверять. Увидите, в один из первых же дней вас кто-нибудь попросит опустить письмо. Не соглашайтесь — это будет провокатор.

— Провокатор? Среди заключенных?

— Ну, разумеется! Чему вы удивляетесь? За сокращение срока или дополнительную порцию к обеду очень многие охотно берут на себя такую обязанность. В тюрьме ведь не только политические, а добрая треть уголовного элемента.

Она растерянно и со страхом взглянула на него.

Через несколько дней после того, как Лелю зачислили в штат, Олег позвал ее и Асю в порт на устраиваемый там по какому-то случаю вечер. В зале к ним подошел приглашенный Олегом Вячеслав. Рыжий вигоневый свитер до ушей и накинутый поверх измятый пиджачок напомнили Леле «товарища Васильева».

Когда по окончании вечера вышли из здания, Олег взял под руку жену и предоставил Лелю заботам Вячеслава.

— Ну, как идет работа, Елена Львовна? — спросил Вячеслав, забирая девушку под руку. — Слышал я, место получили? Спервоначалу трудновато вам, поди? Ну, да ничего, приобвыкнете. Поспеваете справляться или затирает?

— Ничего, справляюсь, поспеваю, — нехотя отвечала Леля.

— Врач-то хорош с вами? Не зазнается? — словно не замечая односложности ее ответов, продолжал спрашивать Коноплянников боевитым тоном. — Гляжу, много еще в этих самых врачах старой закваски, все еще они себя господами считают, любят над средним персоналом покуражиться. Вы им спуску-то не давайте, чуть что — в местком.

— На врача не жалуюсь, трудности не в том, — сказала Леля, — я аппаратуру плохо знаю. Ведь я работала до сих пор с аппаратом только одной системы и могу стать в тупик даже перед перегоревшей пробкой.

Мало-помалу разговор пошел оживленнее. Вячеслав почувствовал себя увереннее и перестал говорить, как кучер, ухаживающий за кухаркой. Леля тоже перестала стесняться его; прощаясь, улыбнулась приветливо.

Через несколько дней были именины Нины, которые праздновались очень скромно в кругу семьи. Когда все уже сидели за ужином и Нина включила электрический чайник, неожиданно произошло короткое замыкание. Олег вышел в кухню, чтобы переменить пробки, и увидел там Вячеслава, который сказал ему:

— Давайте-ка сюда Елену Львовну, Казаринов. Я покажу ей, как пробки переменять. Она перед ними в тупик встает.

И при колеблющемся свете сальной свечки Олег разглядел сконфуженную улыбку юноши. Он вызвал из-за стола Лелю и предоставил Вячеславу принести ей табурет и взгромоздиться с ней рядом.

— А ну, влезайте-ка, товарищ рентгенотехник, мы вам сейчас будем квалификацию повышать.

Олег заметил, что он был первый раз в галстуке, завязанном безобразно.

Коноплянников продолжал ухаживать за Лелей. Она к этому времени уже перестала общаться с элегантно-пышными кутилами из армяно-еврейской мафии — сей деловой «свет», швыряющий в ресторанах направо-налево советские деньги, попал в сферу внимания карательных органов; напуганные несколькими арестами, нувориши спрятали в норах

свои веселые мордочки. К тому же и Ревекка, и ее друзья с их пошловатыми ужимками уже перестали забавлять Лелю.

Наконец наступил день, когда Вячеслав решился на объяснение.

— Вот что я хотел вам сказать, Леля, в прошлый раз еще думал сказать, да прособирался... не так оно просто! Но, потому как я не трус и прятаться не привык, лучше скажу теперь все: ни одна девушка мне еще никогда так не нравилась. Вы у меня все сердце обеими руками взяли. Я ведь отлично вижу, что мы с вами разного круга, знаю, что во мне этого вашего дворянского воспитания нет. А только вы не думайте, что это самое что ни на есть важное — теперь с одними дворянскими ухватками далеко не уйдешь. Вот я смотрю, вы — как челночок, с цепи сорвавшийся: несет вас куда попало, того и гляди прибьет к чужому берегу. А я человек с установкой, меня не сбить, я иду с жизнью в ногу, у меня хватка есть, а это теперь всего нужнее. Коли бы мы с вами столковались теперь жить вместе, так равно, как вы мне, так и я вам во многом бы пригодился. Уж как бы я вас берег и любил, мою кукушечку ненаглядную! Никому бы не дал в обиду, а тем временем и сам бы у вас кое-чему понаучился. И так бы складно у нас все было! Мы вон с Олегом Андреевичем почти приятелями сделались. Нина Александровна тоже со мной хороша. Я так думаю, что никто из ваших сродственников особенно и против-то не был, кроме, может, вашей мамаши да старой генеральши в черной вуали... Ну, да ведь не им жить, а вам. Со мной вы сможете быть счастливой. Очень я вас полюбил и всеми бы силами во всем для вас старался! Мне верить можно.

Девушка молчала, взволнованная и смущенная. Это было первое в ее жизни предложение. В голосе Вячеслава не мелькнуло ни единой фальшивой ноты, ему можно было верить, и это действительно стало бы выходом из запутанного положения... Но все время сравнивать мужа Аси со своим... Об этом даже секунду нельзя всерьез подумать. Какой удар был бы для мамы!

В церковь он, конечно, не пойдет, ограничится загсом. На свадьбу придут его товарищи, напьются, будут мычать о счастливом коммунистическом завтра...

Вячеслав дотронулся рукой до ее плеча. Она посмотрела в его глаза. Нечто напряженное и чудесное было в его взгляде, и Леле самой было больно вымолвить:

— Спасибо вам, Вячеслав. Я очень тронута. Мне жаль вас огорчать, но... я вас не люблю, не обижайтесь на меня.

Работа в рентгеновском кабинете больницы понемногу налаживалась. Скоро Леля вошла во все ее детали, и сосущая, мучительная тревога, сопутствовавшая ей каждое утро по дороге на службу, стала понемногу затихать.

Обещанной Олегом провокации пока не случилось. Зато в одно утро в кабинет на носилках принесли больную женщину в тяжелом состоянии. Лицо ее, почти восковое, показалось Леле очень одухотворенным. Она быстро взглянула в правый верхний угол «истории болезни», где ставилась статья, и увидела роковую цифру — 58.

Помогая ставить за экран шатающуюся от слабости больную, Леля незаметно быстро пожала ей руку. Через несколько минут рентгенолога отозвали из кабинета к главному врачу, а санитарка, посланная за результатами анализов, еще не вернулась. Леля осталась на минуту одна с больной.

— Сестрица! — заговорила та, озираясь. — Я вижу, вы интеллигентный человек и сердце у вас еще не очерствело. Пожалейте меня, дорогая: у меня во время обыска отобрали и, очевидно, уничтожили мои стихи, за них и приклеили мне пятьдесят восьмую. Я кое-что восстановила по памяти уже здесь, в больнице. Возьмите из-под подушки тетрадь — я

все жду случая, с собой таскаю. Тяжело умирать, зная, что все погибнет. Сберегите до лучших дней!

Сколько ни говорила себе Леля, что следует быть осторожней, этот разбитый голос и это лицо настолько ее взволновали, что она тотчас схватила тетрадку и, юркнув в проявительную, спрятала ее в ящик со светочувствительными пленками. Ящик этот был исключительно в ее ведении: открывать его можно было только в темноте, ориентируясь в нем ощупью, санитарка не имела права его касаться, врач сюда не заглядывал. Ей удалось потом благополучно вынести тетрадь на груди под джемпером; мысли о провокации она не допускала, но возможность случайной проверки заставляла тревожно замирать сердце. Дома и у Натальи Павловны она, разумеется, рассказала все. Наградой за перенесенный страх было для нее то, что Олег пожал ей руку, говоря:

— Я знал, что вам будет тяжело в этой обстановке. Будьте очень осторожны, Елена Львовна.

Слова эти растопили тот тонкий ледок, который установился было между ними.

Глава двадцать первая

«От юности моея мнози борят мя страсти. Но Сам мя заступи и спаси Спасе мой!» — пели в маленькой церкви бывшего монашеского подворья, где не было уже ни одного монаха. Мика стоял в конце храма, в полутемном углу около колонны.

Тонкий девичий голос Мэри зазвенел речитативом, придерживаясь одной ноты: «Глас шестый. Подобен: о, преславная чудесех...»

Хор подхватил печальный протяжный напев.

Как только Всенощная стала подходить к концу, Мика начал пробираться вперед и увидел в самом темном углу маленькую сухощавую фигурку инока. Это был высланный из Одессы в Ленинградскую область епископ, который под воскресенье приезжал потихоньку в храм. В области уже не оставалось церквей. Он попал из тюрьмы в ссылку, и одному Богу было известно, где и на что живет этот неизвестный мученик. Огепеу настрого запретило ему служить, но Братский хор всякий раз из своеобразного церковного этикета пел «испола эти дэспота», как только замечали в углу храма худощавую фигуру старика в черной монашеской скуфье.

Мика нашел Мэри на полутемном клиросе. Она складывала ноты и Часослов. Когда они вышли вместе на паперть, ветер, морщивший лужи среди талого снега в церковном саду, бросился играть косынкой Мэри.

— Хочешь пройтись пешком — поговорим? — спросил Мика, подхватывая конец косынки.

— Хочу, только мне опоздать нельзя: я подаю ужин и читаю в трапезной, — ответила она.

— Счастливая ты, Мэри! У тебя нет домашних будней, твои хозяйственные заботы — послушание, как в монастыре. А у меня!.. Нина требует, чтоб я окончил школу, а что такое эта гнусная теперешняя бумажонка о среднем образовании? У нас половина класса полуграмотные, серенькие. И они пойдут в вуз. Мне-то туда все равно хода нет — дворянин товарищ.

— Будней у каждого довольно, Мика! Это так кажется со стороны, при беглом взгляде, что там, где нет нас, и этих будней нет. Уверяю тебя, они за каждым плетутся в разном виде. Я попала в очень трудное положение, Мика. У нас в общежитии все служат, кроме меня, и по своей карточке, как лишенка, я не получаю ни сахару, ни масла. Сестра Мария поручила мне все хозяйство и ставит дело так, что я такой же полноправный член общины, как и все, раз я достойно несу свои обязанности по дому. Средства считаются общими, и все-таки я

всегда остро чувствую, что не имею своей копейки. Я ни о чем не смею сказать: вот подошвы у меня совсем дырявые, перчаток нет, маме нужно послать хоть сколько-нибудь... мама без работы и живет в углу... но разве я посмею заикнуться об этом? Такая мелочь, как шпильки себе в волосы и кусочек мыла в баню, — ведь и это надо купить, а мне не на что. Если бы ты знал, как я стараюсь быть полезной: я выстаиваю огромные очереди за картошкой и за керосином, я режу овощи, мою котлы и посуду, я почти не выхожу из кухни. Иногда я начинаю думать, что скоро забуду все, чему выучилась, и отупею. Кончить школу и попасть в прислуги! Это недостойные мысли — я знаю. Я не ропщу, во мне очень тяжело. Я часто просыпаюсь утром с чувством тоски за то, какой мне предстоит день. С мамой я на богослужение шла как на праздник, а теперь я уже устала от служб, часто я с тоской жду их окончания. И ноги, и голос — все устало. Мне тяжело подыматься к ранней. Вот Катя и Женя могут сказать: я сегодня останусь дома; а я не смею — надо читать, надо петь, значит — иду. На днях, утром, мне очень нездоровилось, я охрипла.

— Ну что ты, Мэри! Ты же обычно такая мужественная! — пробормотал кое-как Мика.

— Я знаю, что это — слабость, но я ведь только с тобой могу говорить. Знаешь, я не очень высокого мнения о наших общежитских сестрах. Есть в них что-то мещанское — мелкие счеты, преувеличенный интерес к еде... А я с моим характером всегда готова вспылить, если мне что-нибудь не нравится. Сестра Мария одна сдерживает нас всех своим благородством. Без нее я здесь не останусь ни одного дня, я уже решила. Здесь тотчас все развалится, распри начнутся...

— Ну, это еще неизвестно, что будет. Не допустим, чтоб развалилось. А к Ольге Никитичне ты уехать не хочешь?

— А наша жилплощадь? Ведь мы тогда навсегда потеряем ее. Пока я здесь прописана, еще есть какая-то надежда, что мама и папа вернутся сюда. А если я уеду — кончено! Комнату по теперешним порядкам у нас отберут, и тогда всю жизнь скитаться по чужим углам. Мама ни за что не хочет, чтоб так случилось. На меня уже раз соседка донесла, что я не живу и не отапливаю. Удалось кое-как замять, но мне необходимо появляться на нашей квартире хотя бы раза два в неделю. В тот день, когда мамочку выпустили, у нее было только двенадцать часов на сборы; пока она нашла меня, еще меньше осталось. К тому же она только что узнала про Петю, сам понимаешь, в каком она была состоянии. Когда мы пришли с ней на нашу квартиру, мы не могли говорить о делах, а проплакали почти до вечера. Собиралась мама наспех за двадцать минут. Она спрашивала меня, почему я оказалась на Конной, и я должна была рассказать о слесаре и как ты предостерег меня. Мама очень жалела, что сама не может тебя поблагодарить, а меня заставила дать ей слово, что я останусь у сестры Марии, пока ее и папы нет. Но из-за этого доноса приходится бегать домой. Стараюсь делать это днем, топлю печь и шумлю побольше, чтобы старуха слышала, а убегаю потихоньку — пусть думает, что я спать легла. И все-таки все время боюсь нового доноса.

Они уже стояли на лестнице, и, говоря это, она поворачивала ключ. Сестра Мария усадила Мику ужинать: общая трапеза в строгом молчании, при чтении житий святых, постные блюда. Читала Мэри, и читала стоя; он несколько раз вспоминал, что она устала, с тревогой смотрел на сосредоточенное лицо, освещенное маленькой свечечкой, прилепленной к аналою. После всех, в уже опустевшей трапезной, села есть она сама и указала ему на табурет около себя.

— Я тебе не успела рассказать еще о папе, — начала она. — В последнее время он получил разрешение выходить за зону оцепления — это нужно по роду его работы. Ему выдали пропуск на право свободного хождения, ну, а там, в поселке за зоной, живет одна наша знакомая, которая была в том же лагере и кончила срок. Деваться ей некуда, и она осталась пока там. Папа иногда заходит к ней между работой. Она поит его чаем и дает читать газеты. Об этом по почте, конечно, нельзя было писать, но эта дама приезжала сюда и пришла ко мне с письмом от папы. Хорошо, что тогда только что продался буфет и я могла отдать ей всю выручку, чтобы она покупала папе что-нибудь из еды и витаминов. У папочки цинга. Мы сговорились, что я к ней приеду, чтобы потихоньку повидать папу, но денег нет.

Мэри остановилась, и щеки ее порозовели. Мика взял ее руку:

— Надо раздобыть. Я тебе помогу, надо опять снести что-нибудь в комиссионный. Я тоже могу продать свои книги или коньки, я не мальчик, чтобы забавляться. А вот эти десять рублей пусть будут тебе на мелочи.

— Мика, нет, нет! Я не возьму. Это нельзя.

— Если ты не возьмешь — мы не друзья и больше я никогда не приду к тебе. Ты отлично знаешь, как я глубоко уважаю твою мать, вообще — вашу семью... Мы с тобой встретились на пути ко Христу... мы — будущие иноки... между нами не должно быть... этикета.

— Я не знаю, буду ли я инокиней, Мика. У меня это еще не решено. Жаль, что мы с тобой не можем стать студентами богословского института — вот где мы пригодились бы! А иночество... Я люблю монастыри: тихие кельи, птицы, «стоны-звоны-перезвоны, стоны-звоны, вздохи, сны... стены вымазаны белым, мать-игуменья велела...» Люблю уставное пение, старые книги с застежками, монашескую одежду, поклоны... А быть инокиней в миру... это уже совсем не то. Никакой поэзии.

— В десятом веке — лес и звери, в двадцатом — враждебные люди и шумный город. В наше время еще интересней, потому что опасней.

— Ты думаешь?

— Убежден.

— А ты уже решил принять иночество?

— Да. Но обетов еще не давал.

— Ты слышал, что мощи Александра Невского увезены из Лавры по приказу правительства и будут выставлены напоказ в Эрмитаже? У нас все были очень потрясены этим: сестра Мария даже плакала, и по всему храму шепот пробежал, когда это стало известно в церкви, за Всенощной.

Он нахмурился.

— Никакое кощунство не властно над святыней! Поруганные иконы засияют еще бо́льшим светом, а преследуемые люди очистятся в горниле страданий. Не огорчайся, Мэри, ни за мать, ни за отца, ни за нашу святыню, — и он положил свою руку на руку девушки. — Смотри, какая у тебя рука маленькая по сравнению с моей, мизинец совсем крошечный.

— Не смотри, пожалуйста, на мои руки. Это они черные от картофельной и морковной шелухи. Не отмываются.

— Пустяки. Ты похожа на монахиню в этой косынке. Может быть, нам с тобой уже не придется носить такую одежду. Но это не значит, что мы с тобой не будем настоящими иноками.

Мика продал за пятьдесят рублей свои коньки, понемногу еще раздобыл денег, и вскоре Мэри уезжала к отцу. Вместо чемодана она взяла сетчатую сумку, чтобы никто не заподозрил в ней приезжую — свидание с отцом должно было состояться нелегально. Еще кто-то посоветовал взять с собой жбанчик для керосина — лучший способ иметь на улице вид местной жительницы.

Мика поехал с Мэри на вокзал.

В его отсутствие к Нине пришла Марина Рабинович.

— Как я рада тебя видеть! Садись, Марина, я сегодня одна, выпей со мной чаю, — говорила Нина подруге.

Марина скинула с плеч отливавшую серебром чернобурку и села.

— А Мика где же? Опять в церкви? Всенощная должна бы уже кончиться.

— На этот раз не в церкви. Провожает на вокзале барышню,— улыбнулась Нина.

— Да что ты! Ну, значит, начинается! Расскажи-ка, расскажи!

— Да, собственно говоря, ничего еще не «начинается». Он по-прежнему воображает себя монахом.

— А что же означают эти проводы?

— А это очень трагическая история,— и Нина рассказала о семье Валуевых. Постепенно от Мики разговор перешел на другие темы.

— Нина, ты не должна жить в такой пустоте, без романа. Тебе непременно надо опять увлечься, иначе ты затоскуешь. Уже прошел год, довольно траура,— сказала Марина.

— Нет, романов у меня больше не будет. Да и что значит — «надо увлечься»? Это хорошо, когда приходит стихийно, подымается из глубины нашего существа, а искусственно насаженное — уже не то... Я очень тяжело пережила эту вторую потерю и свою вину.

— И все же, Ниночка! Ведь тебе еще только тридцать пять! Попробуй встряхнуться. Я тебя познакомлю с очень интересным человеком.

— Нет, дорогая, не хочу. В этот раз не выйдет. Не будем даже говорить. Рассказывай лучше о себе. Как здоровье Моисея Гершелевича?

Лицо Марины стало серьезно.

— Я очень боюсь, что у него рак. За этот месяц он потерял в весе пять килограммов. А теперь лечащий врач послал его на консультацию в онкологический. Завтра его будет осматривать сам Петров, и тогда все решится. Он страшно мнителен, как и все евреи, и теперь места себе не находит.

— Боже мой, какой ужас! Бедный Моисей Гершелевич! — воскликнула Нина.

— Скажи: бедная Марина! Если бы ты могла вообразить, как он меня изводит! Он стал ревнив и раздражителен чудовищно. Все не так, я во всем виновата, что бы я ни состряпала — ему все не по вкусу. Доктор велел есть фрукты, а ведь их достать теперь нелегко. Я по всему городу гоняюсь и всякий раз виновата, если не найду таких груш, как он хочет. Он стал теперь уставать, по вечерам выходить не хочет — сиди с ним! Сейчас уходила к тебе со скандалом. Недавно приревновал меня к сослуживцу, который поцеловал мне руку. Даже в кино одну не пускает.

— Ну, это так понятно! Он старше тебя, а ты красива, всегда везде пользовалась успехом. Понятно, что он неспокоен, особенно сейчас, когда ему тяжело равняться по тебе, притом он, конечно, видит твое равнодушие. Ему теперь многое можно извинить. Угроза рака! Ведь это пережить нелегко! Ты должна быть поласковей к нему это время.

— Ах, брось, пожалуйста! Ты всегда заступаешься. Сколько он попил моей крови — знаю я одна. То же самое и теперь: не хочет понять... каждый вечер ко мне в постель... А я не могу, пойми, Нина, не могу... он мне физически стал противен. Я молода, здорова... раковый не может не возбудить отвращения. Подумать не могу, что мне предстоит уход. Не смотри на меня с укором, лучше поставь себя на мое место и пойми.

— Нет, Марина, не понимаю! Когда погиб мой Дмитрий, как я тосковала, что не была рядом, не могла облегчить, ухаживать... Я бы все сделала. Я даже вообразить себе не могу брезгливости в этом случае.

— Сравнила! Дмитрий — молодой офицер, красавец, в которого ты была влюблена до потери сознания, а этот!

— Какая уж тут красота — перед смертью! Неужели ты не можешь из такта или из сострадания побороть, скрыть свое отвращение? От смерти не уйдешь, придет и твой час!

— У тебя всегда виновата я. Будь уверена, что, если б болел Олег, мое отношение было бы другое.

— Не знаю. Пожалуй, что не уверена. Вот Ася — в ее отношении я не сомневаюсь.

— Расскажи лучше про их ребенка, каков он?

— Ах, душонок! Ему сейчас десятый месяц, уже ходить пробует; здоровенький, розовый, ручки в перетяжках, реснички длинные, загнутые. Очаровательно хохочет, ко всем идет на руки, даже меня знает.

— Воображаю, как обожает его Олег!

— Его все обожают, бабушка и та глаз не сводит, а она особенной чувствительностью не отличается.

Марина взглянула на свои изящные часики.

— Ну, я с тобой прощаюсь: пора готовить фруктовые соки, а то опять будет сцена. Посмотри, как эти соки разъели мне пальцы.

— Потерпи. Это твоя обязанность. Мало разве Моисей Гершелевич баловал тебя? — сказала Нина сухо.

Уже в дверях, накидывая чернобурку, Марина вдруг сказала:

— Коли, не дай Бог, рак,— это конец! А я тогда опять в безвыходном положении.— Она взглянула на Нину и, не найдя себе сочувствия в ее лице, нерешительно продолжала: — Вот уже пять лет мы с Моисеем коротаем вместе, худо ли, хорошо ли... Он познакомился со мной еще при маме, во время нэпа, у наших соседей по новой коммунальной квартире. Помню, я стирала большую стирку, а был дивный майский вечер, светлый, золотой! Я стою босая над лоханью и думаю: это мне вместо прогулки верхом с офицером и лицеистами! Куда девалось наше счастье? Тут-то и подоспел Моисей. Он приехал за мной на автомобиле, приглашая кататься, и вытащил прямо из прачечной! В прежнее бы время ему, конечно, не видать меня как своих ушей. Но, клянусь тебе, изменять ему у меня тогда и в мыслях не было. Это пришло после... Разве я могла предугадать?

— После... «парк огромный Царского Села, где тебе тревога путь пересекла»! — процитировала Нина любимую поэтессу.

Глава двадцать вторая

ДНЕВНИК ЕЛОЧКИ

24 июня. Наша музыкальная школа реорганизуется: она превращается в техникум, программа повышается, вводятся зачетные книжки и прочие формальности. В связи с этим учащиеся, не удовлетворяющие по способностям новым требованиям, исключаются, и я в том числе. Фамилия Аси висит в списке переведенных на старший курс, очевидно, через год будет оканчивать. А мне и в самом деле давно пора поставить крест на моих занятиях музыкой.

25 июня. С тех пор, как Лелю Нелидову изгнали из больницы, я не знаю, что делается у Олега и Аси и все ли благополучно. Часто ходить стесняюсь, и радости мне от этого немного, а вместе с тем — постоянно беспокоюсь. Когда в последний раз я была у них, Ася собиралась с ребенком в деревню, опять в те же Хвошни. А сейчас уже около месяца не имею сведений.

26 июня. Вчера я встретила на улице одну знакомую, которая вращается в среде писателей, и узнала от нее, что поэт Мандельштам выслан в живет на окраине Воронежа в деревенской избе, в углу с тараканами, почти впроголодь. Ходят слухи, что Сталин сказал о нем: «Убрать, но не уничтожать». Какой цинизм: о поэте, как о насекомом! И до того дошло уже раболепство перед восточным тираном, что даже те, которые шепчутся об этом, упирают на то, что товарищ Сталин все-

таки сказал «не уничтожать», отыскивая признаки гуманности! Николаю Первому ставят в вину, что он не сумел предотвратить дуэли Пушкина, Александру Первому — что удалил поэта в Михайловское, но в своем поместье Пушкин скакал верхом, играл на бильярде, рылся в своей библиотеке и принимал друзей. С Мандельштамом похуже, но это как будто никого не возмущает. Есенин кончил самоубийством, Гумилев расстрелян за контрреволюцию, Блок, смертельно тоскуя, больным вырывается из пинских болот и голодает, Мандельштам голодает в ссылке — вот судьба лучших, наиболее талантливых и замечательных поэтов под опекой советской власти. Вот как бережет она русскую славу! В литературных кругах о Мандельштаме говорят: «Со своей волчицею голодной выходит на дорогу волк», — подразумевая его и его верную Надю. Циники!

27 июня. Сегодня ко мне зашла та студентка, которая живет в квартире у Юлии Ивановны и которая рассказывала про поезд, полный детей. Разговор с ней и на этот раз вышел очень интересен. Студентка эта, Люба, училась в Институте истории искусств, который не так давно закрыли, заявив в газетах, что он представляет собою вредный рассадник формалистической школы и что с кафедр его льется «зеленый идеализм», а студенческая среда в большинстве своем состоит из «бывшей аристократической молодежи», которая, «сбавив свой гонор», хлынула в этот институт как в единственное место, где несколько ослаблен классовый подход при приеме. Произошло это потому, что институт вечерний, находится на самоснабжении и стипендий не предоставляет. Люба показывала мне газету, поэтому некоторые выражения я привела буквально. В постановлении о закрытии было объявлено, что пролетарская часть студенчества будет переведена на соответствующий курс университета; Люба училась на третьем и была одной из самых успевающих студенток, много времени отдавала пресловутой «общественной работе», а по происхождению она дочь крестьянина. Казалось бы, удовлетворяет всем требованиям и может не страшиться за себя. И однако же Люба эта была исключена из списков переведенных в университет! Какое же объяснение она получила? Оказалось, некто Крумчицкий доказал, что она пренебрегает марксистскими методами и открыто ругает марксизм. Никого из дворянской русской молодежи в университет не перевели — только евреек, одну армянку и студентов из пролетариата, которые в своем большинстве не успевают или успевают слабо. Среди оставшихся за бортом — внучка композитора Римского-Корсакова, в вину ей тоже поставлено «происхождение». О несчастьях этой семьи я слышу уже не в первый раз — одна из бесчисленных позорных страниц советской действительности!

29 июня. Сегодня Ася приехала в город на один день и забежала ко мне пригласить меня провести у нее в Хвошнях мой отпуск, который начнется через два дня. Говорит, что целый день одна с ребенком, Олег приезжает только по субботам — он теперь в роли чеховского дачного мужа. Леля Нелидова наконец получила службу и за все время приезжала только один раз. Принять или не принять приглашение? С Асей приятно, в ней совсем нет пошлости и деликатна она исключительно. Места для прогулок там, кажется, замечательные — это бывший великокняжеский заповедник, и Ася уверяет, что лоси подходят к самой деревне. Когда я спросила Асю, куда я буду деваться по субботам, она стала уверять, что Олег ночует всегда на сеновале. Поеду, пожалуй... только бы ребенок не надоедал, детский плач — ужасная скука, а умиление и восхищение родителей — еще скучнее!

30 июня. Вчера в нашей больнице разыгрался любопытный инцидент. Есть у нас одна старая сестра милосердия, по образованию она фельдшерица, притом бывшая революционерка, подпольщица, сидела в царских тюрьмах и однако же ярая противница советского строя. Я слышала раз, как она заявила во всеуслышание: «Мы ведь теперь

не в царской России, где могли свободно переезжать из города в город, теперь мы, как рабы, прикреплены к нескольким метрам нашей жилплощади». Другой раз я слышала, как она говорила одному из тех наспех испеченных дрянных врачишек, которых не выносил дядя Владимир Иванович: «Вы вот советский врач, а по латыни двух слов грамотно написать не можете, я — фельдшерица царского времени — вас поправляю». В настоящее время сестра эта лежит с переломом голени. Она одинока, и позаботиться о ней некому. Несколько человек из нашего персонала сговорились купить для нее и снести ей на дом масла, яиц и сахару; я взяла на себя сбор денег и пошла с подписным листом. И что же? Когда в коридоре я столкнулась с Кадыром — нашим прекрасным предместкома, он позволил себе вырвать у меня лист. «Что? Сборы, пожертвования без ведома месткома! Да как вы смеете! Это контрреволюцией пахнет: вы этак что угодно провернуть можете! Запомните: мероприятия такого типа могут исходить только от месткома. Мне безразлично для кого — для кого бы ни было! К тому же товарищ Гилецкая настолько вызывающе держится, что не может считаться советским человеком. Прекратить немедленно!» Кстати, недавно товарищ Кадыр на операции забыл и зашил в ране хирургический инструмент, последствие — острейшие боли, нагноение и — повторная операция.

1 июля. Первый день отпуска! Собираюсь к Асе. Кроме одежды и книг приходится тащить с собой крупу и сахар, в деревне ничего нет. Ребенку купила целлулоидного попугая, Асе везу в подарок шарфик. Отдохнуть в тишине очень хочется. Гулять, очевидно, буду одна, Ася из-за своего бутуза далеко ходить не может, но я сидеть пришитой к дому не собираюсь.

Вечер. Только что забегала ко мне Леля Нелидова, принесла пирожки, которые ее мать испекла Асе, безделушку для Славчика и летний сатиновый костюмчик. Леля очень была хороша со своими стрижеными кудрями, но показалась мне утомленной и похудевшей. Я даже спросила ее, не больна ли она, но ответ был короткий и несколько небрежный, а в сущности малоудовлетворительный: «Немного не в порядке легкие, ну, да это скучная тема!»

4 июля. Уже третий день я в деревне. Место и в самом деле красивое: лес и река. У Аси чистенькая светелочка с двумя окнами, а в соседней светелке — тетушка Нины Александровны, старорежимная дама, весьма сварливого нрава, Ася, кажется, ее боится. Крестьянская семья не слишком симпатичная — патриархального духа я не заметила. Я довольно много гуляю одна. Надо отдать справедливость Асе — она не навязывает своего ребенка и не докучает мне восторгами. В первый день моего пребывания она, видя, что я собираюсь гулять, сказала было: «Возьмите и Славчика. Ты пойдешь топи-топи с тетей?» Но мое лицо, очевидно, не изобразило по этому поводу особой радости, как и лицо Славчика, — она тотчас изменила план действий и теперь постоянно останавливает ребенка: «Славчик, отойди, не мешай Елизавете Георгиевне. Славчик, нельзя так громко кричать — Елизавета Георгиевна читает».

Она так же мила теперь в роли молодой матери, как была мила девушкой, так же резва и легка, та же искренность. Редко, очень редко мелькнет в ней выражение озабоченности или тревоги, мелькнет, как облако, и снова она вся солнечная. Ребенка своего обожает, по-видимому, самым банальным образом и не тяготится тысячами скучнейших обязанностей: накормить с ложечки, посадить на горшочек, переменить штанишки, и прочими прелестями, которые, казалось, должны быть в тягость артистической натуре. Я спросила ее: «И так весь день? И не надоедает?» Она ответила: «Ведь я же его люблю! Сколько он мне приносит радостей: то новый зубок, то новое слово... каждый день но-

вый лепесток на этом чудесном цветке. С ним не может быть скучно!» — «А музыка?» — спросила я. Она ответила: «Музыка никуда от меня не уйдет — она во мне. В технике я сейчас, конечно, вперед не двигаюсь, но ведь я эстрадной пианисткой не собираюсь быть. — И прибавила, улыбаясь: — Внутри у каждого есть камертон, прислушиваясь к которому знаешь, что делать». Есть в Асе оттенки мне не совсем понятные, которые в первую минуту меня разочаровывают, чтобы вслед за этим способствовать еще новому очарованию. Вчера я слышала как она, убаюкивая ребенка, тонким, высоким голосом пела:

Долетают редко вести
К нашему крыльцу.
Подарили белый крестик
Твоему отцу.

5 июля. Вчера вечер был очень хорош, и мы с Асей долго сидели на воздухе. Ребенок уже спал. Я читала Анатоля Франса, она тоже что-то читала. Когда я спросила: что? — показала 140-ю кантату Баха. Я выразила удивление, что она читает ноты, как книгу. Она ответила: «Я мысленно слышу то, что пробегаю глазами. Это совсем не так уж трудно».

9 июля. Приезжал Олег и уже уехал; я провела с ним полтора дня! Я не пошла встречать его на станцию: Ася, собираясь туда, переодела свой любимый сарафан, переплела косы, собрала огромный букет ромашек и бутуза своего тоже переодела, чтобы тащить с собой на станцию. Видя такие приготовления, я решила не портить им встречу своим присутствием, ушла на опушку леса и, стараясь подавить свое волнение, ходила там взад и вперед. Когда, наконец, собравшись с духом, я направилась к дому, то столкнулась с ним еще у околицы: он шел с ведром к колодцу, а ребенок сидел у него на плечах, Ася бежала сзади и глаза у нее светились, как звезды. Я почувствовала себя совсем лишней! Вечер, однако, прошел хорошо и непринужденно: мы долго сидели в садике, и я не испытывала отчужденности. Утром была неприятная минута: я случайно услышала их разговор в сенях, где Ася стояла у керосинки. Он вошел и сказал: «Скорей целуй, пока мы одни». Наступила тишина, потом сказала она: «Довольно, пусти, видишь, кофей из-за тебя убежал». Зазвенела посуда, а потом сказал опять он: «Знаешь, я думал сегодня утром о Елизавете Георгиевне, она, безусловно, очень умна и исполнена удивительного благородства, но несколько суха. Обратила ты внимание, как она держится с ребенком?» Ася ответила: «Елочка детей не любит — вот и все!» Он сказал: «Она способна, может быть, на героизм, но если жизнь сложится так, что подвиг пройдет мимо, она засохнет, как колос на корню. И будет второй Надеждой Спиридоновной. К этому все данные!» Я отошла, чтобы не слушать далее...

Я—суха! Да, это, конечно, так. Моя неприязнь к ребенку никого не обманула. Они привыкли к восхищению и восторгам и, конечно, сразу заметили мою сдержанность. Ну и пусть! Не обязательный же это закон — умиляться на детей. Я — суха! Но разве же я всегда была такой? Разве моя вина, что я еще совсем юной встретила человека, после которого уже ни на кого не могла обратить свои взоры? Разве моя вина, что этот человек не полюбил меня и что я не стала, как Ася, молодой счастливой матерью? Впрочем, она недолго такой будет: если у нее каждый год будет по ребенку, увидим, что от нее останется через пять лет. Я — суха. Спасибо за меткое определение! Я ему это блестяще доказала, когда он лежал простреленный, не в силах пошевелиться. Суха!

10 июля. Вчера я расстроилась и недорассказала, ведь вечером я оказалась свидетельницей их ссоры. Я вошла, когда он говорил: «Где же все-таки халатик? Отвечай». Она, спотыкаясь на каждом слове, лепетала: «Мне он не нужен, пойми... Я его редко надевала... Мне гораздо больше доставит удовольствия дать Славчику яичко утром». «А, понимаю! Отдала за десяток яиц». «Ничего не за десяток, а за два десятка!» — «Так! И это, несмотря на мою просьбу! Елизавета Георгиевна, как вам это понравится — она отдала свой чудесный халат, подарок персидского хана ее отцу, за два десятка яиц и еще отпирается, лгать выучилась. Ася, неужели же тебе не стыдно лгать?» Я сказала, чтобы только сказать что-нибудь: «Ложь всегда безобразна». Она взглянула исподлобья на меня, потом на него, но не рассердилась, не вспыхнула, даже не стала оправдываться, она только потерлась головой о его плечо, и он в ту же минуту размяк, улыбнулся и любовно провел рукой по ее волосам: «Глупая, ты была так очаровательна в этом халатике», — сказал он. Милые бранятся — только тешатся.

11 июля. Подвига не будет — уже был! Все героическое в нашей жизни уже кончилось, и у него и у меня. Я знаю, я бы пришла в ту рыбацкую хибарку, где он скрывался, если бы знала, где он находится; ничто не могло бы меня остановить! И что же? После таких трагических и больших минут, которые подошли ко мне в юности, не получить больше ни одной, подобной, за всю мою жизнь? Стареть я сохнуть от бессильной злобы на советскую власть, на него, на нее, и... только!

12 июля. Бесконечные думы и одинокие прогулки по меже среди ржи. Хочется быть одной.

13 июля. Приехала Леля Нелидова. Я вошла в светелку, когда она подбрасывала Славчика, а тот смеялся заливчатым звонким смехом, потом она сказала ребенку: «Пусть твоя мама разбирает вещи и стряпает обед, а мы с тобой пойдем гулять», — и унесла карапуза, который охотно пошел к ней на руки. Утром она опять сказала: «А кто хочет на ручки? Я погуляю с ним, Ася, пока ты прибираешься», — мне во второй раз стало как-то неловко за себя. У Лели бюллетень, к ней привязалась температура, которая очень всех беспокоит. Она приехала на три дня, пользуясь освобождением от службы. Как всегда, очень мило одета, хоть и в простом ситце, выстиранном и выглаженном руками Зинаиды Глебовны. Она избалована гораздо больше Аси, несмотря на нужду, из которой они никак не могут вырваться.

15 июля. Что бы это могло быть... странно! Здесь столько узких переходов, заворотов и клетушек, что я постоянно, совершенно непреднамеренно, слышу чужие разговоры. В эту субботу я снова слышала один, всего из двух-трех слов, но он посеял во мне тревогу. Было так: Олег уже приехал, Ася разогревала ему обед, а он пошел с ведром к колодцу; я вышла в сени и увидала, как он, проходя, быстро подошел к Леле, которая черпала там воду из бочки, и озабоченно спросил: «Благополучно?» Она ответила: «Потом расскажу, очень тяжело». Что все это может значить? Что может быть между ним и Лелей такого, что является их общей тайной от меня и от Аси?

16 июля. Ну и денек был вчера! Ходили на прогулку с Асей, Лелей, Олегом и Славчиком. Пошли; очень скоро свернули с проселочной дороги и стали продираться узкой тропочкой среди зарослей и бурелома. После нескольких поворотов вышли к речке. Я была поражена дикостью и красотой места: мы шли низким берегом, с одной стороны была речка, с другой — густые, темно-зеленые вязы и липы, в тени которых было почти темно, цветущие кусты шиповника, переплетавшиеся с дикой смородиной, задевали нас своими колючками. Противоположный берег реки был очень высокий, обрывистый; белые пласты подымались крутыми уступами; темные, сумрачные ели громоздились наверху; вид был очень величественный. Я даже не подозревала, что под Петербургом могут быть такие виды. В одном месте — на той стороне — ели вдруг пошли сухие, все в белых космах, и Ася, указывая на них, заявила, что теперь не хватает только избушки на курьих ножках и Ба-

бы-Яги в ступе. В этом месте берег стал еще круче. Вскоре Олег остановился около упавшей осины, перекинувшейся через речку наподобие моста, и спросил: хватит ли у нас храбрости перейти по дереву на ту сторону? Когда мы перебирались поочередно, с его помощью, Ася и Леля визжали, а я перешла очень храбро. Он сказал: «Елизавета Георгиевна, конечно, оказывается на высоте!» — и поцеловал мою руку. Пустая галантность, а у меня сердце забилось! В удобном месте мы вскарабкались на кручу и опять углубились в чащу по незнакомым даже ему, чуть видным тропкам; он делал при поворотах зарубины перочинным ножом на коре деревьев. Возможность заблудиться придавала особую прелесть и остроту всему путешествию. В одном месте Олег сказал, указывая на разодранный пень: «Здесь поработал медведь». Другой раз он сказал: «А вот следы лося». Спустя некоторое время мы вдруг вышли на открытую лужайку, такую красивую, солнечную, изумрудную! И тут, пока Ася кормила Славчика, для которого взяли с собой молоко и булку, Леля обнаружила в зарослях иван-чая землянику. И она и Ася тотчас набросились на ягоды, уверяя, что совершенно необходимо собрать корзиночку для Славчика. Скучные эти матери! Я села на пень, а Олег сказал: «А мы со Славчиком поищем грибов, земляника — дело женское». Я больше часа сидела одна, комары совсем заели меня, когда наконец я услышала его голос: «Елизавета Георгиевна, поправьте, пожалуйста, на ребенке панамку». Я оглянулась: он стоял в двух шагах от меня, а Славчик спал сладким сном у него на руках. Я перехватила полный нежности взгляд, с которым он смотрел на сына. Это может быть очень трогательно, но, с моей точки зрения, мужчине вовсе не идет: ребенок на руках лишает его мужественного вида. Вернулись мы в сумерках. Ужинать сели уже при свечах. После ужина Олег тотчас ушел на сеновал, говоря, что для сына ему остается только 4 часа, так как вставать надо на рассвете. Ася пошла его проводить и пропала. Леля легла и через несколько минут сонным голосом пробормотала что-то о том, чтобы я тоже ложилась, а двери оставила открытыми, мол, о ворах в этой деревне еще никто никогда не слышал. Ей все трын-трава! Продолжая ходить из угла в угол, я несколько резко ответила: «Возмутительно, что Ася застряла! Что за бесконечные объяснения ночью, ведь Олегу Андреевичу вставать на заре». Сказала, не подумав. Леля высунула голову и ответила: «Вот сейчас и видно, что вы старая дева. Я младше вас лет на десять и все-таки понимаю, что́ могло задержать ее», — и тотчас опять спряталась. Намек ее я, разумеется, поняла, как и то, что своим намеренно невежливым ответом она пожелала, в свою очередь, меня подкусить. Оса ужалила, но я это заслужила и промолчала. И все-таки, почему же «на десять лет», если ей 22, а мне 30! Когда Ася, наконец, прибежала, глаза ее светились в темноте, как светляки.

19 июля. Завтра я уезжаю. Три недели в деревне освежили и укрепили меня. Тишина, лес, воздух, птицы — всем этим я насладилась вдосталь. Ни шум, ни суета, ни тревоги сюда не доходили. За это время я пришла к трем выводам. Первый: он все так же дорог мне! Я все так же безнадежно, глупо, по-институтски влюблена. Я ловлю его слова и жесты, выражение лица и звук голоса для того, чтобы потом без конца приводить их себе на память. Второй мой вывод тот, что я все-таки и несмотря ни на что очень люблю Асю. Она удивительно милое, нежное и совершенное создание. Я ни разу не заметила в ней никакой шороховатости, досады или раздражения. Она как будто распространяет вокруг себя невидимые лучи, которые затопляют симпатией к ней. Она была удивительно внимательна ко мне: в одно утро, когда я проснулась с головной болью, она тотчас заметила мое состояние и принесла мне в постель кофе; другой раз, увидев, что солнечное пятно падает мне на книгу, она сейчас же завесила окошко. Она не подпускала меня к плите, повторяя, что я приезжала отдыхать, хотя сама в течение дня очень часто не успевала присесть даже на полчаса.

Она вся соткана из тепла и света. И вот третий мой вывод, уже касательно моей собственной персоны. Сами того не замечая, Олег и Ася указали мне на мой очень значительный недостаток; есть латинская поговорка: я человек, и ничто человеческое мне не чуждо; так вот, есть нечто, мне чуждое, среди общечеловеческого — супружеская ласка, материнская ухватка, любовь к детям... Ведь вот у Лели Нелидовой тоже нет своего младенца, а как, однако, просто и легко справлялась она с младенцем Аси! Во всех младенческих атрибутах, ну там чепчиках, башмачках, игрушках — она разбиралась так, как будто вырастила семерых! Я боялась прикоснуться к Славчику, чтобы не сломать или не уронить его, а она об этом не думала: играть с ним, баюкать его доставляло ей удовольствие, ребенок шел к ней на руки, а при взгляде на меня он всякий раз ежился или начинал реветь так, как будто страдал мучительными коликами в желудке. Асю всякий раз это смущало, и мне делалось неловко. Не могу объяснить, но мне кажется, что именно этот мой недостаток играет во всей моей жизни какую-то роковую роль.

Продолжение следует



ПОЭЗИЯ

ВИКТОР КОЧЕТКОВ



ЕЩЕ ОТКРЫВАЕТСЯ РУССКАЯ ДАЛЬ

* * *

Был он главной надеждой
у маменьки.
Провожала — кричала навзрыд.
На холме против города Каменки
он в солдатской могиле лежит.

Под тяжелой звездою латунною
он лежит, прикрывая сельцо.
Потемнело и выцвело юное
в медальоне овальном лицо.

В День Победы окрестные жители
хороводили тут, над Днестром,
покрывали могилу воителя
из ромашек сплетенным ковром.

Но наведались пришлые сволочи,
добрались до глухого сельца.

Под прикрытием мартовской
полночи
осквернили могилу бойца.

Ископытили холм, испоганили,
словно стадо свиней, а потом
всю плиту исчертили, изранили,
«оккупант» — наскребли долотом.

И опять, словно призраки, канули,
и в густой обступающей тьме
этот мальчик с Ветлуги ли,
с Камы ли,
как в окопе, лежал на холме.

Как солдат, что от страха
не мечется
и у жизни на самом краю
заслоняет собою Отечество
в приграничном жестоком бою.

* * *

О Боге вспомнили безбожники Руси,
вчерашние апостолы безверья.
И вот уже твердят: «Еси на небеси» —
в поклоне поясном перед церковной дверью.

Еще не отойдя от яростной борьбы,
со всеми пережитками былого,
ко всенощной спешат и хмуро крестят лбы,
в божественное вслушиваясь слово.

Трибуну превратив в церковный аналой,
старшины новоявленного клира
наперебой кричат не «Слава!», а «Долой!»,
растаптывая прежнего кумира.

На все, на все пойдут, чтоб только уцелеть.
Лукавство в наши дни надежнее, чем пушки.
Не все ли им равно, кому осанну петь,
лишь были бы полны их властные кормушки.

Неужто вновь страну возьмут они в полон?
О, наважденье мрачное, рассейся!
Когда же ты, Господь, разрушишь Вавилон
бесстыдного и злого фарисейства?

* * *

Когда гремел стрельбой
смертельной
в дому Ипатьева подвал,
палач Юровский крест нательный
с груди наследника сорвал.

И вскоре крестик этот медный,
от крови высветлив в золе,
с ухмылкой злобной и победной
вождям показывал в Кремле.

Кто ноготком в него потыкал,
кто на зуб пробовал металл.
Дзержинский сдержанно хихикал,
а Свердлов смачно хохотал.

А кто-то даже выдал шутку:
«Да нам, друзья, Креди Лион*
под эту медную малютку
отвалит целый миллион!»

И невдомек глумливцам было,
что всё судьба взачет брала —
и этот хохот не забыла,
и эту шутку сберегла,

что в драме века им оставит
она еще немало мест,
и что крестом могильным станет
для них нательный этот крест.

* * *

У нас не как у всех людей —
и ценник свой, и свой ценитель.
Коль строил Родину — злодей,
коль разрушал ее — воитель.

Отвага дедов и отцов,
на память нашу не надейся:
сегодня мужество бойцов
заносится в графу «злодейство».

Сегодня — Господи, прости! —
кого героем вы сочтете?
Уже бандеровцы в чести,
уже и власовцы в почете.

Безвестны столькие сыны,
не забывавшие о долге,
а Стеньки Разина челны
из века в век плывут по Волге.

И чтоб в потемках не гадать,
кто славен чем, кто что содеял,
пора нам серию издать
«Жизнь замечательных злодеев».

Начистоту поведать в ней,
как Русь «злодеи» сохранили,
пока Азефы наших дней
Суворовых не заслонили.

* Известный французский банк.

* * *

Пристань на Припяти. Церковь
старинная.
Горстка заросших травою дворов.
Женщина возится с красной
периною,
Вскинув ее на поленницу дров.

Чей-то «жигуль» под брезентом
сутулится.
Куры купаются в белой пыли.
От тополей на пустынную улицу
долгие-долгие тени легли.

Время заутрени. Синь
влажнолистая.
Клочья тумана плывут по реке.
Местный рыбак, ночь над удочкой
выстояв,
важно несет красноперок в садке.

Тихо старуха сидит на завалинке
в старом, еще довоенном чепце.
Очи, как две голубые проталинки,
на почернелом, в морщинах лице.

Сколькие беды в глазах этих
побыли,
вечной тоскою они налиты.
— Сколько, скажите, от вас
до Чернобыля?
— Сорок четыре московских
версты.

* * *

Россия,
я мученик твой и солдат.
Провалы твои и успехи,
твое Дубосеково, твой
Сталинград —
моей биографии вехи.

Нет, я не ходил
в трубачах-звонарях,
зато во спасенье свободы
в казармах твоих и в твоих лагерях
провел я немалые годы.

Когда каменела Европа в слезах,
мы мир из огня выносили.
Сам Черчилль в моих евразийских
глазах
отыскивал тайну России.

Но что же сегодня случилось
с тобой,
с моею Отчизною милой?
В какой ты ввязалась негаданный
бой,
с какою невиданной силой?

В тревоге стоишь на развилке пути.
тебе ли пророчеств страшиться —
«Налево пойти — головы не снести,
направо — свободы лишиться».

* * *

Все продано, предано...
Анна Ахматова.

Не все еще предано,
Не все еще продано.
Не все нажитое пошло с молотка.
Еще остается история Родины,
ее золотой и железный века.

Еще остаются победы Суворова,
походы Олега и битвы князей.
Еще не продали орудья Авроровы
заморскому спонсору в личный
музей.

Еще полыхают рассветные марева
над солнечным храмом на речке
Нерли.
Еще существуют курганы Мамаевы,
твердыни родной, непродажной
земли.

Еще никакой новоявленный мелиум
стереть не сумеет, чем жили вчера.
Еще остаются нетленным наследием
крутые и гордые годы Петра.
Еще не забыты объятия братские.
Еще не угасли святые мечты.
Еще по весне на могилы солдатские
кладут полевые, живые цветы.

Еще вечера оглашают осенние
старинные песни в заулках села.
Еще не заглохла дорога к Есенину,
дорога к Некрасову не заросла.

По бросовым ценам не все еще
спущено.
Листаем пока не чужой календарь.
За легкой крылаткой бессмертного
Пушкина
еще открывается русская даль.

\+\+\+



ПРОЗА



ЕРЕМЕЙ АЙПИН

У ГАСНУЩЕГО ОЧАГА

ПОВЕСТЬ

БЕЛЫЙ ЦАРЬ

В нашем доме часто вспоминали Белого Царя. У нас было немало вещей, связанных с его именем. «Белого Царя времен медный чайник». «Белого Царя времен наконечник копья на медведя». «Белого Царя времен сундучок». Этот белоцарский сундучок, окованный каким-то древним металлом, казался мне особенно таинственным. В нем жили наши Домашние Боги и Богини. Словом, было много поводов вспомнить Белого Царя.

Спрашиваю Бабушку:

— Когда ты, Мамина Мама, на глаза попалась?

«На глаза попасть» — значит родиться, появиться на свет.

— О, это было еще во времена Белого Царя, — отвечает Бабушка.

Спрашиваю Отца:

— А ты, Папа, когда на глаза попался?

— По словам твоего Деда, это было уже после времени Белого Царя, — отвечает Отец. — Будто бы я на глаза попался в тот год, когда Красный Царь появился.

Позже, выучившись грамоте, в документах Отца я обнаружил две разные даты его рождения. В одном — «1912», в другом — «1917». Отец пошутил: «Это Красный Царь напутал. Эти бумаги выдали его люди».

Спрашиваю Маму:

— А ты, Мама, во времена какого Царя на глаза попалась?

— Спроси у Бабушки.

Я к Бабушке. Она говорит:

— Мама твоя еще такая молодая...

— И красивая... — добавляю я.

— Да-да, — соглашается Бабушка. — И время здесь ни при чем.

— А я во времена какого Царя на глаза попался? — спросил я Маму.

— Конечно же во времена Красного Царя.

— Значит, Бабушка — белоцарская, а я — красноцарский. Так, да?

— Выходит, так.

Окончание. Начало в № 4.

Я понял: время четко делится на два периода — белоцарский и красноцарский. В прошлом остались времена Белого Царя, в настоящем — времена Красного Царя. Но Белого Царя чаще вспоминали добрым словом. Вспоминали по тем добротным вещам, что сохранились с его времен. Это в основном посуда из меди. Медь называли «хантыйским металлом». И в каждой семье имелись и особо ценились «хантыйского металла котлы» времен Белого Царя. При Красном Царе их почему-то перестали выпускать. Бабушка его не очень-то жаловала. Она открыто ворчала: вот, мол, Красный котлы-то делать никак не научится. У красноцарского котла то ушко отвалится, то дно отвалится, то ручка перегорит-переплавится. А коли все остается на месте, то хозяйки большой радости тоже не получают. Другим мучаются — пища в нем пригорает.

Не выдерживали красноцарские котлы суровой таежной жизни.

Так говорили не только о котлах и других предметах быта, но и об орудиях промысла. Я это знал, поэтому спросил Бабушку о другом:

— Мамина Мама, расскажи, как вам при Белом Царе жилось?

— Как жилось?.. — задумчиво переспрашивает Бабушка.

— Да, расскажи...

Бабушка, помолчав, медленно говорит:

— Вольно жилось... — Помедлив, снова помолчав, она добавляет: — Свободно жилось... — Потом, после паузы, уверенно говорит: — Белый Царь не мешал нам жить!..

— Как это — «не мешал жить»?

— Мы жили так, как хотели...

— А как вы хотели жить?

— Как хотели?.. — задумчиво переспрашивает Бабушка.

Она снова замолкает, будто припоминает, как жили при Белом Царе. А потом неторопливо начинает рассказывать про житье-бытье в те времена. Оленей пасли — никто не мешал. Зверя добывали — никто не мешал. Рыбу ловили — никто не мешал. Зимой в Сургут-город на ярмарку ездили, пушнину туда возили. Порох-дробь, муку-крупу, сукна-ткани на одежду покупали. В городе в Божий Дом — так церковь называли — можно было сходить. Никто не запрещал — хочешь, молись русскому Богу. Никто не запрещал — хочешь, вернувшись домой, молись на Священном Яру хантыйскому Богу. Никто не запрещал — хочешь, у своего очага молись домашним Богам и Богиням... Если ты шаман, можешь взять бубен и шаманить — никто тебя не тронет. Если ты князь-урт или из княжеского рода, можешь спокойно спать — никто тебя не арестует и в тюрьму не посадит. Если у тебя есть земля и ты живешь на ней — никто тебя с насиженного места не сдвинет, никто твою землю и твой дом не разрушит. Мы так жили, как хотели. Мы так жили, как было задумано нашим Небесным Торумом-Отцом. И Белый Царь не мешал нам жить...

Я живо вообразил себе Белого Царя. В моем представлении он ходил только в белых одеждах. Бело-золотистая, как у Солнца перед зимней непогодой, корона-шапка на голове. Белые, наверное, от седины, волосы. Белая борода. Белая шуба, будто бы из шкур белых оленей. Белые варежки из белого камуса. Белые унты-кисы, тоже из белого камуса. Белый Царь во всем белом. На то он и Белый. А белый цвет — цвет жизни. Это я знал почти с рождения. Ведь недаром слова «Нэви Торум» означают и Небо, и Верховный Бог, и Жизнь. «Нэви» — значит «белый». И поэтому, казалось, Белый Царь тесно связан со всем миром через свою белизну.

Спрашиваю Бабушку:

— Где Белый Царь?

— Его уже нет на этом свете, — ответила Бабушка.

— На твоей памяти он из Среднего Мира ушел?

— Да, я крепко те годы запомнила, — сказала Бабушка. — Его вместе с семьей на окраину нашей земли привезли. В Тобольск-город на Иртыше-реке. Потом их всех кончили. Его самого, его дочерей-сыновей, его жену. Их всех в Нижний Мир до срока отправили. Ах-ты-беда, ах-ты-беда!.. — испуганно запричитала Бабушка.

Вдруг, словно от удара, она вся сжалась. Стала маленькой, как ребенок. Вскинула веки и тут же опустила. Наклонила голову и уголком платка провела по глазам. После на ощупь, будто ослепла, принялась разыскивать табакерку на нарах. Приняв щепотку табака, она выпрямилась, сложила руки на коленях и замолкла. Прошло сколько-то времени. Наконец она взглянула на меня, виновато, чуть заметно улыбнулась. И я понял, что она успокоилась и теперь можно продолжить разговор. Поэтому я тихо спросил:

— Кто их... в Нижний Мир отправил?

— Те, кто хотел занять место Белого Царя.

— Что им за это было?..

— А ничего, сказывают люди... — Бабушка помолчала мгновение, потом вскинула горящие огнем глаза к небу и громко сказала: — Но Небесный Бог накажет их! Когда-нибудь непременно накажет. Такие дела так не остаются...

Бабушка опять тяжело вздохнула.

Тут вмешалась Мама, сказала мне:

— Ты бы, Роман, на улицу сходил, погулял...

— Сходи, узнай, какая завтра погода будет, — предложил мне Отец.

Я начал неохотно собираться на улицу: ведь мои вопросы еще не кончились, я о многом хотел расспросить Бабушку, особенно о старине, о давно минувших годах. Она, словно почувствовав это, сказала:

— В старину, так пожилые люди считают, нам лучше жилось... — Помолчав, добавила: — При Белом Царе мы своею жизнью жили. У нас была свобода!..

С последним словом «свобода», вбитым Бабушкой в мою память, я вышел на улицу.

КРАСНЫЙ ЦАРЬ

Сейчас мы на Красного Царя сидим, утверждала Бабушка. Его век наступил. Но взрослые о его делах говорили неохотно, полунамеками, которые я не всегда понимал. Если вели о нем речь, то понизив голос, как бы с оглядкой. Только Бабушка не боялась Красного Царя. Открыто и громко ругала его.

Спрашиваю Бабушку:

— Мамина Мама, чем Красный Царь отличается от Белого Царя?

— Ох-х, — вздыхает Бабушка. — Да всем отличается, всем!

— Чем именно?

— Красный Царь все запрещает. Богу молиться запрещает, шаманить запрещает. По старинным обрядам свататься и выходить замуж тоже запрещает. В своих селениях в лесу жить запрещает...

— Где же жить?

— В русские поселки тянет, в одну кучу всех.

— А что не запрещает?

— Слава Богу, дышать еще не может запретить.

— Что можно делать, чего он хочет?

— Хочет, чтобы мы жили по его бумагам. В поселке по-русски жили. Чтобы в колхозе жили. Чтобы его «красным богам» поклонялись. Чтобы его головой жили, его головой думали.

— Что хорошего он сделал для людей?

— Ох-х, — вздыхает Бабушка. — Что на это скажешь? — Она молчит, молчит. Потом говорит: — Вот что на это скажу. Скольких людей он забрал на войну и не вернул? Скольких людей на лесозаготовки забрал и покалечил? Скольких людей — шаманов и нешаманов — в Темный Дом[1] посадил, а потом кончил. Всех сожрал. Хороший Царь может такие дела творить? — спрашивает Бабушка.

— Нет, конечно, — отвечаю я.

[1] Темный Дом — тюрьма.

— Хороший Царь разве станет малолетних детей отнимать у родителей?

— Как это — отнимать?

— В школу-интернат увозит, в поселок.

— Нет, наверное, — говорю я.

— А он детей увозит, — сердито говорит Бабушка. — Вот подрастешь, Роман, и тебя в интернат увезут, от дома оторвут. А потом в поселке из тебя сначала Малого Красного[2] сделают, после — Большого Красного[3]. Там тебя не научат промышлять зверя, ловить рыбу, пасти оленей. Не научат строить дом и лабаз, мастерить нарту и облас. И позабудешь ты родной говор, своих родителей, своих Богов. Разве это жизнь? Разве тебе хочется уезжать из родительского дома?

От этих слов у меня заныло сердце, и я сердито сказал:

— Я никуда не поеду!

Бабушка только печально улыбнулась, вздохнула:

— Тебя и спрашивать никто не станет!..

Я чувствовал, как у меня тревожно билось сердце. Мне совсем не хотелось уезжать из дома. Я не мог представить себе жизнь без мамы и папы, без сестер, без нашего дома. Без нашего Харко. Без нашего таинственно шепчущего леса. Без нашей тихо журчащей реки. Мне стало очень грустно. И я долго молчал. Потом спросил Бабушку:

— Почему он Красным называется?

— Красный цвет любит.

— В красных одеждах ходит?

— Говорят, у него красная метка есть, — говорит Бабушка. — А красный цвет у нас не любят. Это цвет тревоги, цвет крови, цвет беды. Вот он и прославился кровавыми делами. Горя век, страданий век наступил...

— Этот век имеет ли конец?

— Конечно, имеет конец, — сказала Бабушка. — На смену горестному веку всегда приходят лучшие времена. Наши древние так говорили. И в старину, сказывают, такое случалось. Приходили тяжкие времена войн, голода, болезней. Народ мучился, страдал. Но потом лучшие дни наступали...

— Чье время придет после Красного Царя?

— Кто знает. Может, снова время Белого Царя вернется.

— Но может наступить и время царя другого цвета?

— Конечно, может.

— А почему люди побаиваются Красного Царя?

— Потому что его люди могут посадить в Темный Дом любого человека. Сказал одно кривое слово — нет тебя. Скольких людей нашей реки он уже кончил? Разве сосчитаешь всех до срока отправленных в Нижний Мир?

— Ты же говоришь про него кривые слова?

— Говорю.

— Не боишься?

— Я уже старая, свое отжила, — с грустью говорит Бабушка, а потом, тряхнув седыми волосами, насмешливо добавляет: — Пусть мою голову берет, если от этого ему легче станет...

Мне вовсе не хотелось, чтобы Бабушка кому-то отдавала свою голову. Пусть даже Царю. Возможно, поэтому я решил еще кое-что выяснить о нем. Спросил:

— Где живет Красный Царь?

— На Нижней Земле[4].

— Как его зовут?

Бабушка призадумалась на минуту, потом сказала:

— У него нет имени.

— Как так?

— Красного Царя нет.

[2] Малый Красный — так называли комсомольца или пионера.
[3] Большой Красный — большевик, коммунист
[4] Нижняя Земля — так в разговоре называли Запад.

— Как нет?! — воскликнул я.

— Белый Царь был человеком, а Красный — это не человек...

— Как это — не человек?! — еще больше удивился я.

— Это... просто место...

— Пустое место?

— Да нет. Просто красные своего Царя называют не «царем», а каким-то другим мудреным словом. У меня язык не поворачивается, — признается Бабушка.

— Так есть на этом месте человек?

— Есть.

— За Царя?

— Да. Он как бы не Царь, а за Царя, за Красного.

— Как его зовут?

Бабушка призадумывается, потом говорит:

— Знающие люди сказывают: сначала за Красного Царя был Ленин, а потом его место занял Сталин. А про него ты слышал от взрослых.

Конечно, слышал. О нем говорили приезжие из Верхнего Поселка. О нем говорили приезжие из Нижнего Поселка. Передавали его слова. Это сказал. То сказал... А Бабушка опять призадумалась. Сидит, молчит. Поверх моей головы устремила взор куда-то вдаль, в сторону Нижней Земли. Потом, как бы опомнившись, перевела глаза на меня и, размышляя, проговорила:

— Жизнь такая пошла, может, и нет его. Может, и вправду это пустое место. Без Царя сидим...

КОЛХОЗ

— И Красный Царь колхоз придумал, — рассказывает Бабушка. — И все стало колхозным. И олени, и звери-птицы, и озера-реки, и боры-урманы, и люди. Словом, вся жизнь стала колхозной.

— И мой Папа стал колхозным?

— Да.

— И моя Мама?

— Конечно. Все время ее требуют в Поселок на колхоз работать.

— И ты, Мамина Мама, колхозная?

— Я-то?!.. Да колхоз из меня всю кровушку высосал! — сердится Бабушка. — Ох-хо, теперь я никому не нужная!.. Среди вас, пожалуй, я одна не колхозная...

— Что — я тоже колхозный?! — удивился я.

— А как же!

— И мои сестры — тоже?

— А что ж ты думал!

— Значит, мы не мамины и не папины?

— Пока вы под крылом Мамы и Папы. А как вырастете — на колхоз хребет начнете ломать. Вернее, заставят ломать хребет. Кто добровольно на такое пойдет?..

— А если я не захочу быть колхозным?

— Тебе-то как раз туго придется, — говорит Бабушка грустно. — Колхоз ждет не дождется, когда ты вырастешь. Ему нужны молодые да сильные мужчины. Как вцепится — не выпустит, пока всю кровь не высосет.

Наверное, от этих слов я заметно посмурнел, стал печальным. Поэтому Бабушка, чуть помолчав, улыбнулась мне и бодро сказала:

— Не вечно же горя-страдания веку быть. Может, на твою взрослую жизнь лучшие времена придут...

Утешение не очень-то большое. Может, лучшие времена придут, может, нет.

— Колхоз — это человек? — спросил я Бабушку.

— Нет, не человек.

— А что же это такое?

Бабушка призадумывается, потом объясняет:

— Колхоз — это место... где людям придумывают тяжелую и бессмысленную работу.

Что такое тяжелая работа, я мог себе представить. А что такое работа без смысла — нет. Поэтому спросил Бабушку:

— А какая работа без смысла?

— О, колхоз много таких работ придумал, — вздыхает Бабушка. — Колхоз много начудил... Вот взять картошку. На нашей земле она не росла, мы ее не ели, а колхоз заставляет выращивать ее. Коров и лошадей мы не пасли, а нас принуждают крутить им хвосты. Дерьмо, — Бабушка называет неприличное слово, — заставляют за ними выгребать. Летом для них надо сено накосить. Зимой это сено нужно завозить в Поселок на оленях. Скольких людей и оленей мучает колхоз? Ведь на этой земле испокон веков мы пасли только оленьи стада, — сокрушается Бабушка. — А коровы и кони — это дело обских ханты. Оленей у них нет, зато травы сколько хочешь... Взять другое дело — Поселок. Колхоз всех людей насильно сгоняет в Поселок. Как там выжить — никто не знает. Свежей рыбы нет. Свежего мяса нет. Ягоды негде брать — до ягодников далеко, ехать надо. А ехать не на чем. Огонь «подкормить» тоже нечем — дров нет, поблизости все вырубили, особенно сушняк. Опять же подвозить на чем? У людей ни оленей, ни лошадей нет. А как до угодий добраться? Многих людей сорвали с родовых селений, свезли в Поселок, свалили в одну кучу. Лишь бы на колхоз работали, свою хребтину гнули. А жить — живи как знаешь!

Я хорошо помню, как нас в Поселок «тащили». Всеми правдами и неправдами. И как отчаянно сопротивлялись Мама с Папой. И они выстояли, не сдались. Может быть, поэтому мы выжили. Всех, кого сняли с родных селений, кому обрубили корни, постигла печальная участь: кто спился и потерял человеческий облик, кто сам себя жизни лишил, кого кончили, кто до последней нитки обнищал и доживал свои дни в сгнивших избушках — «подарках» Правительства 1953 года.

— Каждому народу Бог придумал свою пищу, — рассуждает Бабушка.— Кому картошку, кому рыбу, кому мясо. Каждому человеческому роду Бог уготовил свое жилище. Кому из камня, кому из дерева, кому из травы. Каждой земле Бог дал семена-плоды. Одной растить хлеб, другой — диковинные заморские фрукты, третьей — бруснику-клюкву, чернику-морошку. А красноцарский колхоз все смешал, — сердито говорит Бабушка. — Все на свете перепутал. И вынудил людей делать бессмысленную работу.

— Понял, какая работа без смысла? — спросила Бабушка.

— Понял, — ответил я.

Мы помолчали. Потом я спросил Бабушку:

— А наш Харко тоже колхозный?

— Он вроде бы не колхозный.

— Значит, вы вдвоем с Харко от колхоза свободные?

— Погоди... — проговорила Бабушка. — Харко помогает твоему Отцу добывать зверя и птицу. А Отец твой все сдает в колхоз. Получается, что и Харко на колхоз работает. Стало быть, он тоже колхозный...

— Есть у нас что-нибудь не колхозное? — удивился я.

— Не знаю... — проговорила Бабушка. — Раньше у каждого рода были свои угодья и пастбища. Потом колхоз объявил их своими, колхозными. Каждая семья имела оленей. А потом они все потихоньку колхозу перешли. Колхоз богател, а народ все беднел...

Что колхоз богател, обирая людей, я знал. На зиму Отец получал от него упряжку оленей. Среди них попадались и наши, за что-то отнятые колхозом. Помню темношерстную важенку Ими Саркэлы. Я подкармливал ее рыбой и чешуей от подовушек. И у меня сердце ныло от того, что олениха была нашей, а стала колхозной, то есть ничейной. И пастухи в стаде, наверное, не очень хорошо обращались с ней, потому что она не принадлежала им.

Я слушал голос Бабушки — то спокойный и рассудительный, то резкий, сердитый. Странно выговаривала она слово «колхоз». Делила его на две части: «кул» — по-хантыйски «черт, дьявол» и «воз» — нарта с тяжелой поклажей. Первое слово издавна было в языке, а второе привнес колхоз, когда на оленьих упряжках начали возить сено, дрова, мерзлую рыбу и мешки с пушниной. По Бабушкиному, получалось: колхоз — это «дьявола воз с непосильной поклажей». Люди тянули его, надрывались и умирали. А тех, кто не хотел впрягаться в этот воз, объявляли «шаманами», «кулаками» или «врагами народа». Их сразу же, как выражалась Бабушка, «в Темный Дом садили», то есть в тюрьму. Наверное, поэтому Бабушка не любила вспоминать то время, когда вдовой тянула колхозную лямку в Нижнем Поселке. А если и вспоминала, то при этом на ее глаза наворачивались невольные слезы.

— Вот таким был «дьявола воз»...

После, повзрослев, я увидел, что колхоз, как выражалась Бабушка, все «смешал и перепутал» не только на нашей Реке, но и во многих других селах и городах. Словом, вся страна напоминала один большой колхоз без истинного хозяина...

КОСКА БОЛЬШОЙ, или КОЛХОЗА ГЛАВА

У колхоза был Глава. Звали его Коска Большой.

Получил он колхоз в сорок первом году. И записали на него все имущество колхоза: одну телегу, одну заезженную клячу и обитый железом ящик с амбарным замком. А в ящике том колхозная печать и невесть каким образом завалявшиеся три рубля денег. Все. Больше — ничего. И сказали начальники района новому председателю: руководи, веди колхоз к светлому будущему, недаром тебя обучали этому делу на курсах. Верно, в районном центре Сургуте его месяц продержали на учебе. Правда, из практических навыков дали только одно: научили расписываться на бумагах. Если он никуда не спешил, то широко, размашисто, на всю страницу, выводил свою фамилию: «Казамкин». Если же времени не было, то у него получалось «Казамки» или «Казамк». А коль торопился, спешил, то на ходу ставил «Каз» или «Каза».

Словом, у колхоза было только одно название, которое ни к какому месту не приложишь. Оно не могло никого ни согреть, ни насытить.

И тут началась война. Наступили суровые и тяжкие времена. И Коска Большой потянул колхозную лямку. Тянул ее и в зимнюю стынь, и в летнюю мошкару. Тянул ее и в весеннюю распутицу, и в осеннюю слякоть. Тянул ее днем. Тянул ее ночью...

— Колхоз вытянул, а свой первый дом — нет... — вздыхает Бабушка.

— Что с его первым домом случилось? — спрашиваю я.

— Он потерял свой первый дом.

— Очаг погас?

— Да, огонь очага погас...

Огонь его первого дома поддерживала твоя двоюродная тетушка, припомнила Бабушка. Заболела она, хранительница очага. Будто бы с ума сошла. И повелел русский лекарь, чтобы Коска Большой отвез ее в Сургут-город. Тогда по Реке ходила Красная Лодка. На ней они и пустились по течению вниз, в неведомый город-селение. Много ли, мало ли времени прошло, Коска Большой вернулся в Поселок один. Сел, опустил голову — молчит... Собрались родственники. Спрашивают — молчит. Притронулись — молчит. «Слезу на него положили» — молчит.

Молчит, будто омертвел заживо. Никого не видит и не слышит.

И тогда его свояченица Степанида утерла слезы и побежала в детский садик. То ли кто надоумил ее, то ли она сама догадалась — примчала на руках его самого младшенького, Леньку. И пустила мальчика перед отцом на пол. Малыш только начинал вставать на ноги и держался неуверенно, больше ползал. И тут, посидев на полу и осмотревшись, он пополз к отцу. И, что-то лопоча, по отцовой ноге начал карабкаться на колени.

У Коски Большого что-то заклокотало внутри. Сначала он давил в себе, отчаянно сдерживал звук. Но клокот наконец вырвался из его груди. И он, судорожно схватив малыша, прижал его к себе и зарыдал. Зарыдал на весь По-

селок. Зарыдал на всю Реку. И люди поняли, что его малыш остался без мамы. Что две его дочери тоже остались без мамы. Что не стало хранительницы его очага... И об этом он не смог сказать в словах.

Так погас огонь его первого дома, где была хозяйкой наша двоюродная тетушка. Я ее, конечно же, не помню. Она жила за пределами моей памяти. Я приходился ровесником ее младшему Леньке. С ним мы вместе потом пойдем в школу и подружимся. А его отец, Коска Большой, часто заезжал в наш дом. Наверное, поэтому я помню его с самого раннего детства. Был он очень быстрым и подвижным. Только что в доме сидел, чай пил. Глядь, уже на улице, оленей ловит, запрягает. Или в бору, на пастбище его голос слышится — умчался за отбившимся от стада оленем. Говорил он также быстро и резко, четко отпечатывал каждую фразу. Никогда за словом в карман не лез. Видно, его ум такой же скорый, как и его слова и дела.

Он был нашим родственником. И мы уважительно называли его «Большой зять-старик» — ведь он один из самых старших зятьев рода. И весь род соблюдал с ним обряд избегания — и женщины, и мужчины, хотя тетушки нашей, «дочери рода», уже не стало. В таких случаях обычно «мирились» с зятьями. Ритуал довольно простой. С женщины срывали платок, а мужчин рода и зятя проводили по разные стороны користого дерева, и обряд объявлялся утратившим силу. Много лет спустя кто-то из наших сородичей предложил провести ритуал «примирения». Но Коска Большой отказался, сказав: «Этот древний обряд не нами придуман, соблюдать его не трудно мне, и пусть он будет»...

Не нами придуман — не нам его отменять, поняли и согласились с этим люди нашего рода. Так он и остался до конца жизни «Большим зятем-стариком» жителей всего среднего течения Агана. Никто и никогда больше не заикался о ритуале «примирения».

Он все тянул колхозную лямку. Зимой часто ездил на оленях в Сургут-город. Вызывали, как он выражался, останавливаясь у нас, на разные «собрания», «совещания», «заседания» и тому подобное. Летом плавал туда на обласке или на попутных катерах. Оттуда он привозил бумаги. Потом начинал делать то, что требовали эти бумажные листы. Так появились «колхоза олени», «колхоза коровы», «колхоза кони». Так колхоз начал садить картошку, морковь и редьку, сеять овес. Немного позже в Поселке построили ферму для «колхоза лис» и «колхоза песцов». С оленями, хоть и колхозными, люди как-то мирились — дело привычное, знали, как пасти. Но переехать в Поселок и идти в скотники, звероводы и покосники никто не хотел. Тем более дергать сорняки на колхозных полях и огородах. Но Глава колхоза Коска Большой говорил: «Война требует!»

Мол, куда тут попрешь.

После войны он объяснял: «Русские начальники требуют! — и показывал рукой вверх. — Район требует!»

Как-то, возвращаясь из Сургута, он заехал в наш дом чай попить. За столом мой Отец предложил:

— Там, наверху, надо бы сказать — зачем нам все это, зачем зря людей мучают...

— Кто меня там спросил?! — возопил Коска Большой. — Кто меня там слушает?! — Отхлебнув чай и поставив блюдце на стол, он так же резко добавил: — Там одно — план! План выполнил — хорош, не выполнил — плох!

— Так ведь тянут-то нас не туда...

— Ясное дело: не туда! Да что поделаешь?!

— Да, делать нечего...

Потом в наше селение пришло новое слово «самообложение». Якобы добровольно собирали деньги на покупку колхозного катера. Однако никто не спрашивал, хочет иль не хочет человек отдавать деньги за катер. Просто в конторе удерживали нужную сумму — и никаких разговоров. Собрали деньги, купили катер. Правда, с деревянным корпусом, как у обыкновенной лодки. На моториста и капитана выучили ненца Иуси Аули. И катер стали называть «Аули-тррр». «Аули-тррр» поплыл в Сургут-город. «Аули-тррр» сел на мель. А о «самообложении» долго еще вспоминали. Что это такое — «самого себя обложить»?! За что?! С какой стати?! Кто придумал?! Конечно же, Колхоза Глава, Коска Большой. Это он тянет жилы из народа. И, как водится, люди по-разному относились к нему. Кто ругал его в открытую, кто за глаза, кто просто помалкивал. А что колхозную лямку тянул исправно, это признавали все.

Колхозную лямку тянул, а вот семейную упустил, говорили люди. Лишился он второго дома. Умерла жена вторая, оставила ему малолетнюю дочку.

Ни одна весть не проходила мимо нашего селения. Особенно о родственнике Коске Большом, Колхоза Главе, или «Колхоза Старике».

Вздыхала Бабушка.

Вздыхала Мама.

Молчал Отец.

После, когда меня взяли в школу, однажды учитель на уроке заметил:

— Колхоз наш богатый, да от него... мало пользы народу, — и потряс газетой, в которой сообщалось, куда колхоз перечислил свою прибыль.

Между тем Коска Большой, или Константин на русский лад, все тянул свою лямку, нес свою ношу. И наконец настал день, когда районные начальники сказали ему: все, отдай колхоз грамотным да молодым, сейчас другие времена настали. Грамота нужна. И он отдал колхоз. И отдавал колхоз не без грусти. Потому как теперь было что отдавать. Отдал три стада оленей. Отдал стадо коров и табун коней. Отдал звероферму с лисами-чернобурками и голубыми песцами. Отдал катер с деревянным корпусом. И, кроме прочих мелочей, — счет, на котором был миллион — немного обидно — без шести рублей. И стало грустно. Ибо расставаться с нажитым всегда нелегко. Особенно, если это нажито тяжелым трудом.

Так он вытянул колхоз...

Так он прошел по тяжким годам.

Возможно, как и время, бывал он безжалостным и жестоким. Возможно, бывал он правым и неправым. Времена-то какие пережил... Все было. Всяко было. Но мне крепко врезались в память его слова. Оглядываясь назад, в гряду ушедших дней, он не однажды говорил:

— Бог видит: по колхозному делу ни одного человека энкэвэдэшникам не отдал. Ни одну душу не сгубил...

И это была сущая правда.

МАТЕРЬ-ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА

Она живет в высоком терему среди сосен Священного Бора.

Помню, как меня в первый раз подвели к Ней. Отец приподнял меня на руки и сказал: «Поздоровайся!» И я поцеловал Ее куда-то в шелковистые платки и шали. Ее лик скрыт под множеством платков и шалей. Но я все равно смотрел на Нее с трепетным восторгом. Я впервые прикоснулся к Ней. Вот Она — нашего рода и нашей Реки Матерь и Покровительница.

Самая красивая.

Самая добрая.

Самая таинственная.

Всесильная.

Могущественная.

Всевидящая.

Всеслышащая.

Только позови — на помощь к тебе спешащая.

Вот Она — протяни руку и прикоснись к Ней. И я потянулся к Ней ручонками и прикоснулся к Ее одеяниям. И почувствовал, как ко мне заструились и сила, и здоровье, и удача. И прояснилась голова, и в голове остались одни светлые мысли и думы. И это первое прикосновение к Ней осталось во мне навсегда...

Потом Отец сказал мне: «Поздоровайся с Вонт-Ики!» Вонт-Ики — значит «Урман-Старик». Старик в выдровой шапке, отметил я про себя. На Его голове была выдровая шапка. Мне показалось, что Он строго взглянул на меня. Я почувствовал Его взгляд. Но это нисколько не испугало меня. Я знал, что Он добрый. И понял, что это муж нашей Матери-Покровительницы. И когда Отец поднес меня к Нему, я без всякой боязни поздоровался с Ним.

После Отец шепнул мне: «А теперь с Божьим Сыном поздоровайся!» Божий Сын в лисьей шапке, чуть сдвинутой на затылок. И, казалось, с веселым озорством смотрел на меня. Я почувствовал в Нем почти своего ровесника. Правда, Он немного старше меня. Возле Него в углу много-много стрел с металлическими наконечниками. Отец пояснил мне, что Он охотник и любит выслеживать зверя и птицу. Меня же пока на охоту не берут. Стало быть, Он старше меня. Сходить бы с Ним на охоту, подумал я. Его-то уж удача, наверное, не минует. И весело поздоровался с Ним.

Отец опустил меня на пол.

И мы исполнили первый обряд приветствия.

. . . .

. . . .

. . . .

Потом повернулись по солнцу и уселись на оленьи шкуры на полу. Отец негромко стал разговаривать с Хозяевами терема. То он обращался к нашей Матери-Хозяйке Реки, то к Старику, то к их Сыну.

Отец просил в основном здоровье и удачу.

Я сидел на мягкой и чистой шкуре и оглядывал терем и его Обитателей. Они восседали на широкой полке вдоль передней стены. Справа от меня величественная Матерь-Покровительница. По Ее десницу Урман-Старик, рядом с Ним — Божий Сын, возле которого в углу угнездились стрелы. На Их коленях возвышается ровная гора самых разноцветных тканей. Дары гостей, понял я.

Между тем Отец закончил беседу. Мы повернулись по солнцу, и он подвел меня к выходу. Выходили по обряду: лицом внутрь терема. И по лестнице с семью ступенями-зарубками, на которых лежали монеты, спустились на землю.

Мама исполняла обряд приветствия возле костра, на улице. Женщинам нельзя было приближаться к терему. Только малышей, моих младших сестриц, Отец на руках сносил поздороваться с Хозяйкой нашего рода и Реки.

Была зима.

И возле терема было свежо.

Было чисто и бело.

Было тихо.

Ни одна иголочка не шелохнется на священных соснах.

И казалось, все наши слова и молитвы беспрепятственно доходили до Хозяйки Реки, до Ее Небесного Отца, до всех больших и малых Богов Семи Слоев Небес и Семи Слоев Земли.

А вскоре перед теремом на высокой полке о четырех столбах задымились кружки с горячим чаем и блюдца со скромными таежными яствами. Пар струился прямо в небо. Это хороший знак. Я уже по словам взрослых знал, что Боги берут только дух пищи и питья. Кроме этого, им ничего не нужно. Поэтому на праздник старались готовить все погорячее. С паром, с духом.

Отец встал перед высокой полкой и, скинув капюшон малицы, устремив взор на открытую дверь терема, громко и торжественно, полным голосом начал призывать за праздничный стол Матери-Покровительницы всех Богов, которых он знал поименно.

Слушали все: и белые снега, и безмолвные сосны, и люди, и Боги.

Так начался праздник.

И мы приступили к исполнению главного обряда.

. . . .

. . . .

. . . .

Отец все призывал таинственных Гостей. И просил у Них здоровье и удачу. Здоровье и удачу для своих детей, для Мамы, для своего Дома, для себя. И его слова уходили в открытую дверь терема, в небеса и в сосны, в белые снега, во все стороны горизонта. И во всех нас появилась уверенность, что мы будем здоровы и удачливы. Что наш Дом станет сеять только добрые вести, только славные вести. Что Отец каждый раз возвратится с добычей и с речных запоров, и со следа крылатой птицы, и со следа ногастого зверя...

Мы сделали небольшую паузу, присели пред праздничным столом. Подождаем тех, Кто запаздывает, Кто спешит к нам издалека. Ведь на праздник Кто-то летит, Кто-то едет, Кто-то идет пешком. Скорости у всех разные, поэтому нужна остановка, пауза, чтобы подоспели опаздывающие.

Выждав некоторое время и обменявшись десятком фраз, мы встали и неторопливо завершили обряд.

Повернулись по солнцу.

В костер подложили сухие дрова — и весело заиграл огонь.

Поговорили о том о сем. Потом опустили на землю полку-стол и неторопливо сели за трапезу.

Отец за столом припоминал разные истории из жизни Богов.

А я думал о Матери-Покровительнице. Я уже знал, что у Нее есть Отец — Нум Торум, Верховный Бог. А мама Ее — это Сидящая Матерь, или Земля-Богиня. В древние-задревние времена Она жила на небе в доме своего Верховного Отца. И пред самым зарождением человеческой жизни родители отправили Ее на нашу Реку. Чтобы Она оберегала воды. Оберегала земли. Оберегала леса. Оберегала людей. На среднем течении нашей Реки Она встретила спутника жизни Вонт-Ики и обосновалась здесь на Священном Бору.

Так Она стала Матерью-Покровительницей нашего рода.

Так Она стала Матерью-Покровительницей нашей Реки.

Ее терем открыт для всех. К Ней может прийти каждый народ, каждый человек, каждый гость. Но только с мужчиной из нашего рода. И когда мужчина рода уходит из жизни, Она полностью обновляется. На новом месте. В новом тереме. Среди новых священных сосен. Но на этом же Священном Бору.

В Священном Бору все священно. И деревья, и мхи-травы, и ягель, и вода в Божественном Ручье, и вода в Урии Божественного Ручья, впадающем в Главную Реку. И поэтому Мама строго-настрого наставляла, чтобы без надобности я не сорвал здесь ни одной веточки, ни одной хвоинки и листка со священных деревьев. Все священно...

После трапезы мы еще немного побыли у костра. Посидели, поговорили. Потом исполнили обряд прощания.

. . . .

. . . .

. . . .

И собрались домой.

Короткий зимний день подходил к концу.

Спускались сумерки.

Я сидел за спиной отца, слушал скрип полозьев и смотрел на сосны Священного Бора. Душа моя ликовала и пела. Весь я наполнился неизъяснимой бодростью. И народилась во мне вера, что вечными на этом свете являются наша Матерь-Покровительница, Священный Бор, Божественный Ручей, Мама и Папа, мои сестры и я сам. Я был счастлив. И это счастье распирало меня.

Мы часто ездили к Матери-Покровительнице.

Разумеется, тайком от красных.

Ездили весной, когда Священный Бор скидывал зимний наряд и в нем было особенно чудесно и свежо.

Ездили летом, когда в соснах Священного Бора висела таинственная первозданная тишина.

Ездили осенью, когда Священный Бор покрывался сочной брусникой и в суровом предзимье становился чутким и трепетным.

Ездили зимой, когда Священный Бор дремал под снегами, но все видел и слышал.

И каждый раз я наполнялся теплом, добром и неизъяснимой силой. Немного позднее понял: это же получали здесь и все мои сородичи, люди нашей Реки. Понял и другое. Пока жив мой народ, пока жив наш род, пока жив я, пока жив хоть один мужчина рода, будет жива и наша вечно обновляющаяся и заново нарождающаяся Матерь-Покровительница...

МОЙ БОГ-ХРАНИТЕЛЬ

И у меня есть Бог-Хранитель. У Него много имен, зовут Его по-разному.

«Тот, Кто Где-то Рядом».

«Быстро Ездящий Старик».

«Золотой Царь-Старик»...

Но особенно часто Его вспоминают по имени «Тот, Кто Где-то Рядом»...

Он хранит меня от всех невзгод. И, охраняя-защищая, ведет меня по жизненной тропе.

На всех празднествах в честь Домашних Богов Отец в молитвах-приглашениях всегда напоминал обо мне:

— О-о-о, Тот, Кто Где-то Рядом,
Не тебе посвященного Романа
Уговок Своего она держи!..
Прекрасной Луны, прекрасного Солнца
Ему определи!..
Прекрасной Луны, прекрасного Солнца
Ему пошли!..

Отец делал многозначительную паузу. Словно выжидал, чтобы его слова-молитвы без всяких помех дошли до слуха моего Верховного Хранителя. Потом, обведя взглядом весь дом, Отец добавлял:

— О-о-о, Тот, Кто Где-то Рядом,
Ты тоже сюда сисэмта,
Ты тоже сюда волэмта![5]
Мы все на Тебя сидим,
Мы все на Тебя живем!..

После Отец приглашал других Богов и Богинь Неба и Земли. Среди них и Богини-Хранительницы всех моих сестер и Мамы. У нас у каждого свой Хранитель-Бог. У женщин — Богини. У мужчин — Боги. Сейчас, вполуха слушая Отца, я думал о своем Покровителе. По сказкам и мифам я знал, что Он младший сын нашего Верховного Бога Нум Торума. У Него есть семь родных сестер и шесть родных братьев. Сам Он седьмой, самый младший.

В древние-задревние времена, когда еще на земле не было людей, Он жил на соседней реке Вах. Жил на вершине высокой сопки, на вершине высокой горы. Жил в доме-тереме, который сам Он построил. Ловил рыбу. Охотился на гусей. Охотился на глухарей и белок. Охотился на соболей.

Он был удачливым охотником. Однажды взял след шестиногого лося. Но лось о шести ногах оказался таким быстрым, что стрела не могла достать его. И тогда Тот, Кто Где-то Рядом сказал лосю: «Если я тебя не догоню, то в пору зарождения кедровой шишке подобной куклы, в пору зарождения сосновой шишке подобной куклы[6] кто ж тебя догонит?!» И Он долго-долго, по всей земле, гнал шестиногого. И наконец, догнав, обрубил лосю задние ноги вместе с туловищем. С тех времен лоси стали ходить на четырех ногах. А следы от лыж-подволок Бога-охотника — две идущие рядом светлые полосы — отпечатались на звездном небе, и люди стали называть их Млечным Путем.

«Будь лоси на шести ногах — ни один земной охотник не догнал бы их, — заметил Отец. — Ни один земной охотник не добыл бы их».

Плавал Он по рекам, ловил рыбу.

В те времена в низовье Агана, недалеко от устья, почти на всю ширину реки лежал подводный мамонт-чудовище Утки-Морянки. Мамонт-чудовище мог сушу превратить в воду, а воду — в сушу. Тот, Кто Где-то Рядом на этом лежбище мамонта-чудовища нырнул с одного берега и как ни в чем не бывало вынырнул возле другого.

Так Он жил на земле.

Был Он большим озорником. Сказывают старики, озорства ради решил Он испытать свою силу. Поднялся на вершину высокой каменной горы и взялся руками за небосвод. Ноги Его по колени ушли в камень, но движение Неба Он остановил. Остановилось Солнце. Остановилась Луна. Остановилась Вселенная.

[5] Слова «сисэмта» и «волэмта» употребляются только в самом высоком стиле в отношении Богов и означают приблизительно «явись, струей воды прихлынь».

[6] «Кедровой шишке подобная кукла, сосновой шишке подобная кукла» — так иносказательно называют первопюдей на земле.

Остановилась жизнь. Почувствовав неладное, Верховный Бог-Отец вышел из Небесного Дома. Смотрит, Младший Сын держит небосвод. Увидев Отца, тотчас же Сын отпустил небосвод и накинул на плечи родителя соболью шубу, а на голову опустил соболью шапку. Знал, озорник, на что шел. Знал, озорник, чем Верховного Отца умилостивить. Старый Бог будто бы только усмехнулся и молча в свой Небесный Дом удалился.

Так Он жил на земле.

Охотился.

Ловил рыбу.

Озорничал.

Ходил по тропе войны.

Строил дома-теремы.

Влюблялся в богинь.

Многое вокруг напоминает о Нем. Я смотрю на елку. Это самое высокое дерево на наших землях. Сказывают, когда-то в древние-задревние времена Он взял елку за макушку и вытянул к небу. С тех пор елка стала главенствовать над всеми деревьями в лесу. С тех пор она тянется к Солнцу. А на самой ее верхушке ровная, без боковых отростков-ветвей, похожая на рукоятку, заросшая иглами кисть — за нее мой Бог-Хранитель вытягивал елку в небесную высь. Осталась лишь отметка от Его руки.

На свете Он самый скорый, самый быстрый. Мгновенье — и Он здесь. Мгновенье — и нет Его. Он уже на другом конце Земли. Мгновенье — и Он в небесах. Иначе Ему нельзя. Ведь в мгновенье ока, как только подумали о Нем, — должен прийти на помощь человеку. Поэтому и дали второе имя «Быстро Ездящий Старик»...

Как Он ездил?!

Как Он летал?!

Сверкнет белым золотом — Он здесь. Сверкнет черным золотом — Его нет. Озарятся небеса живым золотом — значит, Он там. Посыплется золотой огонь с небесной выси — это Его след, говорят люди. Сам Он уже за Шестое Небо, за Седьмое Небо вознесся, а след оставил для людского ока, людской молвы...

Он самый младший в семье. И я вижу Его вечно молодым и озорным. Я знаю: Он Бог, а Боги не стареют. Просто люди из уважения добавили к Его имени слово «старик»...

Он жил на земле в древние-задревние времена. До появления кедровой шишке подобной куклы. До появления сосновой шишке подобной куклы. Он жил здесь в ту пору, когда земля населена была богами. Потом Он ушел на Небо. И Верховный Отец поручил Ему охранять Землю и Людей Земли. И теперь по небу, на коне, объезжает Землю. Смотрит, все ли в порядке, все ли ладно у Людей Земли, не нуждается ли кто в его помощи... Он все видит. Он все слышит. Он всегда «Где-то Рядом» с человеком. Он всегда «Где-то Рядом» со мной. Я это чувствую. Возможно, Он в реках и озерах. В океанах и морях. В урманах и болотах. В травах и деревьях. Словом, всюду вокруг...

Вот таков Тот, Кто Где-то Рядом — мой Хранитель, мой Покровитель. Меня еще младенцем посвятили Ему. Он хранит мою душу. И, защищая-охраняя от всех невзгод, защищая-охраняя от всех нечистых сил, ведет меня по жизненной тропе. С таким всемогущим и молниеносным Покровителем мне уготована удачливая и хорошая жизнь. Ведь в любую трудную минуту, как только о Нем я подумаю, — в мгновенье ока Он придет на помощь. Стало быть, только вовремя Его нужно позвать.

В это я свято верил во младенчестве.

Верил в детстве и в отрочестве.

И верю теперь.

ЗОЛОТАЯ БОГИНЯ ДОМА

Когда Отец был в отъезде и мы оставались одни, вечером, укладываясь спать, Мама говорила нам:

— Спите спокойно, с нами Огонь-Матерь...

Но Огня я не видел. Лампу на ночь тушили — берегли керосин. Гас и Огонь в чувале. И дом наш к утру довольно крепко выстывал. Бывало, в холодные ночи питьевая вода в куженьках покрывалась корочкой льда. Зная это, с вечера Мама укрывала меня с сестрами лучшими меховыми ягушками.

Вроде бы ночью Огня в доме не было. И на мой недоуменный вопрос Мама ответила:

— Ты не видишь Огонь-Матерь...

— Почему?

— Я укладываю ее, когда ты уже в постели...

— Ты Огонь укладываешь спать?

— Да.

— А как это ты делаешь?

— Дождись вечера, посмотришь.

— Ладно, — согласился я.

Почему это я ни разу не видел, как Огонь укладывается спать, подумал я. Впрочем, это было не мудрено. Ведь когда я засыпал, Мама еще бодрствовала. Она вечно что-то делала, никогда без дела не сидела: то шила, то выделывала шкуры, то плела нити из сухожилий оленя или лося. Утром же, просыпаясь, видел, как она хлопотала по дому. Было такое впечатление, будто она не ложилась спать.

Вечером я сел у чувала и стал дожидаться, когда Мама управится со всеми делами по дому и уложит спать Огонь очага.

— Сейчас уложу Огонь, — сказала наконец Мама.

Я придвинулся поближе к чувалу.

Мама взяла обугленную палку-кочергу и осторожно разгребла золу чувала, затем собрала в эту ямку огненно-красные угли и небольшие головешки с огнем и, ласково глядя на них, тихо попросила:

О-о, милая Огонь-Матерь,
Наши души-плоти
Охраняя-защищая,
Живи...

И медленно закрыла золой сверху угли с живым Огнем. Потом поправила головни у стенки чувала.

— Все, теперь мы с Огнем, — сказала Мама.

— Огонь не погасиет? — удивился я.

— Огонь в золе до утра будет жить...

— Да. А потом что?

— Утром ночевавший в золе Огонь обязательно нужно поднять.

— Почему?

— Так наши предки делали. Если Огонь уложил спать, то утром разбудить нужно.

— Я увижу это?

— Вставай пораньше — и все увидишь...

Наверное, в этот вечер я заснул сразу же, как только добрался до постели. Ведь я был уверен, что в доме, где ночевал живой Огонь, никто не посмеет обидеть меня. Никто не посмеет тронуть меня. Хотя Отца дома нет, но зато есть Огонь-Матерь, защищающая нас от всех неведомых темных сил. Так, возможно, думали и мои сестры. Им тоже спокойно спалось в доме с живым Огнем, в доме под добрым крылом Огня-Матери. И Мама была довольна тем, что ночные духи-нечисти обходили стороной ее дом и детей.

Утром, едва открыв глаза, я вскочил и поспешил к чувалу. Мама уже хлопотала возле очага. Она разгребла кочергой золу, вывернула остатки вчерашних огненных углей и головешек. Только черно-серый пепел увидел я. И больше — ничего. А Мама все тихонько ворошила золу. И наконец из самой глубины, из затаенного уголка ямки-ложа, выискала несколько огненных искорок Огня.

Жив Огонь очага.

Мы все невольно улыбнулись.

И загудело веселое пламя в чувале.
Из маленькой искорки переночевавшего в золе Огня.
Сколько надежд вселяла в нас Золотая Богиня дома!..
Сколько надежд она оправдала!..
О-о, Золотая Богиня Дома,
Наши души-плоти
Охраняя-защищая,
Живи!..

УГЛЕГОЛОВЫЙ ЧЕЛОВЕК

Отец уехал в поселок. Мы остались одни. Каждое утро, просыпаясь, я спрашивал Маму:

— Папа сегодня приедет?

— Не знаю, — отвечала Мама. — Вряд ли приедет. Еще рано...

— Тогда я сделаю Углеголового Человека, — сказал я.

— Ну, делай, — не очень охотно разрешила Мама — ей не нравится, когда слишком часто беспокоят священный огонь чувала-очага.

— Я спрошу его только про Папу, — сказал я.

— Спроси-спроси, может, он что знает, — кивнула Мама.

— Углеголовый Человек все должен знать, — уверил я Маму.

И я принялся делать Углеголового Человека.

А делается он так.

Я взял сосновое полено, отщепнул от него лучину. Разломил ее посередине — получились две палочки. Одну отложил в сторону, а другую острогал со всех сторон, а концы заострил. Потом ближе к нижнему концу сделал талию — стружки ровным кольцом оставил на «теле» ниже пояса. На заостренную макушку насадил уголек — это голова.

Так родился Углеголовый Человек.

Я поставил его перед огнем чувала, в песок. Теперь он стал как бы нашим домом. И от него я начал рисовать палочкой пути-дороги, ведущие во все стороны света. При этом я говорил ему:

— Человек С Угольной Головой, вот это дорога вверх — туда уехал мой Папа. Вот это дорога вниз, ведет к нижнему поселку Аган. Там, в низовье, живет наша старшая сестра. Вот это дорога на болото, на Окуней Черпающую Речку. Там у нас морды стоят. Папа часто привозит оттуда окуней и щук. Вот это тропа на пастбище. Там наши олени пасутся, туда они вечером уходят. Вот это Прорубная дорога. Там на озерке прорубь, оттуда мы воду привозим. Вот это тропа до собак. Там наш пес Харко в собачьем домике живет...

Вот, кажется, все тропы-дороги, что начинаются с нашего дома. О них должен знать Углеголовый Человек. И теперь я прошу его:

— Человек с Угольной Головой, свой глаз по верхней дороге пошли. Узнай, приедет ли сегодня мой Папа...

С этими словами кончиком щепки беру огонь очага и поджигаю стружки-поясок Углеголового Человека. Пламя охватывает его с пояса до угольной головки. Сейчас он узнает, когда мой Папа вернется домой...

Когда Отец уезжал куда-то, мы всегда ждали его с нетерпением. Особенно из поселка. Ведь он привозил привет от старшей сестры Лизы, которую с осени забирали в школу-интернат. По ней мы очень скучали. Она присылала нам маленький кулечек конфет, красивые цветные бумажки или кусочки фольги и другие небольшие подарки, которыми мы играли с младшими сестрами. Отец расскажет, как там старшенькая живет и учится, какие слова она просила нам передать. Слушая его, Мама обязательно всплакнет. Видно, она больше всех скучает по старшей дочке.

Отец привезет всем гостинцы и разные новости. Как люди живут, какого зверя-птицу добывают. Кто и с кем породнился. Кто недавно пришел на нашу Землю, а кто оставил ее...

А Человек С Угольной Головой в пламени вращает черной головкой. Это он так шаманит, говорила Мама. Округу осматривает, глаз по всем дорогам отправляет, узнает, с какой стороны гость приедет. Ведь когда долго не бывает гостей, я делаю Углеголового Человека, рисую на песке тропы-дороги и, поджигая, прошу его:

— Посмотри, не едет ли к нам путник-гость?

Правда, он иногда указывает на собачью тропу. Это значит, не жди в этот день путника-гостя. Разве что наш пес Харко отвяжется и прибежит домой. Но это случается очень редко. И к тому же какой он гость? Он хозяин.

А шейка Углеголового Человека малиново накалилась. И он так же водит головой, как и мой крестный отец Ефрем, когда тот шаманит и кивает в такт бубну. Потом он замирает. И я, затаив дыхание, замираю вместе с ним. И, наконец, он падает в ту сторону, куда была наклонена угольная головка. В сторону болота, в бездорожье.

Я смотрю на останки своего пророка и молчу. Мне все понятно, все ясно. Мама, сидящая с шитьем в ближнем к чувалу углу, спрашивает:

— Ну, что тебе сказал Человек с Угольной Головой?

— Он сегодня Отца не видит, — отвечаю я.

— Может, Отец ночью будет ехать и к утру следующего дня доберется до дому, — говорит Мама, как бы успокаивая меня.

— Тогда надо сделать нового Углеголового Человека, — предложил я.

— Зачем?

— Пусть он пошлет глаз в завтра.

— Да вряд ли он увидит завтрашний день... — засомневалась Мама.

— Не дойдет его глаз до завтра?

— Пожалуй, да.

— Ладно, завтра его снова спрошу про Отца, — соглашаюсь я и отдаю огню очага то, что осталось от Углеголового.

Вечером я засыпаю с мыслью, что утром сделаю нового Человека С Угольной Головой, который упадет на дорогу, приводящую Отца в дом. Так он предскажет приезд Отца, предскажет будущее, заглянет на день вперед. Всего только на один день. И вдохнет в меня и в наш дом надежду...

Теперь мне жаль, что в моем доме нет чувала и нет живого огня. И мои дети не могут сделать Человека С Угольной Головой и спросить его о моем возвращении из дальних путей-дорог.

РАЗВЕИВАЮЩИЙ ЗОЛУ

Старик-Мороз надолго обложил наш дом холодами. Холода стояли неделю. Может быть, две недели. А, возможно, и больше. Мне казалось, что холода стояли только вокруг нашего дома. Стояли и зорко следили, чтобы к нам оттепель не пришла. Когда они совсем надоели и всем стало невмоготу, Мама предложила:

— Золу огня надо развеять, оттепель попросить...

— А в нашем доме есть кому золу выносить? — живо откликнулся Отец.

— Поищем... — сказала Мама.

— Кто у нас в оттепель на Землю пришел?

— Кто? Старшенькая, Лиза, пришла к нам в середине зимы, в самые холода...

— Да, ей нельзя. Она оттепели не дозовется. Наоборот, могут еще больше холода прийти.

— Средняя дочка, Даша, пришла к нам в Месяц Голых Деревьев, осень была. Но тогда еще снег не выпал...

— Да к тому же она мала еще — куженечку с золой до улицы не донесет.

— Вот младшая, Оля, весной к нам пришла, снег еще лежал. Она могла бы оттепель попросить...

— Она могла бы холод укротить, — согласился Отец.

— Вырастет — оттепель нам попросит...

Мама сидела с шитьем. За кожаный ремешок, привязанный к ноге, она качнула люльку со спящей моей младшей сестрой.

Отец строгал основы к новым подволокам[7]. Видно, холода ему тоже порядком надоели. На охоту не пойдешь — снег слишком «шумный», к лисе или песцу не подберешься. Что ни задень — все звенит, хрустит, шумит. На рыбалку ходить тоже нет смысла — все леденеет-замерзает на ходу. Поездки по разным делам? Оленей жалко. В сильный мороз у них «дыхание короткое». К тому же в такую погоду они очень быстро «теряют мясо», то есть тощают. Их беречь надо. Мало у нас оленей — в хорошую-то погоду на полные упряжки не хватает.

Поэтому Отец никуда не ездит, занимается домашними делами. Почти каждый день он помогает Маме заготовлять дрова. Ведь огонь в чувале у нас горит теперь с утра до вечера. Огню много «пищи» нужно.

Огонь в чувале гудит ровно и басовито. Я прислушивался к его голосу. Мне казалось, что он иногда ворчал на Старика-Мороза: когда ты отступишь от нашего дома? Вон, спина и бока Чувала стали огненными, как я, Огонь. Если ты не отступишь, скоро же они начнут осыпаться. Слышишь ли, видишь ли это, Старик-Мороз?..

Но в открытую в доме никто не бранил Старика-Мороза. Все понимали, что середина зимы — это его время, теперь он хозяин. Ругай не ругай, а как считает нужным, так и делает.

Я молча слушал разговор Отца и Матери о золе и оттепели. Значит, есть способ, как убавить мороз, как вызвать оттепель. Только нужен человек, который смог бы это сделать. Раньше я ничего подобного не слышал. Оказывается, и с холодом, если он всем надоел, можно справиться, можно прогнать его. И я конечно же заинтересовался, предложил:

— Я могу развеять золу. Разве мне нельзя?

— Но ты же родился летом, в самый длинный день, — сказала Мама.

— Значит, мне нельзя?

— Золу должен развеять тот, кто родился в оттепель, — пояснила Мама.

— Только в оттепель? Только зимой?

— Желательно при снеге. Может, весной, может, осенью. Словом, оттепельный человек должен вызывать оттепель.

— А я, значит, летний?

— Летний.

— Значит, слишком теплый?

— Да.

Я призадумался. Стало быть, если я развею золу, то станет чересчур тепло. Может быть, даже лето наступит. Но посреди зимы вряд ли лето придет. Лето не посмеет сунуться в зиму. Тогда что же? Наступит слякотная пора? Но лучше несколько дней слякоти, чем бесконечный холод. В большой мороз меня не пускают поиграть на улице. Даже помогать Маме, носить колотые дрова, мне не разрешают. Говорят, двери долго открытыми держу, в дом много холода напускаю, сестер заморожу. Так что потепления я давно жду. Поэтому сказал:

— Раз некому, может, мне все-таки попробовать развеять золу?

— Можно, конечно, — согласился Отец.

— А если слишком станет тепло, то пусть сестра Лиза вынесет золу и попросит немного мороза, — придумал я уловку, чтобы оправдать свое желание.

— Ладно, — сказала Мама. — Будешь сегодня Развеивающим Золу, просителем оттепели.

Мама в небольшую куженьку набрала золы из топки чувала и отдала мне. Но одного меня не отпустили — вдруг куда в сугроб завалюсь. Пошли с Мамой. Она прихватила «собачий котел», чтобы заодно покормить нашего Харко.

На улице, над нашим домом, висела удивительная тишина. Лишь скупой лучик грустного зимнего солнца тихонько звенел от холода в морозном воздухе. Да Харко, увидев нас, выскочил из конуры и загремел цепью. Как водится, он

[7] Подволоки — охотничьи лыжи, подбитые снизу шкурой.

скавал «ав-вав» и лизнул меня в щеку. Потом, тряхнув белой густой шерстью, он набросился на еду. Он был весел, и казалось, только ему одному все морозы нипочем. Правда, когда пришли большие холода, я предлагал забрать его домой. Но Мама сказала: «Какой же он пес, если с людьми начнет жить? У него свой дом есть...» Так он и живет всю зиму в своем домике на травяной подстилке.

А золу надо развеять на чистом месте, сказала Мама. И при этом, как и наши предки в старину, нужно говорить такие слова:

Мороз — прочь, прочь, прочь!
Я — оттепельный человек.
Оттепель — ко мне, ко мне, ко мне!..

По тропе, ведущей на пастбище, я прошел за кораль. И там, на чистине, начал высыпать золу с громким призывом:

Мороз — прочь, прочь, прочь!
Я — оттепельный человек,
Оттепель — ко мне, ко мне, ко мне!..

Пока сыпалась зола, я все повторял:

Мороз — прочь, прочь, прочь!
Я — оттепельный человек,
Оттепель — ко мне, ко мне, ко мне!..

Так огонь нашего очага дымчатым хвостом поднимался в небо. Казалось, он согревает всю округу — и мерзлые сосны, и звонкие снега, и дальнее болото, и высокое чистое небо. И, конечно, наш дом.

Возвращаясь с Мамой в дом, я видел, как над нашим чувалом висела белая струйка дыма, уходившая прямо в небо. Подобно дымчатому хвосту золы, казалось, и чувал пытается согреть весь мир, все пространство вокруг.

Через день или два и вправду потеплело — Старик-Мороз отступил. Тогда я был уверен, что это подействовала зола нашего очага. Это она согрела всю округу. Теперь думаю, может, просто пришло время оттепели.

После, когда не стало Мамы, мы зимовали в доме дяди Василя. Там золу развеивали уже другие мои сверстники, которые были ближе к зимним оттепелям, чем я и мои сестры. Теперь же, с годами, мне кажется, я встречаю все меньше оттепельных людей, которые, как в детстве, согревали бы мою душу, моих сородичей, людей Земли и весь окружающий нас мир...

ГОСТЬ БОЛОТНОЙ СТОРОНЫ

Послышался скрип полозьев и хруст снега под копытами оленей. Все в доме оживились. Харко не лает. Значит, свой, хозяин едет.

— Отец приехал, — сказала Мама. — Иди встречай!

Я тотчас накинул на плечи ягушку и выскочил из дома-зимовья.

В свете Луны, низко висевшей за боровыми соснами, в кораль въезжала упряжка Отца. Я побежал ему навстречу, вскочил на правый полоз и проехал несколько шагов до остановки перед домом. На нарту сесть некуда. На ней поклажа, прикрытая кумышом [8].

— Что привез, Папа? — спросил я, когда нарта остановилась и Отец стал распрягать правого пристяжного.

Он ездил проверять морды на Болотную Сторону, на нашу Окуней Черпающую Речку. И обязательно должен что-то привезти. Но ответил он не сразу, помедлил, зубами развязывая недоуздок. Только размотав узел, он неспешно проговорил:

— Рыбу привез.

— А-а, — сказал я. — А какую рыбу?

— Окуней Черпающая Речка только одну рыбу имеет...

— Окуня?

— Окуня.

— А-а, — сказал я. — И больше ничего?

[8] Кумыш — мужская глухая одежда мехом наружу, надеваемая поверх малицы.

Я суетился возле Отца, пытался помочь ему отпустить оленей. Расстегивал костяные пуговки на сбруе, подтягивал лямки к «носам» нарты, куда они укладывались на ночь. От меня, наверное, было мало толку. Но я знал, что отцовским рукам с холода труднее расстегивать лямки, чем моим рукам из теплого дома.

— Зверя привез, — ответил наконец Папа на мой последний вопрос.

— Какого зверя? — встрепенулся я.

— Болотной реки зверя.

— Где он?

Отец, как всегда, не спешил. Сложил лямки и вожжу на нос нарты, потом поднял кумыш, сказал:

— Вот он.

На амдере [9], возле мешка с окунями, поджав лапки, словно во сне, лежал зверь. Отец развязал веревку, связывавшую вещи, поднял его на руки. Я несколько мгновений молча стоял и зачарованно смотрел на зверя. Шубка-сак из темного меха. Короткая усатая мордочка. Хорошо помню усы — торчат в разные стороны. Это длинные волосы влево и вправо. Какой зверь, не ошибиться бы, наверное, соображал я.

— Ну, чего стоишь, — сказал Отец. — С гостем поздоровайся!

Я подошел ближе, прикоснулся рукой к темной шее зверя и чмокнул его в мордочку возле черного пятачка носа.

И тут я загорелся тихой радостью. Я заулыбался. Глаза мои, наверное, заблестели, заискрились.

— Понесу? В дом я понесу? — спросил я Отца.

— Погоди, — сказал Отец. — Без одежды его нельзя в дом вносить.

— Какая одежда нужна?

— Сак или малица. Или другая какая одежда...

Я мигом слетал в дом, принес ягушку. В нее, как человека, завернули зверя. Из ворота торчала лишь мордочка.

— Ну, донесешь ли? — спросил Отец.

— Попробую, — бодро сказал я.

Я взял в охапку гостя и засеменил в дом. Но, однако, через несколько шагов почувствовал, что ноша моя сползает вниз — в руках остается пустая ягушка. Тяжеловат для меня гость. Но Отец, видно, предвидел это. Он оказался рядом и не дал зверю прикоснуться к земле — подхватил и помог мне внести в дом. В доме положили его в большую чистую куженьку.

Мама оглядела гостя и поздоровалась с ним — тоже чмокнула его в мордочку.

Обряд приветствия мне понравился. И я поманил к куженьке сестренку Дашу. Она с любопытством и опаской глянула на зверя, а вплотную подходить не стала. Тогда я притянул ее поближе и ткнул носиком в зверя, сказал:

— Поздоровайся с Гостем! Это — Гость!..

Видно, торчащие жесткие усы укололи ее, она оттолкнулась от куженьки и сказала:

— Кака... — и, опираясь ручкой о край нары, поспешила к Маме в сторону чувала.

— Он хороший, он не кака! — возразил я сестре, поглаживая его шею и спину.

Я немного испугался как бы он не обиделся. Если он обидится, то больше в наш дом не придет. Нужно, чтобы он хорошо думал о нас. Но Мама успокоила меня, сказала, что он на неразумных малышей не обижается.

Весь вечер я ходил вокруг Гостя Болотной Стороны. Разговаривал с ним, поглаживал его темную шубку, поправлял лапки и усы. Вполуха слышал, как Мама с тревогой в голосе спросила Папу:

— Как ты его добыл?

— Луком. Луком-самострелом, — ответил Отец.

— А-а, — с облегчением вздохнула Мама.

[9] Амдер — шкура-подстилка на сиденье нарты.

Отец стал рассказывать, где и как насторожил лук-самострел, по каким лункам, какими путями-тропами ходил зверь.

Как я узнал впоследствии, одна из самых печальных примет — это выдра в морде. Она попадается туда редко. Но если попалась — значит, к кончине человека.

Потом пришло время — и я уснул. Утром, проснувшись, я тотчас же вспомнил про вечернего Гостя Болотной Стороны. Но он уже снял свою шубку. Под потолком лежал на перекладинах-вешалах, сушился в правилах.

Мама говорила мне, что честь у него очень большая. Поэтому ни одна его косточка не должна попасть к нашему псу Харко. Все отвезут в лес, в чистое место. В доме останутся лишь его хвост и голова. По древнему обычаю, я старательно зачернил углем его макушку. Это чтобы спустя многие-многие дни он с новым мехом, с темным, как уголь, мехом еще раз навестил наш дом...

СОРОКА СТРЕКОЧЕТ

Сороку в нашем селении не любили. Поэтому зимой, когда она прилетала к нашему дому, я не прочь был запустить в нее палку или ком снега. Она, видно, знала, что ее недолюбливают, — человека близко к себе не подпускала, всегда недоверчиво косилась на меня. И я никогда не попадал в нее. Обычно, хохотнув надо мной, она взлетала и садилась на жердину кораля. Оттуда, повертевшись немного, перескакивала на колышек кораля, а потом снова на жердину. При этом она все посмеивалась, похохатывала надо мной, будто дразнилась:

Иди, догони, поймай меня!.. Иди, догони, поймай меня!..

А потом, как бы подводя итог, разражалась смехом-стрекотом:

Черта с два догонишь!.. Черта с два поймаешь!..

И взлетала на сосну или совсем улетала куда-то в бор.

Но я на нее нисколько не обижался. Наоборот, она забавляла меня своими скоками-поскоками и беззаботным ворчанием-хохотом. Особенно зимой, если мы жили одни и мне не с кем играть на улице. Сорока, как товарищ по игре, разговаривала со мной, развлекала меня.

Вернувшись в дом, я начинал расспрашивать Маму:

— Почему сороку все недолюбливают?

— Потому что она болтлива, — сказала Мама.

— А еще почему?

— Потому что нескромна.

— Еще почему?

— Легкомысленна — без причины хохочет.

— Ну, а еще почему?

— А разве тебе этого мало? — спрашивала Мама.

Я призадумался: мало это или много? Болтлива, нескромна, легкомысленна. Может быть, и немало. Детей, которые много и бестолково шумели, останавливали словами: «Не трещите, как сороки!»

Кому хочется быть сорокой? Никому.

Кому хочется быть нескромным и легкомысленным? Никому.

А в колхозные времена, когда вынуждали поклоняться каждой бумажке и говорили по всякому поводу «заявление пиши», старики нашей Реки по-своему перевели это слово по созвучию. «Заяв-ление» — значит «сев-лонн». «Сев» — сорока, «лонн» — выемка, щербина, пустота. То, чего нет. Стали говорить: «Сев лонн пиши!» Получалось — «сорочью выемку, сорочью пустоту пиши!»

Кому хочется быть сорочьей пустотой? Никому, конечно.

Поразмыслив немного, я спросил Маму:

— Значит, от сороки никакой пользы нет?

— Почему же нет?.. Кое-что она знает.

— Что именно знает?

— Может, по словам наших предков, приезд гостей предсказать.

— А как предсказывает?

— Возле дома начинает трещать-стрекотать.

— Надо посмотреть за ней, правда ли это, — сказал я.

— Понаблюдай за ней, узнаешь, правда ли это, — проговорила Мама, не откладывая своего шитья.

Но дом наш стоял в стороне от Царской дороги, и гости к нам заезжали не часто. И сорока где-то носилась по своим сорочьим делам, не навязывалась нам со своими пророчествами. Так в ту пору, помнится, мне не удалось убедиться в том, что сорока предсказывает приезд гостя или любого постороннего путника.

После, спустя многие годы, из города я поехал на свою родину, к Старику-Отцу. В Верхнем поселке, куда я прилетел на самолете, мне дали упряжку оленей, и по знакомой Царской дороге я поехал в родное селение. Переехав нашу родовую реку Юхан-Ягун, справа, среди редких сосен я увидел зимний дом. Как тут мимо проедешь, коль, предупреждая хозяев, залаяла собака? И я завернул к дому.

В корале меня встретил мой троюродный брат Михаил. Тут же вышла из дома его жена Федосья, моя сноха.

— О, гость из города, — сказал брат Михаил. — Заходи в дом, нельзя тебе без чая уезжать.

Я привязал вожжу к нарте. Тем более что до Отца тут оставалось совсем немного — меньше долготы одного оленя.

В доме поговорили о новостях, о житье-бытье, о том о сем.

Наливая мне чай, сноха Федосья сказала:

— О приезде дальнего гостя я узнала с самого утра. То есть о твоем приезде.

— Каким образом узнала?

— Утром я уличную печь затопила, чтобы хлеб испечь. Тут сорока прилетела. Вот весь день и стрекотала она вокруг меня. Я твоему брату сказала — гость будет. Притом дальний.

— Да, было такое дело, — подтвердил брат Михаил.

— А как узнали, что дальний? — заинтересовался я.

— Как? Да уж больно настойчиво и долго стрекотала сорока, — улыбнулась сноха. — Это же старая примета хантов...

— А ближних гостей она не предсказывает?

— Ну, к ближним гостям она вообще может к дому не прилететь. А если и прилетит, так может молча скакать по коралю. Или стрекотнет раз-два и замолчит.

— Все предсказывает, совсем как шаман, — улыбнулся я.

— Женский шаман, — пошутил брат. — Только для женщин все узнает...

— Шутите, — сказала сноха мне. — А сорока перед самым твоим приездом порхала возле хлебной печки. Может, и сейчас еще не улетела...

И точно, когда после чая мы вышли на улицу, сорока скакала по верхней жердине кораля у хлебной печки. Сейчас она молчала, скосив озорные бусинки глаз на хозяев. Видно, была довольна, что ее предсказание сбылось.

— Она? — спросил я.

— Она-она, — подтвердила сноха Федосья.

Я попрощался с хозяевами и тронул упряжку.

Сорока проводила меня до Царской дороги. И, сверкнув ослепительно-белым брюшком и иссиня-черным хвостом, исчезла в соснах. Наверное, вернулась к дому.

Я ехал и думал о сороке.

В городе в наш двор иногда прилетают сороки из ближнего леса. Я наблюдаю за ними из окна. Они скачут, подбирают крошки, садятся на крыши. Наверное, они стрекочут, переговариваются о чем-то между собой. Через стекло я не слышу их голоса: они, городские, будто немые...

Я с грустью смотрю на них.

Смотрю с грустью потому, что, как в детстве, они не могут предсказать, когда в мой дом придут желанные гости. Те, лесные, были прозорливее и милее моему сердцу...

ПОРСА

Вспомнилась мне Нани Нэ, когда в деревянной чаше я толок сушеные кости от копченой рыбы. Сидел и стукал молотком — тук-тук-тук. Легко рассыпались от одного удара рыбьи плавники и головы, но менее податливы хребтины и ребрышки. Сижу — тук-тук-тук, как дятел на сушине. Работа довольно однообразная, и мне быстро наскучивало тюкать. Но знал, что кроме меня это делать некому. Мама целый день то еду готовит, то шьет, то стирает, то сестер моих баюкает, кормит и обмывает. А Папа в лесу — то на охоте, то на рыбалке. Вот и приходилось мне волей-неволей работать молотком. Если не я, то кто же будет помогать моей Маме?! Младшие сестры еще молоток не могут поднять, а старшая в школе-интернате, в поселке.

Для разнообразия придумал что-то вроде игры: по косточкам определял, от какого вида копченой рыбы они остались.

— Это сел, — бормотал я. — Села косточка...

Сел — это самый простой вид копченой рыбы, делается из мелочи. Обычно это чебаки и подъязки. Всего один прорез над хребтиной от головы до хвоста. Потом рыбка вставляется в коптильную желину и коптится вниз головой. Летом я часто наблюдал, как Мама готовила рыбу к копчению. Снимала чешую, вспарывала и одним движением — острием ножа на разделочной доске — делала прорез. Я же нанизывал рыбу на саженную желину. Но больше всего мне нравилось прорезать спинку, да плохо это у меня получалось. Мама охотнее доверяла мне костяной нож из лопатки оленя, которым снимали чешую. Снимать чешую дело нехитрое, считал я. Хотелось научиться тому, чего не умел, что не очень охотно разрешали.

Когда сел коптили, я тоже помогал Маме. Сидел у коптильни и следил за огнем, чтобы он ровно горел по всей длине и ширине навеса. Если где-то пламя подинмалось высоко, я брызгал туда водой из куженьки. Когда старшая сестра Лиза была дома на каникулах, мы вместе с ней сидели у огня. Обычно поджаривали кедровые шишки и рассказывали сказки. А Мама вечно носилась между коптильней и домом. Чаще всего ее отвлекали наши младшие сестры. Но, бывало, Мама приносила чайник, и мы всей семьей располагались вокруг огня. И тогда нам становилось весело. В ожидании горячей рыбы мы шутили и смеялись. Словом, с Мамой было нам хорошо.

Теперь, тюкая молотком, я вспоминал, как сел коптили. И был рад тому, что и я принимал участие в этой заготовке зимних припасов.

— А вот это пуоки, — бормотал я. — Рыбка была покрупнее.

Дело в том, что из рыбы покрупнее — в основном подъязков — готовились пуоки. Голова подъязка отсекалась, а по обоим бокам делалось много различных надрезов и насечек. После рыбины нанизывались на желину и коптились хвостами вниз.

Тут мне ничего почти не разрешали делать. Мол, надрезы нужны точные, а насечки глубокие и ровные. Иначе пуоки невозможно будет есть — останутся костлявыми и не прокопченными.

— Это — пиндер, — говорил я сам себе. — Это была большая рыба...

На пиндер шли крупные язи. Они готовились почти так же, как и пуоки. Но в отличие от пуоки бока пиндера покрывались самыми витиеватыми украшениями, словно подол девичьей ягушки-шубы. Тут было множество таинственных знаков, магических рисунков и орнаментов, сотворенных рукой нашей Матери. Быть может, поэтому за столом рука в первую очередь тянулась к пиндеру. И, возможно, творя эти знаки, Мама вкладывала в них свои молитвы-пожелания, чтобы мы все, принимающие эту пищу, были здоровы, счастливы, веселы. Чтобы всех нас, принимающих эту пищу, обходили стороной болезни, несчастья, печали. И, наконец, чтобы все мы, принимающие эту пищу, были сыты и довольны...

Сижу — тук-тук-тук молотком.

Копченую рыбу укладывали в берестяные короба и уносили в лабаз для продуктов, который находился недалеко от Летнего Селения. Это хранилище имело свое имя — «Протоки Бока Лабаз». Он стоял под большим кедром на

берегу узенькой протоки, по которой бежали к Агану воды Древесного Урия в Древесной Реки. Зимой папа на оленях привозил оттуда короба. Мы с ними довольно быстро расправлялись. Как я заметил, сел и пиндер любили все: и люди, и олени, и наш пес Харко. Оленям, правда, доставались кости. Для Харко, если ему не было другой еды, тоже варили кости в специальном «собачьем котле».

Часть костей Мама приберегала на дне коробов. И вот я сижу, тюкаю молотком эти кости. Получается темно-коричневый порошок — мы называем его «порса».

— Кто придумал порсу? — спрашиваю Маму.

— Наши древние придумали, — отвечает Мама.

— Зачем?

— Когда наступал голод — ели порсу.

— И часто голод приходил?

— Часто ли, не часто ли, но старики рассказывают про такие времена...

— Это когда война бывает?

— И когда война приходит, и когда неурожайный на зверя-птицу год приходит, и когда болезни приходят...

Я все тюкаю потихоньку по дну деревянной чаши. Между делом расспрашиваю Маму:

— А сейчас нам зачем порса?

— В пару к хлебу, в пару к пище, — говорит Мама.

— Война давно закончилась, да?

— Нельзя сказать, чтобы давно...

— Сейчас ведь не время голода?

— Но и не время удачи...

— А какое время?

— Трудное... Еще совсем недавно была норма на хлеб...

Мы немного помолчали. Потом снова заговорили.

— Ладно, — сказал я. — Помогу хлебу!.. Сделаю ему пару!..

Улыбнулась Мама.

— Если устал, — сказала она. — Поиграй, отдохни...

— А завтра что?

— Завтра, если будет у тебя сила, еще порсу побьешь...

Сначала я охотно макал хлеб в порсу и ел. Все-таки новое блюдо. Но вскоре она приелась, видно. Да и на вкус она показалась мне горьковатой. Но Отец, вернувшись вечером с охоты или рыбалки, подвинул к себе миску с порсой и макнул в нее хлеб.

— Это Роман столько порсы набил сегодня, — сказала Мама.

— У него более удачливый день, чем у меня, — улыбнулся Отец.

— Да? — удивилась Мама.

— Я за весь день ничего не добыл, а Роман вон сколько!..

— Верно, — заулыбалась Мама. — У него удачливый день!..

Был я рад, что накормил дом. Был рад тому, что Мама с Папой говорили обо мне как о взрослом. После этого я еще более старательно крошил порсу — тук-тук-тук. Совсем как дятел на кремнистой сухаре. Вспоминалась и Нани Нэ. Если бы слова щедрой Лесной Феи брали верх в жизни, думалось мне, тогда разве пришлось бы мне стучать молотком?!

Все сижу — тук-тук-тук.

Прислушиваюсь к стуку. И улавливаю тихий говор многолетней деревянной чаши и старика-молотка о Лесной Фее Нани Нэ, обо мне и моих близких, о жизни нашего рода и людей Земли.

Чем внимательнее слушаешь — тем больше узнаешь...

БЕЛЫЙ ВОЖАК

Весной, когда колеи дороги потемнели под солнцем и осели, мы покинули зимнюю избушку. Но, не доезжая Осеннего Селения, где обычно все люди нашего рода встречали лето, Отец завернул свою упряжку влево. И на весновку мы остановились на Гриве Малого Яра. Это был пологий склон Домашнего Бора.

смотревший прямо на полдень. Поэтому снег на Гриве давно сошел, и земля быстро прогревалась, и на проталинах заблестели плотные зеленые листочки брусники. А внизу, под горой, длинное кочкастое болото — сор с редкими сосенками. Болото, на сколько хватало глаз, уходило «вверх» и «вниз», то есть на восток и запад — так считали по течению Агана, нашей большой реки.

На болоте к нашему приезду только высокие кочки сняли свои снежные шапки, а в низинах еще белел снег.

Вслед за нами приехали мой крестный отец старец Ефрем и мой дядя Никита с женой. Видно, Отец заранее договорился с ними о совместной весновке на этой Гриве.

Я очень обрадовался новым людям и новому месту. Но особенно был рад крестному — тут теперь на целую весну хватит сказок.

Когда показалась упряжка, которой правил седой старец с откинутым за спину капюшоном малицы, Отец сказал мне:

— Твой Крестный едет...

И я сразу же побежал к старику...

— А-а, здравствуй, мой крестничек! — сказал он, завязывая поводок на первый копыл нарты. — Ну, пойди, мне свое лицо поднеси...

Я подошел, и он, обдав меня крепким запахом табака, кольнул жесткой щетиной в щеку.

— Ох-а, ты уже совсем большой стал, — проговорил он, оглядывая меня. — Наверное, уже зверя-рыбу искать ходишь?

Я помолчал немного, а потом неохотно признался:

— Нет, еще не хожу. Папа не хочет брать меня с собой...

— Это почему же не берет?

— Говорит, мал еще. Подрасти надо немного.

— Ох уж эти взрослые, — вздохнул Крестный. — Вечно что-нибудь придумают...

— Да, да, — кивнул я. — То говорят: холодно, дома сиди. То говорят: слякоть, дома сиди. А летом говорят: комары...

— Ладно, не расстраивайся, — успокоил меня Крестный. — В твоем возрасте время быстро идет. Расти большой!..

После паузы он поинтересовался:

— А лук и стрелы у тебя есть, Роман?

— Есть, — ответил я. — И лук, и стрелы есть.

— Лук и стрелы — это хорошо, — сказал он. — Это совсем хорошо. Значит, вырастешь хорошим охотником...

Потом он достал кисет и начал раскуривать трубку. А я стал осматривать упряжку. Мое внимание сразу же привлек вожак — среднего оленьего роста белый бык. Но чисто белым назвать его, пожалуй, нельзя. Быка словно окунули в болотную трясину, а потом забыли хорошо помыть. И на его белой шубе остались бурые разводы — и на боках, и на спине, и на ногах. И даже на голове и ушах виднелись следы бурой болотной воды.

— Как его зовут? — спросил я.

Крестный взглянул на вожака, пыхнул трубкой, потом неторопливо ответил:

— У него два имени. Одно — Белый. Другое — Вожак.

— Белый Вожак!

— Можно и так, — согласился старик и грустно добавил: — Это мой последний олень...

Тут я показал на среднего и правого пристяжного упряжки и недоверчиво спросил:

— А это чьи олени?

— Это олени моего внука и твоего брата...

Речь шла о Никите, в доме которого зимовал Крестный.

По рассказам взрослых я знал, что у моего Крестного когда-то было на пастбище немало оленей. Его семья могла жить безбедно и каслать большим аргишем[10] с одного места на другое. Вспомнив это, я спросил его:

[10] Каслать большим аргишем — кочевать большой группой упряжек.

— А где твои остальные олени?

— Ушли, — медленно сказал он.

— Куда ушли?

— Куда ушли... — эхом откликнулся он и замолк.

Я понял, что ему не хочется говорить об этом.

Он молча выкурил трубку и принялся распрягать оленей. Чтобы они не разбредались далеко по весеннему насту и первым проталинам, их выпускали с деревянными колодками на передней ноге. Мне хотелось помочь Крестному, и я суетился возле его нарты, разыскал деревянный молоток, подал колодки, прибирал упряжные ремни.

Но когда я принес колодку для Вожака, Крестный без всяких раздумий отложил ее в сторону. Поймав мой вопросительный взгляд, он пояснил:

— Этот старикан и так никуда не уйдет. От оленей и людей...

И он отпустил Вожака без колодки.

Тот, и вправду, далеко не уходил, постоянно был на пастбище, вблизи дома. Вместе с другими оленями приходил к чуму, и, пережевывая жвачку, дремал на теплой проталине возле хозяина. А хозяин, мой Крестный, сидел на своем излюбленном «мастеровом» месте, и руки его непрерывно работали. Он строгал жильник для весеннего запора, плел рыболовные морды, мастерил нарты. И вокруг него вырастала гора вкусно пахнувших стружек. Мне нравилось говорить с Крестным, валяться на свежих стружках, вдыхать их смолистый дух. Белому Вожаку, наверное, тоже нравился запах свежей древесины.

— Два старых опять рядом, — сказала Мама.

— Вдвоем-то веселее, — откликнулась тетя Федосья, жена брата Никиты.

— О чем-то говорят, что-то вспоминают, наверное, — улыбнулся брат Никита.

— Да, им есть что вспомнить, о чем поговорить, — промолвил Отец.

Они и в самом деле словно два старых добрых друга мирно беседовали.

— Устал за зиму, наверное, да? — спрашивал-размышлял человек-старик.

Олень-старик, жуя жвачку, согласно кивал головой.

— Тепло вот пришло, — продолжал человек-старик. — Теперь легче тебе жить. По Гриве ходи, где снега нет. Ягель-то из-под снега вытаял. Вот тебе и пища. По Гриве ходи да ешь...

Старик-олень, прикрыв выразительные большие глаза, все кивал головой.

— Рога свои побыстрей делай, — говорил человек-старик. — В этом году у тебя хорошие рога были. Такие же большие и красивые делай в это лето, чтобы я осенью без труда мог накинуть аркан на твои рога...

Ох, хозяин-старик, лукавишь ведь, размышлял, наверное, олень старик. По осени-то за оленями молодые бегают, твои внуки и правнуки. Ноги у них быстрые, руки ловкие — за десятки шагов аркан набрасывают. Тут не только рогатого, но и безрогого поймают. Оглянуться не успеешь. Знаю я твоих внуков и правнуков. А если хвостатых[11] пустят — так и вовсе никуда не убежишь. Со всех концов пастбища, куда ни направишь копыта, — назад заворачивают. С таким противным визгом-лаем носятся эти хвостатые — уши бы мои не слышали!

— И глаза мои плоховаты стали, — говорил хозяин-старик. — Считай, скоро все на ощупь начну делать. Вот еще строгаю, разные вещи мастерю. Это все по старой привычке. Руки, считай, многое помнят. Можно сказать, все помнят. Правда, пальцы не такие ловкие, как в молодости. Ноги в суставах плохо гнутся и часто ноют. Особенно по ночам.

Да, верно, глаза твои совсем постарели, соглашался олень-старик. Это и знаю. Когда ехали сюда, ты вожжу отпустил и сказал: «Ну, Вожак-старик, меня вези. Ты дорогу знаешь. Глаза твои лучше моих. Потому как ты намного моложе меня». Эти твои слова я помню.

— Рога расти, шерсть расти, — просил человек-старик. — Лето длинное. Пастбище старинное, родовое. Тут все оленьи беговые тропы твои предки проложили. Это пастбище тебя вскормило, на ноги поставило. На этой Гриве вот в такой же весенний день ты в этот мир пришел.

[11] Хвостатые — иносказательно собаки.

Давно ль это было?

— Да, считай, весен семь-восемь назад.

Да, немало снегов с тех пор ушло...

Мы оба с тобой уже старики. А тебе сколько же?

— Я, считай, уже девять десятков весен-лет хожу по этой земле.

Девять десятков?..

— У тебя олений век, а у меня — человеческий, — сказал человек. — Ты так же стар, как и я. И поэтому твои весны равняются моим девяти десяткам.

Мы с тобой ровесники?

— Да, ровесники.

Так подолгу они обменивались мыслями-думами на «мастеровом» месте, на теплой проталине Гривы Малого Яра. В это время мы старались не беспокоить их. Пусть роднятся, говорили взрослые. Пусть свои разговоры ведут.

По вечерам Крестный охотно рассказывал сказки. Мне казалось, что в его голове, смотанные в аккуратные мотки, лежали сотни сказок и сотни песен Медвежьего Праздника. И он потихоньку разматывал их. Я же в свою очередь, слушая, старался сматывать их в клубки и уложить в голове.

Песни Медвежьего Праздника он исполнял обычно днем, когда сидел за работой. А сказки — только вечером. Если я просил сказку днем, он всегда отказывался рассказать:

— Днем нельзя сказки рассказывать.

— Почему нельзя?

— Кто днем за сказку возьмется — тот облысеет, — улыбался Крестный. — Разве ты хочешь быть лысым?

— Не хочу, — быстро отвечал я.

— И я не хочу, — говорил он и встряхивал своей сединой.

Его довод мне казался убедительным, и я замолкал. Мне вовсе не хотелось, чтобы мой Крестный облысел.

Дни стояли ясные, солнечные — и снег уходил незаметно.

На Гриве, на тропе, песок так прогревался к полдню, что можно было бегать босиком. В бору появились причудливые проталины, похожие на невиданных зверей и птиц, на проталинах охотно паслись олени. Днем они приходили домой, и отец или брат Никита счищали налипший на колодки снег. А потом, поразмыслив, меняли колодки — что потяжелее доставалось беспокойным, «ходячим» оленям, что полегче — смирным. Только Белому Вожаку моего Крестного ничего на ногу не надевали — доверяли...

Но однажды Белый Вожак не пришел домой со всеми оленями — куда-то исчез. Брат Никита обошел пастбище — не разыскал его. На другой день мой Отец сходил на поиски — и он вернулся ни с чем. Вожак как сквозь землю провалился.

— По черной земле где его искать? — говорил Отец. — Это по снегу просто — по следу бы отыскали.

К тому времени проталин стало больше, чем снега.

— Куда же он исчез? — размышляла Мама.

— Может, Чернолицему[12] попался, — предположила тетя Федосья.

— Появись Чернолицый, так он бы всех оленей погонял! — возразил брат Никита. — Без разбора. Он такой!..

— Это так, — сказал Отец. — На пастбище он бы быстро наследил.

— Наверное, заболел и до дома не может дойти, — проговорила Мама.

— Да, похоже, заболел мой старикан, — согласился Крестный.

— Поди, где-нибудь на проталине свалился, — вздохнула тетя Федосья. — Лежит, бедненький...

— Надо еще раз пастбище обойти, — предложил Отец.

И они с братом Никитой еще раз по всем направлениям прочесали сосновый бор — основной ягельник домашних оленей. Но нет Вожака. Ни следа, ни тропы. «Вниз взяли, вверх взяли!» — говорят в таких случаях охотники.

Мне казалось, что меньше всех волновался сам хозяин оленя — мой Крестный. Его лицо с крупными и резкими чертами по-прежнему было невозмутимо. После утреннего чая, как всегда, он садился на свое место, выкуривал трубку и брался за нож или рубанок. И всем своим видом говорил, что все в жизни идет своим чередом...

[12] Чернолицый — иносказательно — медведь.

На третий или четвертый день, под вечер, два ворона, хватая друг друга клювом, полетели за болото-сор, к кромке припроточного леса. Летели они не высоко и не низко.

— Они что-то видят, — сказал Отец. — И утром в ту же сторону летели.

— Может, они Вожака нашего деда нашли? — сказал брат Никита.

— Похоже — да.

— Сходить, что ли, посмотреть?

— Сходи.

Они помолчали, вглядываясь через верхушки соровых сосенок в дымчатую даль, где виднелась кромка большого леса.

— На сору вода... дай мне сапоги, — попросил брат Никита.

— Возьми, — сказал Отец.

Брат Никита надел латаные-перелатаные резиновые сапоги моего Отца — такой роскоши в ту пору в селении ни у кого не было — и, забавно перескакивая с одной кочки на другую, как тетерев на весеннем току, пустился через сор к припроточному лесу. Видно, сапоги все-таки изрядно пропускали талую воду, что скапливалась в обледеневших выбоинах между кочек.

Я долго наблюдал за смешно скачущим братом, с нетерпением ожидая, какую весть он принесет. Слонялся по Гриве, поскольку делать нечего не хотелось. Всех, казалось, мучило одно — жив ли Белый Вожак?

Вскоре брат вернулся. И мы узнали, что Белый Вожак Крестного погиб. Лежит за сором, на опушке припроточного леса.

Мама и тетя Федосья тяжело вздохнули. Отец с братом стали собираться туда, за сор. Крестный молча раскурил трубку, посидел в раздумье, потом сказал:

— Значит, его время пришло... Хороший Вожак был...

Помолчал, подымил трубкой, затем добавил:

— Увел мой аргиш в ту сторону, откуда нет возврата... Увел...

Я вглядывался в его обветренное, изрубленное морщинами красивое лицо. Как и прежде, оно оставалось непроницаемым, будто ничего не случилось. Только не пел песни и не рассказывал сказки. И теперь дольше обычного, прикрыв грусть в глазах, сидел на «мастеровом» месте, посасывая потухшую трубку. Быть может, он размышлял о тех днях, что предстоит прожить без Вожака, без Белого Вожака уходящего аргиша...

А это без малого десять лет...

Когда снег полностью сошел, оставшихся оленей отвели в Осеннее Селение, где в оленьем доме под присмотром дяди Василя они должны пережить тяжкое комариное время. А мы перебрались к наше Весеннее Селение на Древесном Урии, где оставляли на зиму лодки, обласы и другие летние вещи.

Шли пешком, каждый со своей поклажей. Сначала вышли на тропу брат Никита с женой и с моим Крестным. За ними пустились и мы. Мама несла за спиной в люльке мою младшую сестру Олю, родившуюся на этой Гриве в эту весну. Отец взял на руки мою среднюю сестру Дашу и сказал мне:

— А ты, Роман, на своих двоих пойдешь. Рук на тебя нет...

И я в первый раз в жизни пустился в такой дальний путь на своих ногах. Как я узнал впоследствии, то было в девятую послевоенную весну.

ДРЕВНЯЯ ПТИЦА ГЛУХАРЬ

Глухарь.
Глухарь над бором.
Глухарь над зеленым бором.
Глухарь над синим бором.
Глухарь над золотым бором.
Глухарь над оранжевым бором.

Глухарь над малиновым бором.
Глухарь над красным бором.
Что это?
Глухарь на утренней заре?
Глухарь в синий полдень?
Глухарь в закате дня?
Или, быть может, Глухарь в крови?..
Красный, кровавый, окровавленный.
Раненый Глухарь над раненым бором?
Глухарь на излете?
Последний взмах.
Последнее движенье.
Последний вздох.
Величественная птица Глухарь.
Древняя, как ханты.
Мудрая, как манси.
Вечная, как...
Вечная ли?..
Пролетят годы.
Утекут Весны.

...На среднем течении Агана, в нашем родовом селении сидит мой Отец. Сидит мой Отец, обложенный со всех сторон железными и бетонными дорогами, нефте- и газопроводами, нефтяными вышками и нефтяными поселками-городами. Его лучшие ягельные боры вырублены. На его лучшие реки-воды пущена жирная пленка черной нефти.

Сидит мой Отец в опустевшем родовом селении, и по ночам скачут по его лицу отблески факелов Самотлора с полуденной стороны.

Сидит мой Отец и молчит.

Сидит мой Отец и думу думает свою.

В прошлую осень, в самое глухариное время, я приехал к нему и спросил:

— Сколько глухарей добыл, Отец?

Он помолчал и, не отводя взгляда с полуденной стороны, сказал:

— Глухарь кончился.

Усохнут Лета.

Потом он припомнил, как в первые годы, когда проложили геологи и нефтяники дороги через кедровые урманы и сосновые боры, машины нещадно побили глухариный род. Он ни разу не употребил слово «люди», а именно машины. Машины побили. Глухарь птица умная, а тут совсем оглупела от нефти — садится на дорогу и прямо из-под колес подбирает гальку. Сами же машины похвалялись, что за одну поездку набивали полный кузов.

Так кончился глухариный род.

Может быть, теперь нужна другая картина.

Глухарь над черным бором.

Черный Глухарь над черным бором.

Возможно, кому-то придет мысль, что это Глухарь в ночи. Глухарь над ночным бором. А возможно, нужен перевертыш. Это будет точнее. Картина-перевертыш. Сверху черный бор, а под ним — Черный Глухарь.

Глухарь на крестовине.

Что это?

Может быть, Глухарь со своим крестом? Не с чужим же он крестом взбирается в небо или уходит в землю...

Захлебнулся жидкой грязью Осени.

А мой Отец все сидит в нашем некогда многолюдном родовом селении лицом на полуденную сторону. Сидит, и его мысли-думы ходят вперед и назад во времени, вверх и вниз по течению нашей реки. Ходят-бродят его думы-мысли и опять возвращаются к нему, так и не найдя, не зацепив ни одного своего ровесника-сородича ни вниз до устья, ни вверх до истока Аган-реки.

Сидит, как ханты говорили, с высохшей головой.

Сидит с высохшей бородой.

Сидит один-одинешенек.

И никуда-то он не хочет уезжать, хотя со всех сторон нефтевышки подступают все ближе и ближе и глаза плохо стали распутывать следы лесных зверей.

О чем он думает? Может быть, о Земле?

Разве покинешь родную Землю в беде?!

Разве покинешь вскормившую Землю в горе?!

Разве покинешь Землю, которую любишь?!

Может быть, он думает о себе и о Реке.

Он — хозяин Реки.

Он — старейшина Реки.

И он спасет и Реку, и Землю, и Глухариный Род.

Глухари.

Роды.

Между тем окоченеют Зимы...

Глухарь о двух головах.

Что это? Загадка Сотворенной Реки Человека?

Возможно — да.

Возможно — нет.

Весной, когда сходил последний снег, Мама вздыхала:

— Ах, до следующего снега бы дожить!

Осенью, когда земля надевала белую шубу, а реки покрывались льдом, Мама говорила со вздохом:

— Ах, до следующего лета бы дожить!

А однажды она бодро сказала:

— Как глухари, считать надо: до следующего лета доживем...

Я это услышал впервые, поэтому спросил:

— Глухари считать умеют?

— Да, — сказала Мама.

— А как они считают?

— Очень просто...

И она рассказала, как Глухарь попал в слопец-ловушку. Лежит Глухарь в Ловушке, под бревнами, а голова снаружи осталась. Увидел он сосну с пышной хвоей и думает:

«Ох, какая прекрасная хвоя на этом дереве — вот в будущем году-то поклюю, вот мне пища будет».

Как я понял позже, спустя годы, у Глухаря, даже в ловушке, под бревном, было одно — надежда. Великая надежда на жизнь.

А ведь у Глухаря могло быть две головы. Одна в ловушке, а другая снаружи, на свободе, на воле. Живи, дыши. Смотри на сосны, на хвою. И машинам, чтобы изничтожить глухариный род, пришлось бы сворачивать каждый раз не одну, а две шеи. Вдвое больше. Тогда бы, может быть, машины замаялись и бросили бы свое гнусное дело...

Надежда.

У Мамы тоже была надежда. Она надеялась на жизнь.

Но время было тяжкое.

Время.

Послевоенное.

Голодное.

Холодное.

Колхозное.

Советское.

Социалистическое.

Предкоммунистическое.

Энкавэдэшное.

Противошаманное.

Противобожье.

Противочеловечье...

И уйдут сказители и шаманы...

И осиротеют Боги и Богини...

А у Мамы была надежда. Но сама она не выжила, не выбралась из того времени. Как теперь я понимаю, она сгорела. Она сгорела от любви к нам, как выражались наши старики, к своему выводку. И мы все, согретые ее любовью, выбрались из того времени, выжили. Но какой ценой?..

Может быть, и сегодня нужно иметь две головы. Одну для ловушки, другую — для воли. Одну для машин, другую — для надежды. Без надежды какая жизнь?!

А Отец мой все сидит в своем опустевшем родовом селении, сидит и думы думает свои. О чем? Может быть, о вечности бытия. Что уходит, что остается. И с чем остается человек?..

А величественная птица Глухарь, наверное, в скором будущем останется лишь на полотнах Теорца.

Промчатся дни и годы.
Утекут Весны...
Усохнут Лета...
Захлебнутся жидкой грязью Осени...
Окоченеют Зимы...
Уйдут из Среднего Мира сказители и шаманы.
Уйдут навсегда.
За ними уйдут люди.
Уйдут народы...
Осиротеют Боги и Богини...
И останутся лишь одни Боли...

БОЛЬ ЗЕМЛИ

Когда Мама случайно острием топора задевала землю, она быстро ровняла порез, закрывала его щепками и хвоей. Я вспомнил: то же самое делал и Отец, если его топор нечаянно соскальзывал с дерева.

Я спросил у Мамы:

— Что все это значит?

— Это рана на теле Земли, — сказала Мама.

— Рана?

— Да, ни в коем случае нельзя оставлять раны.

— Почему?

— Больно Ей!..

— Больно? — удивился я.

— Да. Если случайно поранишь Землю — Сидящую Матерь, нужно сразу же полечить рану.

— Как же полечить?

— Нужно заровнять порез, чтобы побыстрей заживал.

— Ты мне раньше этого не говорила, Мама.

— Я тебе еще о многом-многом не говорила, Роман.

— Расскажешь?

— Конечно же — будет время, многое узнаешь.

Я уже знал, что нельзя часто повторять священное имя Той, что держит нас: Земля!.. Только в особо значительных случаях, на больших торжествах-праздниках, а также в критическую минуту, когда взывают о помощи — вот тогда называют Ее этим высоким именем — Земля! А в повседневной жизни зовут просто Сидящей. Наверное, от частого употребления изнашивается имя, тускнеет, соображал я. Поэтому детям и не разрешают попусту повторять это имя. И сама Она, коль услышит, возможно, бывает недовольна этим...

Я вспомнил слова Матери о том, что у всего живого есть душа. Есть душа у человека. Есть душа у дерева. Есть душа у травиночки и цветка. Есть душа у Земли. А все, у кого есть душа, чувствуют боль.

Сейчас меня интересовала Земля. Поэтому спросил у Мамы:

— Ей очень больно?

— Конечно. Помнишь, ты палец себе порезал?

— Помню.

— Помнишь боль?

— Да, помню.

— Вот и Сидящей так же больно, — грустно проговорила Мама. — Только мы не чувствуем Ее боли...

Я живо представил себе Сидящую: вот Она, величественная Женщина-Красавица, а мы, люди, живем и бегаем по Ее плечам. И, по неразумности своей, иногда причиняем Ей боль, приносим страдания. Но Она — мне казалась одновременно и человеком, и Богиней — прощает нам многие обиды. Ведь Она такая же добрая и справедливая, как и моя Мама. И понимает, что дети могут пошалить.

Я взглянул на свою Маму. И мне пришла мысль: моя Мама чувствует боль Сидящей Матери, боль Земли. Если и не до каждого человека доходит эта боль, то моя Мама наверняка чувствует ее. Когда она острием топора задевала Землю, я видел на ее лице боль. И поэтому спросил тихо:

— Мама, а ты чувствуешь боль Сидящей?

Она внимательно посмотрела на меня, помолчала немного, затем тихо и задумчиво сказала:

— Может быть, иногда и чувствую...

Тогда мне еще неведома была чужая боль. Позже, размышляя об этом, я понял, что корень всех корней жизни находится в Земле. Корень дерева, само дерево, плоды дерева, жучки-паучки, звери и птицы, человек — все взаимосвязано, все держится на одном корне, и корень этот уходит в Землю. И поранивший Землю поранит и корень всех корней. И замахнувшийся на корень прежде всего замахивается на себя и на человечество. Но боль изначальную чувствуют немногие, а конечную — почти все. Ибо каждый замах потом обязательно откликнется...

Я слушал Маму. Потом в мою голову пришла другая мысль. И я спросил:

— Мама, а разве лопатой мы не причиняем Ей боль?

— Нет.

— Отчего так — ведь лопата острая?

— Когда для нужного дела мы копаем или строим — Земля только рада.

— За это Она не сердится на человека?

— Нет, не сердится.

И я стал думать о разумном и неразумном в жизни Земли.

А Мама стала мне объяснять, почему нельзя делать больно нашей Земле. Все люди-народы, все звери и птицы, деревья и травы на Земле живут. Всех Земля держит. Всем дает жизнь Священная Земля... А если поранишь Ее и Она обидится насовсем — тогда где жить?! Как жить?! Не станет Земли — не станет жизни... Вот поэтому и нужно беречь Землю. Вот поэтому и нужно думать о Ней ежедневно, помнить о Ней до последнего мгновения...

А вскоре пришло это последнее мгновение — и Мама ушла в Землю...

После я с завистью смотрел на тех, у кого были Мамы. И мне казалось, что в них не было того священного трепета, с каким нужно подходить к Матери. Ибо они не знали, не представляли, каково это остаться без Матери в детстве. Жить без Матери... При Маме мир был одним, а без Мамы стал совсем другим...

Мужчины нашего рода с черными лицами рубили Землю. Рубили оледеневшую январскую Землю топорами. Рубили Землю молча. Мы со старшей сестрой Лизой сидели у костра и смотрели на них без слез. Мы давно выплакали все слезы. Мы сидели одни. Младших сестер не взяли, ибо самой младшей было семь месяцев от роду, и ее кормили жвачкой. Она была в люльке, а обычай строго-настрого запрещал привозить сюда детей в люльке. Мы сидели у костра. А мужчины рубили Землю. И мы видели, как мерзлые комья падали на черный снег. Рубили ту Землю, которую так любила наша Мама и в которую она уходила преждевременно. Ее не стало утром, после восхода солнца. По примете манты, смерть после восхода — это преждевременная смерть.

Рубили Землю нашей Мамы. И нам было больно. И во мне до сих пор жива эта боль...

ПОЭЗИЯ

НАДЕЖДА МИРОШНИЧЕНКО



СИЛЬНЕЕ МЫ ОТМЩЕНИЯ И СТРАХА

* * *

Тихо шепчу, чтоб не предали:
Русь моя, поберегись!
Распродают за обедами
глубь твою, совесть и высь.

Русью ли пахнет, не Русью ли,
рынком, суглинком, сумой
то ль в Константинове с Руссою,
то ли в Клину с Костромой.

Снова стирая заветное
и выжигая дотла,
бродит беда кругосветная,
душу собой заняла.

Все это было, не тронь уже,
воблой дохнёт и треской
то ли в Смоленске с Воронежем,
то ли в Рязани с Москвой.

Я прислонюсь к тебе, вечная,
и наберусь высоты.
Русь моя, Родина вещая,
зря убиваешься ты.

Русь моя, Родина русая,
разве мы стерпим тишком
то ли в Калуге с Тарусою,
то ли в Самаре с Торжком?!

* * *

По Невскому, угрюмы и плечисты,
затянутые в кожу, словно кнут,
ходили интер-наци-оналисты
и говорили: «Русские, капут!»

А русские меж ними суетились,
таща авоськи, как колосники,
и всё чего-то явного стыдились,
придерживая правой кошельки.

Гостиный двор России полон снова.
Вывозят Русь в заморские края.
Глядит глазами Игоря Талькова
обманутая Родина моя.

Очнись, Россия, без земли и славы
тебе не выжить и не сдобровать.
Гостиный двор. Петровские забавы.
Все вместе, кто умеет продавать.

И потому угрюмы и плечисты,
затянутые в кожу, там и тут,
ликуют интер-наци-оналисты
и повторяют: «Русские, капут!»

* * *

И что удивительно, только России не велено
любить свои песни, свою первозданную речь.
Потом упрекают: мол, столько святого потеряно!
Меня поражает, что столько сумели сберечь.

И что удивительно, только России положено
страдать за других, умирать за других и скорбеть.
Посмотришь на глобус, где наших детей ни положено.
И что поражает: мол, надо, чтоб так же и впредь.

И что удивительно, недруг в предчувствии мается,
мол, Русь поднимается. Объединяется Русь!
Меня поражает, но Русь моя, впрямь, поднимается.
А с нею, бессмертной, неужто я не поднимусь?!

Вся страна – Бородино

Лихо нынче без француза
обошлась моя страна, —
рвет полотнище Союза,
распласталась, как медуза,
по Отечеству война.

Тем, кто слева, тем, кто справа,
не сносить опять башки.
Вместо чести, вместо славы,
вместо Знамени Державы
разнопестрые флажки.

Вся страна пустилась в схватку.
Через семьдесят годков
вновь поймет, что взятки гладки
с тех, кто, с ней играя в прятки,
погубил ее стрелков.

Ах, Россия! Белый камень,
черный хлеб, небесный свет!
Помолись за всех, кто сами
лед прожгли, презрели пламя,
но свели себя на нет.

Похвали нас, дядя Сэр,
за развал СССР.
Стонет русская земля
под «защитою» Кремля.

* * *

И вот приходит Женщина. Она
сильнее, чем Свобода и Война.
И строгую любовь свою приносит.
И Родина ей шепчет: «Не проси
за всех, кого сгубила на Руси, —
их не вернуть». И Женщина
не просит.

Но, зажигая вечную свечу,
она в глаза посмотрит палачу.
И ангелу она в глаза заглянет.
И прерванную цепь времен сомкнет.
И слово оскверненное сотрет.
И слово возрожденное достанет.

О, Женщина! Да не о том ведь речь,
чего Мужчина не сумел сберечь.
Он поднимался столько раз
из праха,
чтоб ты осталась в мире на века,
чтоб, в бой идя, он знал наверняка:
сильнее ты отмщения и страха.

Вот почему ей знать среди времен,
где страждет кто, и *как* заговорен,
и *что* спасти в России, *что*
взлелеять.
И потому ее бессонен лик.
И потому ее безмолвен крик.
И потому я так ее жалею.

МИРОШНИЧЕНКО Надежда Александровна родилась в Москве. Окончила педагогический институт. Автор книг стихотворений «Назовите меня по имени», «Хочется счастья», «Отрывок», «Зачем не сберегли?» и других. Член Союза писателей. Живет в Сыктывкаре.

* * *

Валентину Распутину

Пусть не говорят, что мы без памяти.
Мол, национальная черта.
Пусть не говорят, что мы — из племени.
Это нас сжигает немота.
Но когда терпенье переполнится
и уста златые разомкнет,
мы расскажем все, о чем припомнится
и о чем не позабыл народ.

* * *

Они гремят речами и мечами,
пугают палачами. Но гляди:
идет ребенок с ясными очами
и не боится вечного пути.

Еще не зная, что слаба защита,
еще не веря, что не все — добро,
идет ребенок, словно солнца слиток,
и рассыпает смеха серебро.

Цветы моей России полевые,
льняные дети — жители берез!
И русые они, и зоревые,
и русские. И жалко их до слез.

И вот пока они на свете будут,
гремите всласть, серьезно и шутя,
мне не страшны пророки да иуды.
Я вас сильнее: у меня дитя!

* * *

Глаз не поднимешь: такие угрюмые лица,
взгляды усталые, мусорных слов лебеда.
То ли желают живою водою умыться,
то ли не знают, зачем им живая вода.

Дайте мне сил улыбнуться вам каждому сразу,
светлые-светлые, как изболелась душа,
словно ее затянуло уже до отказа
время на грани смирения и мятежа.

* * *

С. К.

Мало ли хожено, много ли
пройдено —
сердцем не меряно, и ни к чему.
Лишь бы росли бузина
да смородина,
да не водились измены в дому.

Да между сплетнею и небылицею
лишь бы спокойно душа прожила.
Пусть бы гуляла себе кобылицею,
чтобы Конька-Горбунка родила.

И у меня в пору солнца и завязи
всходит в душе первозданная Русь.
Руки, как крылья, заломит
от зависти,
только на птиц невзначай
загляжусь.

Коль не тянулись церквами б
да песнями
в синюю синь, в голубиную высь,
разве бы небо над нами повесили,
разве бы звезды на нас пролились?!

* * *

И все-таки не понимаю:
зачем им мой солнечный плес
и эта краса неземная
сбежавших с откоса берез?

Зачем им душой надрываться,
толкать нас от света во тьму,
зачем за пятак продаваться,
зачем не прильнуть к своему?!

* * *

Какая певучая речь —
души золотое раздолье!
Но как мне тебя уберечь,
бессмертное русское поле?

И стыдно кого-то винить
в отсутствии единоверца.
Но как мне тебя сохранить,
наивное русское сердце?

Пылает вовсю бытие,
сжигает народную память.
Напишет ли кто Житие
про то, что свершается с нами?

А все ж процветает в глуши
без всякого блеска и шума
последняя пристань души —
угрюмая русская дума.

* * *

Моя земля, твои целую ноженьки.
Но если трижды не перекрещусь,
то вместо Храмов вижу
подорожники,
а вместо Хамов рухнувшую Русь.

Нам не понять, за что, хоть все
оплачено
парно́ю кровью, мертвой головой,
опять Россия бесом раскулачена
по новой по цене, по мировой.

Нам этого бесчестия не вынести.
Еще чуть-чуть, и разорвет страну
очередной непоправимый вымысел,
оправленный в гражданскую войну.

Нас все равно ни галльские,
ни шведские
подачки не сумеют уберечь.
Неукротимы души наши детские,
и неподвластна плену наша речь.

Уже не знаешь, что за чем
последует.
Как муравьи политики снуют.
Мне говорят: на Родину не сетуют,
но Родину ведь и не продают.



ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

СЕРГЕЙ КАРА-МУРЗА

«ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ» РОССИИ — путь к цивилизации или к братской могиле?

ЧТО ЖЕ ВСЕ-ТАКИ С НАМИ ХОТЯТ СДЕЛАТЬ?

ЕСЛИ удастся в полной мере осуществить перестройку, то как одно из проявлений «загадочной русской души» будут вспоминать историки некогда существовавшей России тот странный факт, что в 1992 г. оппозиционные движения всех оттенков не попытались прежде всего ответить самим себе на этот самый первый, исходный вопрос: чего в конечном счете добивается этот странный политический режим! Можно ли выработать разумную политическую линию, не поняв, чего хочет твой противник? Начинаешь думать: да оппозиция ли это вообще? — или фанерные макеты, хитро расставленные нашими смекалистыми политиками «новой волны»? Впрочем, эта смекалка и им выйдет боком — неоформленный стихийный протест, которого избежать не надеется уже ни один нынешний администратор, в этом случае приобретает характер мщения. Ну хоть погуляем напоследок...

Так вот, о конечных замыслах тех, кто олицетворяет видимую и активную часть режима — Е. Гайдара и А. Шохина, Г. Попова и Г. Старовойтовой и т. п. (Ельцин явно выпадет из этого ряда). Что их цель остается загадкой — уже почти не вызывает сомнения. Действительно хотят построить в России капитализм? К сожалению — нет, явно не хотят. Ведь как бы к капитализму ни относиться, это — общественный строй, форма жизни народов. У нас же ускоренными темпами формируют лишь пролетариат, класс — «могильщик капитализма», задолго до того, как появился труп или хотя бы живой организм этого строя. Основа капитализма — средний класс, а у нас явно стараются превратить его в пролетариат. Так капитализма не построишь. Да и все предложения наших и даже западных (!) специалистов по созданию в России ячеек производительного, а не авантюрного, капитализма с 1989 г. отвергались радикальными либералами с непонятной неприязнью. Тогда это вызывало изумление.

Верным симптомом умолчания является тот факт, что, начиная реформу, ее авторы избежали объяснения с народом. В этом — кардинальное отличие от похожей на нашу польской реформы. Там люди были увлечены идеей разрушения «коммунистической системы» и знали, на что идут. Поэтому теперь, когда действительность оказалась намного тяжелее того, что обещал Валенса, а ему — Запад, шахтеры имеют право кричать президенту: «Лех! Ты нас предал, и мы тебя предадим». А Валенса имеет право говорить: «Запад меня обманул!» (Хотя Запад для Польши раскошелился в небывалых для него масштабах.)

В аналогичной ситуации в Испании, когда после смерти Франко пошли на либерализацию и конверсию экономики, после длительного диалога был заключен социальный пакт («пакт Монклоа»), под которым в буквальном смысле слова подписались лидеры основных политических сил, — и все знали, как будут распределяться тяготы, и роптать потом не было оснований. Но мы-то в России не сможем никого обвинить, что нас предали, — нас не сочли нужным даже проинформировать. Наивные политики радуются, что народ всяких каналов волеизъявления лишен. 23 февраля власти даже мягко предупредили, что и демонстрация — последнее мирное средство — нежелательна. А к неподкупному сердцу народных избранников-депутатов нашли, видимо, ключик. Как иначе объяснить то благодушие, с которым они согласились, чтобы правительство делало доклад об экономической программе не парламенту России, а Международному валютному фонду?

Второй тревожный симптом — поворот политического режима к конфронтации, настойчивое стремление возможно быстро и необратимо спровоцировать раскол общества, повязать противостоящие группы кровью. Как бы хотелось верить, что это — некомпетентность, импульсивность, горячность и т. п. — «уважительные причины», которыми нас кормили все годы перестройки. Но поверить никак невозможно. Вот происходит дикое повышение цен — о либерализации говорить смешно, когда государство является монопольным работодателем (определяет зарплату) и монопольным торговцем. Просто в пять раз снизили зарплату. А пенсионеров, уже выполнивших свою часть трудового контракта с государством, просто ограбили, ибо они и заработанного не получили, и обещанного в туманном будущем рая не вкусят. Через месяц после повышения цен, 9 февраля, собирается весьма умеренная демонстрация протеста с антиправительственными лозунгами. Но это — совершенно нормальное явление. Более того, для разумного правительства явление желательное, ибо это — повод для диалога и свидетельство того, что народ еще не безмолвствует. Это был перекресток, на котором правительство делало выбор. Можно было принять вызов и пойти на разговор, выступить на митинге или, если это нестерпимо страшно, с серией обстоятельных и доходчивых статей и докладов по телевидению.

Но был сознательно сделан иной выбор. Будущий митинг был заранее назван «красно-коричневым». Не надо быть большим знатоком советской культуры, чтобы понять: этот ярлык — знак, что правительство ни на диалог, ни на компромисс с недовольными не пойдет. Это, дескать, все равно что заключить «пакт Риббентропа—Молотова». Можно ли поверить, что разработка идеологемы «красно-коричневые» была сделана людьми импульсивными, которые «хотели как лучше»? Это можно подумать о Б. Н. Ельцине, но никак не об интеллектуалах из «Московской трибуны» и не об экс-Генеральном секретаре ЦК КПСС.

Чтобы трещина в обществе не заросла, пресса поторопилась поддержать политиков, не пошедших на диалог. Вот как пишет о собравшихся на митинг 9 февраля «Московский комсомолец» — почти официальная газета режима: «То, что они не люди — понятно. Но они не являются и зверьми... Они претендуют на позицию третью, не занятую ни человечеством, ни фауной». Зачем пишет это г-н Аронов? Зачем молчаливо аплодируют ему либеральные читатели «любимой газеты»? Лишь для того, чтобы все поняли: гражданского мира режим не хочет.

Но мира хочет обыватель, он всеми силами сопротивляется втягиванию его в смертельную воронку и просит, чтобы ему хотя бы дали отступить с честью. И через две недели делается вторая попытка — митинг 23 февраля. Попытка опять добиться диалога и новый зондаж режима. Намек понят прекрасно, и ответ дан однозначный. За это мэру Попову спасибо. И опять, дополнительными мерами показано, что избиение стариков — не ошибка импульсивного мэра. Показано по телевидению знаменательное интервью с Поповым в самый день избиения, когда мэр нарочито чавкал и хлюпал, прихлебывая чай. Это какая-то знаковая система, ибо на самом деле Попов не хлюпает и не чмокает. Показано приказом Мурашева о премиях в размере двух окладов милиционерам, особо отличившимся в «борьбе с фашизмом». Показано и глумление прессы над «фашистами» — ветеранами Отечественной войны. Так пишет «Комсомольская правда» (другая «любимая газета»): «Вот хромает дед, бренчит медалями, ему зачем-то надо на Манежную. Допустим, он несколько смешон и даже ископаем, допустим, его стариковская настырность никак не соответствует дряхлеющим мускулам...» и т. д. Ну что ж, господа либеральные интеллигенты-«комсомольцы», веселитесь покуда...

Зачем же раздувают радикальные демократы этот костер? Ведь во всех других бывших соцстранах стараются провести реформы тихо, приватизировать все по-мирному. Даже если главная цель — просто обворовать страну и наслаждаться остаток дней в Калифорнии, без нужды озлоблять еще не падающих от голода людей, казалось бы, неразумно.

С уверенностью ответить на этот вопрос невозможно, надо перебирать варианты. Мягкий вариант таков: заведомо зная, что явно декларированные цели реформы достигнуты не будут, правители заранее готовят козла отпущения. Пугало партократов эксплуатировать больше невозможно (тем более что все они теперь — заядлые демократы и реформаторы). Свалить все на евреев, которые помешали построить капитализм, — не тот случай. Приходится создавать красно-коричневых. И через год услышим: «Эх, опять не дали спасти Россию, а уж как все хорошо было задумано. Так что не взыщите, братья и сестры, помирайте потихоньку, а мы уж поехали».

Если номер пройдет, это будет блестящим достижением, ибо впервые козлом отпущения, да еще под знаменем демократии, будет сделано большинство народа. Без сомнения, правители осознают необходимость сформировать образ врага, на которого можно будет свалить вину за провал реформы. В их наивность можно было бы поверить, хотя и с трудом, если бы наша реформа начиналась до польской. Но сейчас, когда катастрофические последствия шоковой терапии в Польше по рецепту Джеффри Сакса изучены под микроскопом специалистами многих стран, ни о какой наивности не может быть и речи. Аналогичная реформа в России начата после того, как были подведены итоги польского эксперимента. Польша была лишь полигоном, где испытывалась экономическая бомба для России. А по ряду известных причин эта бомба взорвется у нас с несравненно более разрушительной силой, чем в Польше. Ведь Гайдар даже и не пытался сказать, что это не так, что у нас будет лучше, чем в Польше.

Ну ладно, предположим, что вину сумеют свалить на красно-коричневых. Это, по сути, вспомогательная технология реформы. Вопрос-то остается: зачем бомба? Зачем разруха и погружение страны в дикость? Думали: это геополитический и военный интерес наших американских друзей. Но уже и ЦРУ, и администрация Буша бьют тревогу: вы что, озорники, усердствуете, что делаете с нашей любимой Россией? Ну, ликвидировать СССР и вытащить прицелы из ракет — это да. Но поджигать шестую часть суши — от одного дыма цивилизация задохнется. Разве не читали наши депутаты доклад ЦРУ и раз-

ведуправления Министерства обороны США «За пределами перестройки: советская экономика в кризисе», представленный по запросу Конгресса США? Ведь там прямо сказано: «Существенным и, возможно, самым главным условием успешного осуществления реформ по переходу к рыночной экономике является политическое единство страны, базирующееся на доверии к избранному правительству, которое пользуется широкой поддержкой населения». Но ведь наше правительство делает совсем не то, чему его учили в США, ему единство ненавистно.

И остается сделать самое тяжелое предположение: действительная цель такого проведения реформы — вовсе не стабилизация, не построение какой-то продуктивной экономики (не важно, каким идеологическим штампом она называется) и даже не рациональное, бережное разворовывание страны. Главная цель, в которой, наверное, даже наедине с самими собой стесняются признаться наши либеральные интеллигенты, носит почти религиозный характер. И цель эта — тотальное разрушение этой ненавистной, неправильной страны. Причем такое разрушение, при котором жители этой страны еще бы насмерть передрались друг с другом и как можно больше их перегрызло друг другу глотки.

Для этого надо довести до полного обнищания, до страха голода — и даже до голода — значительную часть народа. Унизить его подаянием, бесплатной похлебкой и побоями. Разжечь в нем слепую злобу, разрушив при этом любую идеологию, которая могла бы эту злобу хоть как-то «окультурить». И потом натравить озлобленных людей друг на друга. Например, при помощи дикой и кощунственной приватизации, против которой голодные и морально измученные рабочие уже не смогут сопротивляться цивилизованным способом. Или раздав фермерам нарезное оружие, одновременно послав в деревню продотряды (не важно, кем организованные), — разве это нам уже не обещали? Об искусно создаваемых этнических конфликтах и говорить нечего. И тогда только подвози всем конфликтующим сторонам боеприпасы. Для этого, наверное, и транспорт, и горючее найдется.

Как бы хотелось ошибиться! Или хотя бы обмануться — но это с каждым днем все труднее.

ИЗ ЧЕГО ВИДНО, ЧТО КАПИТАЛИЗМ СТРОИТЬ НЕ СОБИРАЮТСЯ!

Прежде всего — любой хозяйственный уклад имеет под собой мировоззренческую основу. Радикальная либерализация полностью огосударственной экономики России означает внедрение с использованием рычагов государственной власти — закона и даже насилия — вполне определенного хозяйственного уклада и отношений (частное предпринимательство западного типа) в социокультурную ткань множества этносов, имеющих очевидно разные мировоззренческие основания. Между тем капиталистическая экономика западного типа базируется на совершенно особой, специфической культурной основе. «Дух капитализма» имеет определенные религиозные корни (протестантизм), определенные картину мира, тип рациональности и мышления (механизм и европейская наука), определенную этику. И все это в одинаковой мере важно для всех субъектов рыночной экономики — как предпринимателей, так и рабочих.

Традиционное производство было ориентировано на потребление (даже если прибыль тратилась на оргии — потребности бывают не только скромными), и дух капитализма, ставящий высшей целью именно наживу, был совершенно новым явлением. М. Вебер пишет о протестантской этике: «Summum bonum (высшее благо) этой этики прежде всего в наживе, во все большей наживе при полном отказе от наслаждения, даруемого деньгами...; эта нажива в такой степени мыслится как самоцель, что становится чем-то трансцендентным и даже просто иррациональным по отношению к «счастью» или «пользе» отдельного человека. Теперь уже не приобретательство служит человеку средством удовлетворения его материальных потребностей, а все существование человека направлено на приобретательство, которое становится целью его жизни. Этот с точки зрения непосредственного восприятия бессмысленный переворот в том, что мы назвали бы «естественным» порядком вещей, в такой же степени является необходимым лейтмотивом капитализма, в какой он чужд людям, не затронутым его веянием».

Важнейшее положение, с которым не спорят, а которое как будто просто не замечают советские идеологи либерализации, состоит в том, что возникновение современного капитализма было мутацией в развитии европейской культуры. Дух капитализма не развился в результате практики свободного предпринимательства, а именно эта практика возникла на базе нового и специфического мироощущения — «сначала было Слово». Подчеркнем, что сам М. Вебер считает, что с точки зрения непосредственного восприятия поворот к извлечению дохода как самоцели является бессмысленным, он чужд людям, не проникнутым духом капитализма.

Как это ни гротескно звучит, но последний крик Брежнева: «Экономика должна быть экономной!», оказывается, был исполнен глубокого смысла. Если снять налет афористичности, приданный каким-то партийным борзописцем, и тавтологию, предназначенную для последующего осмеяния; этот лозунг утверждает: «Хозяйство должно быть экономией!». Это — кредо традиционного общества. Ибо Вебер указывает на фундаментальное различие, выявленное еще Аристотелем. Капиталистическое хозяйство, предназначенное для извлечения прибыли, является хрематистическим (от введенного Аристотелем понятия chrema)—в противоположность тому, которое предназначено для удовлетворения потребностей и называется экономическим (от oikonomia). То есть нынешняя реформа утверждает, что «Экономика должна быть хрематистической!». Но это — огромный культурный переворот.

В результате культурной мутации в Западной Европе и США возник особый уклад жизни, организм с совершенно новым генотипом. Этот организм оказался очень энергичным и хищным, он распространился на другие континенты (Австралия, Южная Африка), подчинил себе многие народы и культуры. Но нигде не наблюдалось искусственно вызванной воздействием этого капитализма мутации генотипа иных культур. Эти культуры или подавлялись и погибали (как в Северной и Южной Америке и Африке), или, если могли защититься каким-то «железным занавесом» (культурным, военным, идеологическим), адаптировались и находили своеобразный путь индустриализации. Такими уцелевшими цивилизациями были Япония, Индия, Китай и до недавнего времени Россия.

Мы можем, по сути, вслед за Вебером, задать вопрос авторам экономической реформы в России: обладает ли население России непосредственным, некапиталистическим восприятием — или оно проникнуто духом капитализма? Из ответа будет прямо следовать, адекватна ли предложенная модель реформы культурной реальности России. Если неадекватна, значит, авторы реформы из религиозных (идеологических) соображений заранее согласны на то, чтобы «продавливать» ее силой — вместо того, чтобы изменить модель, приблизить ее к реальности. Знают и Гайдар, и Шохин, что вызвать мутацию генотипа России они не в силах. Следовательно, строя шоковую реформу так, чтобы православные и исламские народы не смогли адаптироваться к изменениям, наши лидеры знают, что это приведет лишь к разрушению культурного генетического кода общества, к преобразованию его в какую-то злокачественную опухоль.

Если бы реформаторы действительно хотели построить в России капитализм, то их концепция учитывала бы культурную реальность каждого региона и предполагала создание компенсирующих механизмов, адаптируя экономическую модель к этой реальности. Именно такая адаптивность позволила Японии и новым индустриальным странам Юго-Восточной Азии обеспечить сильный импульс развития при том, что культурные структуры резко отличались от европейских. То же самое можно сказать о быстром развитии в последнее десятилетие католического юга Европы (Италии и Испании). Здесь рыночная экономика приобрела иные формы, чем в протестантской Европе.

И в России реформаторы-прагматики апеллировали бы не к основам протестантской этики, а к тем весьма развитым обоснованиям предпринимательства, накопления и богатства, которые имелись в культурах православных и мусульманских народов СССР. За шесть лет перестройки можно было, совершенно не меняя культурный генотип общества, создать обширную систему частных предприятий — и никто бы это не считал ни революцией, ни предательством отцов. Не на голом месте возрождается у нас рыночная экономика, и утопией является стремление вогнать ее именно в рамки англо-саксонской модели. Но если так, существенно иными должны были бы быть и концепция приватизации, и все ее идеологическое обеспечение (например, не следовало разворачивать в прессе широкую кампанию по дискредитации бедности, в культуре православия и ислама бедность — не порок). Все это Егор Гайдар и его экономисты знают — Вебера они читали. И тот разрушительный характер, который принимает реформа, на некомпетентность списать уже просто невозможно.

Зачем, например, вызывать тот культурный шок, который испытают при обвальной приватизации заводов советские люди? Прекрасно известно, что эти заводы дались слишком дорогой ценой всему народу, и отношение к ним, по крайней мере у половины населения, имеет, по сути дела, религиозный характер. Это не «средства производства» и не «основной капитал», а кровь и пот умерших отцов и дедов. Таким образом, как бы либералы ни презирали атавизм сознания людей, выросших в православной и исламской культуре (в том числе самых убежденных атеистов), в дело вступает очень важная в России политическая сила — тени наших умерших сограждан, перед которыми надо будет держать ответ.

Русский философ С. Л. Франк писал: «Мертвые молчат. Бесчисленная их армия не встает из могил, не кричит на митингах, не составляет резолюций, не образует союза и не имеет представителей в совете рабочих и солдатских депутатов. Тихо истлевают они в своих безвестных могилах, равнодушные к шуму жизни и забытые среди него. И все же эта армия мертвецов есть великая — можно сказать, величайшая — политическая сила всей нашей жизни, и от ее голоса зависит судьба живых, быть может, на много поколений... Будем чтить тени мертвых в народной душе. А если мы уже разучились чтить их — будем, по крайней мере, помнить о них настолько, чтобы бояться их и считаться с ними» (С. Л. Франк. Соч., М., 1990, с. 578).

Наконец, внешне прозаический, а на деле фундаментальный фактор с сильнейшей религиозной компонентой — голод. Вебер отмечал, что «дух капитализма» не приживается в голодающих областях. Да мы и сами знаем — чем ближе голод, тем сильнее действуют врожденные инстинкты солидарности и уравнительства. Только так выживает племя. Распределяться по труду, а тем более по капиталу может лишь избыток продукта. Любой голод — это откат от капитализма и усиление общинных отношений. Так зачем, спрашивается, в России искусственно и целенаправленно готовится массовый голод и отбрасывание целых социальных групп на грань биологического выживания? Ведь никаких разумных объяснений этому дать невозможно: в стране богатейший за всю историю урожай, а американская армия с помпой создает «воздушный мост» для переброски в Москву продовольственной помощи — по полфунта на ребенке.

Всем очевидно, что фермерство пока что лишь идеологический фантом, но накануне весеннего сева начинается разгон колхозов. Ну не абсурд ли — единственные реальные сельскохозяйственные производители дают чиновникам взятки для того, чтобы им позволили провести сев и собрать урожай? Нет, не абсурд! Ибо голод в России — испытанное средство достижения самых разрушительных политических целей. Капитализма в условиях голода не построишь, но организовать массовое братоубийство или массовые репрессии несравненно легче, чем с народом сытым.

Если выбранный способ либерализации экономики не результат вопиющей некомпетентности, то вывод может быть один: искусственно вызываемый культурный шок имеет целью на время разрушить скрепляющие общество устои и перевести его в аномальное состояние готовности к массовому «немотивированному» насилию. Январское повышение цен, угроза голода и грядущая приватизация создают в стране ситуацию, которую Бахтин называл ситуацией гибели богов. При этом человек не меняет систему ценностей, не начинает молиться иным богам— он теряет систему координат, критерии различения добра и зла. А это и есть сбрасывание общества в массовое насилие. Ученый и философ В. Гейзенберг, который наблюдал это в фашистской Германии, пишет: «В жизни отдельного человека это проявляется в том, что человек теряет инстинктивное чувство правильного и ложного, иллюзорного и реального. В жизни народов это приводит к странным явлениям, когда огромные силы, собранные для достижения определенной цели, неожиданно изменяют свое направление и в своем разрушительном действии приводят к результатам, совершенно противоположным поставленной цели. При этом люди бывают настолько ослеплены ненавистью, что они с цинизмом наблюдают за всем этим, равнодушно пожимая плечами».

К выводу о том, что ни о каком строительстве капитализма речь не идет, можно прийти и с сугубо прагматической стороны. Где это видано, чтобы ради капитализма разрушали действующий производственный потенциал — что может быть противнее капитализму! Вот было создано в России налаженное промышленное птицеводство, уже два десятка лет оно работало, как машина, не требовало никакой идеологии, никакой административно-командной системы. Куры (все сплошь белые) исправно несли свои яйца, которые шли на стол и «люмпенам», и партократам, и самому Артему Тарасову. И ведь пришлось приложить немалые усилия, чтобы разрушить эту систему! Может ли кто-нибудь внятно объяснить — зачем?

Когда спрашиваешь об этом нашего либерального идеалиста-интеллигента (иной раз даже министра), он начинает заикаться и нести ахинею. Дескать, «в тени старых структур не вырасти поросли новой цивилизации» или «гусеница, превращаясь в прекрасную бабочку, ведь теряет ножки» и проч., и тому подобный бред. Какая поросль, какие ножки! Почему о таких простых, обыденных вещах, как птицеводство, вдруг начинают вещать языком столь высоких метафор? Тут что-то не так.

Быстрая и радикальная приватизация в наших условиях чревата риском утратить значительную часть промышленного капитала из-за ликвидации и расчленения малорентабельных предприятий или их систем. Этот подход взят советскими экономистами из арсенала американских управленческих школ, предназначен он для совершенно иных условий, которые от наших отличаются по всем существенным параметрам. Он вовсе не есть условие продуктивного капитализма. Япония, например, демонстрирует совершенно иное мышление и иное отношение к промышленному потенциалу как национальной ценности (независимо от отношений собственности). По свидетельству американского обозревателя, в Японии «трудно понять, где кончается правительство и начинается частный сектор. Японцы никогда не бросили бы нечто столь драгоценное, как их промышленная база, на произвол грубых рыночных сил. Чиновники и законодатели защищают промышленность, как наседка цыплят».

Радикальные рыночники во всех бывших соцстранах настаивают на денационализации, распродаже государственной собственности. Но там и не скрывается, что это преследует чисто политические цели — разрушение экономической основы социалистических отношений, после чего эти малые страны надеются быть принятыми в «общеевропейский дом». Уже сейчас промышленный потенциал Чехо-Словакии подорван настолько, что уровень 1989 года они в лучшем случае достигнут через 15 лет. Разумные чехи никогда не пошли бы на это без гарантий. Но России не только никто гарантий не давал — нам прямо сказали, что ни на какую существенную помощь мы рассчитывать не должны.

Сейчас обманутой чувствует себя и Польша, утратившая уже около 40 процентов своего производственного потенциала. Польские экономисты забили тревогу — они предвидят ликвидацию Польши как развитой страны. Вот один из ведущих экспертов, убежденный антисоциалист Рафал Кравчик пишет: «Необходимо задать вопрос: что понимается под рыночной распродажей государственного имущества! Идет ли речь о внутреннем рынке, отделенном от остального мира стеной, или имеется в виду именно мировой рынок, то есть допущение свободной иностранной конкуренции на польском рынке капитала, которую наверняка не выдержат польские экономические субъекты? В результате польское государственное имущество по дешевой цене перейдет в собственность иностранного капитала, а солидный отечественный капитал не сможет возникнуть в обозримом будущем».

Прислушаемся к тому, что пишет Кравчик: «Выдвигаемая до недавнего времени в качестве единственной концепция приватизации посредством продажи национального достояния иностранному капиталу влечет за собой превращение поляков в современных зулусов, которые будут работать, возможно, даже за оплату в валюте, на иностранных предприятиях. Ни один поляк, даже бывший министр промышленности Вильчек, не будет в состоянии вступить в конкурентную борьбу с ИГ Фарбен, Круппом, Зингером, Дюпоном или ИБМ. Когда «большая распродажа» будет завершена, на места потенциального польского капитала останется только пустыня. Это будет крупная сделка между государственной бюрократией и иностранным капиталом. И предотвратить ее надо стараться всеми силами, если мы чувствуем ответственность за судьбу будущих поколений».

Авторы экономической реформы в России категорически не допускают передачи заводов в пользование или собственность трудовых коллективов. Они не допускают даже предоставления коллективам контрольного пакета акций под смехотворным предлогом: государство или коллектив управляют менее эффективно. Да, как показал опыт, в стабильной экономике — на 10—12 процентов менее эффективно. Но сейчас-то речь идет о режиме разрушения. Сейчас речь идет не об альтернативе: 18 проц. прибыли при частном хозяине или 16,2 проц. прибыли при коллективной собственности. Ни о какой прибыли при обвальной приватизации и речи быть не может. Министр промышленности России предвидит падение производства на 50 процентов (после того, как оно уже упало на 30 проц.). Речь идет именно об экономическом геноциде, а не об одном проценте прибыли.

Да и предоставление контрольного пакета акций кому угодно, хоть иностранцам, но не коллективу, означает полный контроль над экономикой России. Для этого достаточно контролировать две-три отрасли (например, производство алюминия). И такого контроля можно достичь за смехотворно малую сумму в долларах. Вот что пишут экономисты — коллеги Гайдара: «Даже сравнительно небольшая доля участия в капитале позволяет иностранным инвесторам извлекать значительную выгоду. Благодаря финансовому и технологическому превосходству над местным партнерством иностранные инвесторы в состоянии концентрировать в своих руках административное и техническое руководство предприятием и, следовательно, интегрировать его в свой транснациональный производственный комплекс. Ряд американских экономистов вообще считают, что любую компанию можно рассматривать как филиал современной монополии, если последняя владеет хотя бы 5 процентами ее капитала. При портфельном участии транснациональные корпорации могут получить право решающего голоса и в том случае, когда национальная доля акций распылена среди многих владельцев» («Развивающиеся страны в сетях финансовой зависимости», с. 17). Таким образом, предполагается все предприятия России сделать филиалами иностранных фирм.

Хотелось бы думать, что целью наших реформаторов является распродать общенародную собственность их цивилизованным друзьям, а народы России превратить в дешевую рабочую силу — «зулусов», которых все же будут кормить похлебкой. Но и для этого совершенно по-иному должна была бы идти реформа, без ненужных оскорблений, без искусственного раскола и озлобления. Нет, судя по всему, сохранить нам жизнь хоть и на уровне «зулусов» не предполагается. Ситуацию сдвигают и геноциду и этноциду — ликвидации целых этносов. Об этом говорит и целенаправленная идеологическая кампания по снятию одного из важнейших табу — запрета на убийство ближнего.

ЗАЧЕМ УСТРАНЯЮТ ЗАПОВЕДЬ «НЕ УБИЙ»!

За годы перестройки мы привыкли к тому, что еще недавно казалось вещью совершенно немыслимой — к систематическому убийству людей прямо на улице, среди бела дня и при большом стечении народа. Это убийства по политическим, а не корыстным мотивам. Это убийства не конкретных личностей, а врагов — всех тех, кто по какому-то признаку относится к целой группе, которую завладевшие властью политики посчитали вражеской. И не важно, что это за власть — избранного президента (как в Грузии), националистов-неформалов (как в Нагорном Карабахе) или мафиозной группировки (как в Фергане). Важно, что это уже власть, которая может приказать: иди и убей!

Какую же роль во всем величественном проекте перестройки сыграл процесс формирования всех этих типов власти? Зачем во всех концах страны выращивали и пестовали маленьких и больших политиков, которые исподволь начали приучать свою паству к виду крови? Можно ли было без этого обойтись? К сожалению, никак нельзя. Нужно было разрушить все узы солидарности, приучившие нас считать друг друга братьями — равными как человеческие существа (а не как бобы уравниловки, это было второстепенным).

Теперь перед идеологами встала трудная задача: убедить, что люди — не братья, что «человек человеку — волк», что «ворон ворону глаз выклюет». Братоубийство для этого — лучшее, хотя и сильное средство. Человек, привыкший к присутствию братоубийства в нашей жизни, уже не ужаснется при виде угасающих в бедности пенсионеров: «Эва! Вон в Фергане турок живьем сжигают — и ничего!». И убийства на этнической почве взяты лишь как пусковой механизм, снимающий запрет на убийство ближнего. Впереди — убийства (моментальные или медленные) социальных противников. И целенаправленно готовить к ним начала группа радикальных интеллектуалов. Демократ-идеалист возмутится: опять, дескать, его пугают заговором. Но сама эта терминология порождена традиционным механистическим мышлением. Какой заговор! Речь идет о трех-четырех десятках гуманитариев, которые между собой непрерывно общаются. А резонанс их идеологические сообщения приобретают благодаря огромной мощности прессы и телевидения.

Всем очевидно, что фермерство пока что лишь идеологический фантом, но накануне весеннего сева начинается разгон колхозов. Ну не абсурд ли — единственные реальные сельскохозяйственные производители дают чиновникам взятки для того, чтобы им позволили провести сев и собрать урожай? Нет, не абсурд! Ибо голод в России — испытанное средство достижения самых разрушительных политических целей. Капитализма в условиях голода не построишь, но организовать массовое братоубийство или массовые репрессии несравненно легче, чем с народом сытым.

Если выбранный способ либерализации экономики не результат вопиющей некомпетентности, то вывод может быть один: искусственно вызываемый культурный шок имеет целью на время разрушить скрепляющие общество устои и перевести его в аномальное состояние готовности к массовому «немотивированному» насилию. Январское повышение цен, угроза голода и грядущая приватизация создают в стране ситуацию, которую Бахтин называл ситуацией гибели богов. При этом человек не меняет систему ценностей, не начинает молиться иным богам— он теряет систему координат, критерии различения добра и зла. А это и есть сбрасывание общества в массовое насилие. Ученый и философ В. Гейзенберг, который наблюдал это в фашистской Германии, пишет: «В жизни отдельного человека это проявляется в том, что человек теряет инстинктивное чувство правильного и ложного, иллюзорного и реального. В жизни народов это приводит к странным явлениям, когда огромные силы, собранные для достижения определенной цели, неожиданно изменяют свое направление и в своем разрушительном действии приводят к результатам, совершенно противоположным поставленной цели. При этом люди бывают настолько ослеплены ненавистью, что они с цинизмом наблюдают за всем этим, равнодушно пожимая плечами».

К выводу о том, что ни о каком строительстве капитализма речь не идет, можно прийти и с сугубо прагматической стороны. Где это видано, чтобы ради капитализма разрушали действующий производственный потенциал — что может быть противнее капитализму! Вот было создано в России налаженное промышленное птицеводство, уже два десятка лет оно работало, как машина, не требовало никакой идеологии, никакой административно-командной системы. Куры (все сплошь белые) исправно несли свои яйца, которые шли на стол и «люмпенам», и партократам, и самому Артему Тарасову. И ведь пришлось приложить немалые усилия, чтобы разрушить эту систему! Может ли кто-нибудь внятно объяснить — зачем?

Когда спрашиваешь об этом нашего либерального идеалиста-интеллигента (иной раз даже министра), он начинает заикаться и нести ахинею. Дескать, «в тени старых структур не вырасти поросли новой цивилизации» или «гусеница, превращаясь в прекрасную бабочку, ведь теряет ножки» и проч., и тому подобный бред. Какая поросль, какие ножки! Почему о таких простых, обыденных вещах, как птицеводство, вдруг начинают вещать языком столь высоких метафор? Тут что-то не так.

Быстрая и радикальная приватизация в наших условиях чревата риском утратить значительную часть промышленного капитала из-за ликвидации и расчленения малорентабельных предприятий или их систем. Этот подход взят советскими экономистами из арсенала американских управленческих школ, предназначен он для совершенно иных условий, которые от наших отличаются по всем существенным параметрам. Он вовсе не есть условие продуктивного капитализма. Япония, например, демонстрирует совершенно иное мышление и иное отношение к промышленному потенциалу как национальной ценности (независимо от отношений собственности). По свидетельству американского обозревателя, в Японии «трудно понять, где кончается правительство и начинается частный сектор. Японцы никогда не бросили бы начто столь драгоценное, как их промышленная база, на произвол грубых рыночных сил. Чиновники и законодатели защищают промышленность, как наседка цыплят».

Радикальные рыночники во всех бывших соцстранах настаивают на денационализации, распродаже государственной собственности. Но там и не скрывается, что это преследует чисто политические цели — разрушение экономической основы социалистических отношений, после чего эти малые страны надеются быть принятыми в «общеевропейский дом». Уже сейчас промышленный потенциал Чехо-Словакии подорван настолько, что уровень 1989 года они в лучшем случае достигнут через 15 лет. Разумные чехи никогда не пошли бы на это без гарантий. Но России не только никто гарантий не давал — нам прямо сказали, что ни на какую существенную помощь мы рассчитывать не должны.

Сейчас обманутой чувствует себя и Польша, утратившая уже около 40 процентов своего производственного потенциала. Польские экономисты забили тревогу — они предвидят ликвидацию Польши как развитой страны. Вот один из ведущих экспертов, убежденный антисоциалист Рафал Кравчик пишет: «Необходимо задать вопрос: что понимается под рыночной распродажей государственного имущества! Идет ли речь о внутреннем рынке, отделенном от остального мира стеной, или имеется в виду именно мировой рынок, то есть допущение свободной иностранной конкуренции на польском рынке капитала, которую наверняка не выдержат польские экономические субъекты? В результате польское государственное имущество по дешевой цене перейдет в собственность иностранного капитала, а солидный отечественный капитал не сможет возникнуть в обозримом будущем».

Прислушаемся к тому, что пишет Кравчик: «Выдвигаемая до недавнего времени в качестве единственной концепция приватизации посредством продажи национального достояния иностранному капиталу влечет за собой превращение поляков в современных зулусов, которые будут работать, возможно, даже за оплату в валюте, на иностранных предприятиях. Ни один поляк, даже бывший министр промышленности Вильчек, не будет в состоянии вступить в конкурентную борьбу с ИГ Фарбен, Круппом, Зингаром, Дюпоном или ИБМ. Когда «большая распродажа» будет завершена, на месте потенциального польского капитала останется только пустыня. Это будет крупная сделка между государственной бюрократией и иностранным капиталом. И предотвратить ее надо стараться всеми силами, если мы чувствуем ответственность за судьбу будущих поколений».

Авторы экономической реформы в России категорически не допускают передачи заводов в пользование или собственность трудовых коллективов. Они не допускают даже предоставления коллективам контрольного пакета акций под смехотворным предлогом: государство или коллектив управляют менее эффективно. Да, как показал опыт, в стабильной экономике — на 10—12 процентов менее эффективно. Но сейчас-то речь идет о режиме разрушения. Сейчас речь идет не об альтернативе: 18 проц. прибыли при частном хозяине или 16,2 проц. прибыли при коллективной собственности. Ни о какой прибыли при обвальной приватизации и речи быть не может. Министр промышленности России предвидит падение производства на 50 процентов (после того, как оно уже упало на 30 проц.). Речь идет именно об экономическом геноциде, а не об одном проценте прибыли.

Да и предоставление контрольного пакета акций кому угодно, хоть иностранцам, но не коллективу, означает полный контроль над экономикой России. Для этого достаточно контролировать две-три отрасли (например, производство алюминия). И такого контроля можно достичь за смехотворно малую сумму в долларах. Вот что пишут экономисты — коллеги Гайдара: «Даже сравнительно небольшая доля участия в капитале позволяет иностранным инвесторам извлекать значительную выгоду. Благодаря финансовому и технологическому превосходству над местным партнерством иностранные инвесторы в состоянии концентрировать в своих руках административное и техническое руководство предприятием и, следовательно, интегрировать его в свой транснациональный производственный комплекс. Ряд американских экономистов вообще считают, что любую компанию можно рассматривать как филиал современной монополии, если последняя владеет хотя бы 5 процентами ее капитала. При портфельном участии транснациональные корпорации могут получить право решающего голоса и в том случае, когда национальная доля акций распылена среди многих владельцев» («Развивающиеся страны в сетях финансовой зависимости», с. 17). Таким образом, предполагается все предприятия России сделать филиалами иностранных фирм.

Хотелось бы думать, что целью наших реформаторов является распродать общенародную собственность их цивилизованным друзьям, а народы России превратить в дешевую рабочую силу — «зулусов», которых все же будут кормить похлебкой. Но и для этого совершенно поиному должна была бы идти реформа, без ненужных оскорблений, без искусственного раскола и озлобления. Нет, судя по всему, сохранить нам жизнь хоть и на уровне «зулусов» не предполагается. Ситуацию сдвигают к геноциду и этноциду — ликвидации целых этносов. Об этом говорит и целенаправленная идеологическая кампания по снятию одного из важнейших табу — запрета на убийство ближнего.

ЗАЧЕМ УСТРАНЯЮТ ЗАПОВЕДЬ «НЕ УБИЙ»!

За годы перестройки мы привыкли к тому, что еще недавно казалось вещью совершенно немыслимой — к систематическому убийству людей прямо на улице, среди бела дня и при большом стечении народа. Это убийства по политическим, а не корыстным мотивам. Это убийства не конкретных личностей, а врагов — всех тех, кто по какому-то признаку относится к целой группе, которую завладевшие властью политики посчитали вражеской. И не важно, что это за власть — избранного президента (как в Грузии), националистов-неформалов (как в Нагорном Карабахе) или мафиозной группировки (как в Фергане). Важно, что это уже власть, которая может приказать: иди и убей!

Какую же роль во всем величественном проекте перестройки сыграл процесс формирования всех этих типов власти? Зачем во всех концах страны выращивали и пестовали маленьких и больших политиков, которые исподволь начали приучать свою паству к виду крови? Можно ли было без этого обойтись? К сожалению, никак нельзя. Нужно было разрушить все узы солидарности, приучившие нас считать друг друга братьями — равными как человеческие существа (а не как бобы уравниловки, это было второстепенным).

Теперь перед идеологами встала трудная задача: убедить, что люди — не братья, что «человек человеку — волк», что «ворон ворону глаз выклюет». Братоубийство для этого — лучшее, хотя и сильное средство. Человек, привыкший к присутствию братоубийства в нашей жизни, уже не ужаснется при виде угасающих в бедности пенсионеров: «Эва! Вон в Фергане турок живьем сжигают — и ничего!». И убийства на этнической почве взяты лишь как пусковой механизм, снимающий запрет на убийство ближнего. Впереди — убийства (моментальные или медленные) социальных противников. И целенаправленно готовить к ним начала группа радикальных интеллектуалов. Демократ-идеалист возмутится опять, дескать, его пугают заговором. Не сама эта терминология порождена традиционным механистическим мышлением. Какой заговор! Речь идет о трех-четырех десятках гуманитариев, которые между собой непрерывно общаются. А резонанс их идеологические сообщения приобретают благодаря огромной мощности прессы и телевидения.

Вот как газета «Московский комсомолец», морально готовя нас к рыночной экономике, излагает сущность человека: «Изгнанный из эдемского рая, он озверел настолько, что начал поедать себе подобных — фигурально и буквально. Природа человека, как и всего живого на земле, основывается на естественном отборе, причем на самой жестокой его форме — отборе внутривидовом. Съешь ближнего!». Этого раньше никогда не слышал русский человек — ни от родителей, ни от учителя, ни от священника, ни от власти.

Очень важная вещь: все современные идеологи, разжигающие ненависть между людьми, ссылаются на авторитет **науки**. Еще бы! Наука в «цивилизованном» обществе заменила **религию**, и при звуках ее трубы здравый смысл сразу отключается. Так вот, в большинстве случаев идеологи **нагло врут** — ничего подобного их призывам наука не утверждает. Послушаем, что говорит лауреат Нобелевской премии Конрад Лоренц. Нашему читателю дали познакомиться лишь с его книжками про гусей и медведей, но не эти книги — главные. Вернувшись из русского плена со своим прирученным воробьем, он, бывший военный врач, занялся исследованием поведения животных и человека. Он сделал важный шаг в выяснении связи **инстинктов** человека и **культуры** и сказал много таких вещей, которые нам было бы очень полезно знать в годы перестройки. Так, в своей статье 1955 года «Об акте убийства себе подобного» он писал: «К несчастью, пропагандисты войны всех времен показали, что практическое знание человеческих инстинктов, которым они обладают, гораздо более верно, чем моральные истины, излагаемые самыми тонкими философами. И они знают, что инстинктивный запрет на убийство противника можно снять, говоря людям, что противник не является «подобным им», что он не принадлежит к тому же виду, что и они». Действительно, выделившись из животного мира и обретя разум и свободу воли, человек в то же время стал уязвим: присущий всем животным **инстинктивный запрет** на убийство своего ближнего в человеке может быть снят средствами **культуры**, убеждением, что жертва — **не ближний**.

Наше общество, прежде всего интеллигенция, очень быстро освоило двойные стандарты в отношении человека — хотя бы в этом мы действительно возвращаемся в мировую цивилизацию. В январе 1991 года среди студентов МГУ был проведен опрос, в котором просили назвать наиболее важные события месяца. События в Литве (захват телебашни и гибель 14 человек) важнейшим назвали 17 проц. опрошенных, а события в Южной Осетии, где погибли сотни человек и имел место **геноцид**, отметили 0,6 проц. О печати и говорить нечего. Почти в один день произошло убийство 6 таможенников в Литве и взрыв террористами поезда Москва — Баку, при котором погибло 15 человек. Первое событие несколько дней было главной темой газет. Горбачев обещал «бросить лучшие силы КГБ и МВД» на поимку террористов. Второму событию пресса посвятила 6 строчек, а о том, чтобы направить на поиск террористов хоть какие-то силы, и речи не было.

Следуя положению английского неолиберала Р. Скрутона, что «недовольство усмиряется не равенством, а приданием законной силы неравенству», для разрушения уравнительного идеала в общественном сознании широко применяется «**биологическая**» аргументация. Доказывается, что в результате революции, войн и репрессий произошло генетическое вырождение большинства населения СССР, и оно уже не поднимается выше категории «человек биологический». Видный социолог В. Шубкин в журнале «Новый мир» так делит человечество на подвиды: **Человек биологический** — «существо, озабоченное удовлетворением своих потребностей... речь идет о еде, одежде, жилище, воспроизводстве своего рода». **Человек социальный** — «непрерывно, словно четки, перебирает варианты: это выгодно, это не выгодно... Если такой тип не нарушает какие-то нормы, то лишь потому, что боится наказания, у него, как видно, нет внутренних ограничений, можно сказать, что он лишен совести». **Человек духовный** — «это, если говорить кратко, по-старому,— человек с совестью. Иначе говоря, со способностью различать добро и зло».

Каково же, по выражению В. Шубкина, «качество **населяющей нашу страну популяции**» (одно это выражение чего стоит!)? Это качество якобы удручающе низко: «По существу, был ликвидирован человек социальный, поскольку любая самодеятельная общественная жизнь была запрещена... Человек перестал быть даже «общественным животным». Большинство людей было обречено на чисто биологическое существование... Человек биологический стал главным героем этого времени». А человек **биологический**, ясное дело, не принадлежит к тому же виду, что наша новая элита (брокеры, менеджеры и т. п.). Это — люди **социальные**, а то и **духовные**.

Примечательно, что западные интеллектуалы еще сохраняют приличия. О том, что на Земле якобы завелось слишком много людей «второго сорта», они говорят намеками, иносказательно. А наши рыночники-радикалы простодушно режут правду-матку. На Западе в солидном журнале не встретишь таких заявлений, как в «Вопросах философии», где Н. Ф. Реймерс и В. А. Шупер ставят все точки над «i»: «На кончике иглы можно поместить сколько угодно чертей, но наша планета приспособлена не более чем для 1—1,5 млрд. людей»!

Этим всё и сказано. Право жить на Земле советские гуманисты теперь оставляют лишь одному человеку из четырех! Необходима срочная выбраковка, **селекция** человечества, и на ее идеологическое обоснование брошены сейчас огромные культурные силы. Известный ученый, народный депутат СССР Н. Амосов в «Литературной газете» сетует на то, что в анкетах наших граждан еще не отмечено, относятся ли они к виду **сильных или слабых**. Он предлагает научный подход к устранению этой трудности и пишет: «Неравенство является сильным стимулом прогресса, но в то же время служит источником недовольства слабых... К сожалению, ни одной задачи не решить, потому что отсутствует исходный материал — не изучена психосоциальная природа человека. Нет распределения людей по типам (сильные, слабые)... Научный подход к познанию и управлению обществом мне представляется в проведении исследований по двум направлениям. Первое — крупномасштабное психосоциологическое изучение граждан, принадлежащих к разным социальным группам».

Три года пресса снимала у людей, поверивших в рыночный рай, инстинктивное табу на убийство ближнего. Она доказывала, что «люмпены» — **не ближние**. Теперь аргументов добавили. «Люмпены», оказывается, еще и **фашисты**. Да они, оказывается, даже и **не люди** — добавляет «Московский комсомолец»! А чтобы не страдало экологическое сознание и не возмутилось английское Общество защиты животных, успокаивают: «красно-коричневые» — **не люди и не звери!** Неведома зверушка, и убить ее — большого греха не будет.

Какой же тип людей окажется лишним в будущей благословенной цивилизации? Это прежде всего **иррациональные массы и люмпенизированные толпы**. А уже показано, что из них и состоят некоторые отсталые народы — и прежде всего русский. Философ и публицист Григорий Померанц пишет в «Огоньке» (1992, № 1) о русском народе: «По данным опроса, примерно четверть населения предпочитает жить впроголодь, но работать спустя рукава. Я думаю, что даже больше, и каждый шаг к цивилизации сбрасывает с дороги миллионы люмпенов, развращенных сталинской системой и уже не способных жить ни при какой другой». Но если обратно, в «казарменный социализм», дороги нет, а **ни в какой другой системе** более 80 миллионов наших сограждан, согласно Померанцу, жить не могут, вывод один — они должны умереть!

И уже сейчас, загодя, делается обратный ход от образа социального врага к этническому. Вот критик Лев Аннинский в газете «Россия» выступает с позиций любви и жалости к неразумному русскому народу: «Мы, русские люди, не можем переключиться на постиндустриальное общество... Мы... — не народ работников... Мы не приспособлены для того типа жизни, в который человечество вошло в конце XX века и собирается жить в XXI... У нас агрессивный, непредсказуемый, шатающийся, чудовищно озлобленный народ». Приговор вынесен и обжалованию не подлежит. К тому типу жизни, в который якобы вошло человечество, мы не приспособлены. И сама наша принадлежность к человечеству ставится, таким образом, под сомнение.

Вот такую научную и культурную элиту вырастил наш народ на свою голову. И все же, надо думать, у нас остался еще запас инстинктов и деревенской смекалки, чтобы не дать себя обдурить так, как дал себя обдурить шестьдесят лет назад слишком цивилизованный немецкий народ. Врут наши идеологи-антихристиане. И сейчас моральный долг честных ученых объяснить людям, что заповедь «Не убий!» — не поповская выдумка, а отраженный в культуре **биологический инстинкт**, без которого и не возник бы род человеческий. Но особого энтузиазма ученые в этом не проявляют — время такое, еще назовут «коричневым»...

И ведь прекрасно знают и наши интеллектуалы, и политики, что снятие запрета на убийство не может быть **односторонним**. Как только тот, которого вычеркнули из рода человеческого, поймет, что **его** разрешено убивать (будь то из пулемета или с помощью цен на хлеб и молоко), у него автоматически снимается моральный запрет на убийство **их**. Очень важный шаг в этом направлении сделали власти 23 февраля. И страшным признаком качественного изменения явился факт, которому наши правители, похоже, радуются, но тут уж точно по некомпетентности. Это тот факт, что избиение **почти не вызвало возмущения**. Вспомним: тех солдат, которых в августе вывели на улицы путчисты, люди не боялись. **Это были их** солдаты. И когда пролилась **кровь**, пусть даже, как показало следствие, не по вине военных, всех всколыхнул взрыв возмущения. **Своих** «человек с ружьем» **бить** не должен. Иное дело — 23 февраля. Перед стариками стояло почти 20 тысяч молодцов, и это была уже **чужая** сила. Она била не сограждан, она била **классового врага**. Режим объявил войну и предупредил, что он постарается воплотить в жизнь угрозы Попова «выпустить артиллерию и авиацию». Речь идет о совершенно новом явлении в истории — **политическом беспределе**.

ОТ ГЛАСНОСТИ — К ПОЛИТИЧЕСКОМУ БЕСПРЕДЕЛУ: ЭВОЛЮЦИЯ МЫШЛЕНИЯ НАШИХ «ДЕМОКРАТОВ»

После учредительного съезда Движения демократических реформ один из его основателей, мэр Москвы Г. Х. Попов в своей пресс-конференции рассуждал о том, как, по его мнению, надо будет поступать в случае массового недовольства радикальной экономической реформой (если, не дай Бог, кого-то «поднимут на вилы»). Страх перед голодной толпой «люмпенизированных социальных иждивенцев», как мэр обычно называет трудящихся, стал, похоже, навязчивой идеей новых отцов русской демократии. Вот как выразил Г. Х. Попов их установки: «Я считаю возможным и необходимым применить в этом случае силу и применить ее как можно скорее. Лучше применить безоружных милиционеров, чем вооруженных. Лучше применить вооруженную милицию, чем выпускать войска. Лучше применить войска, чем выпускать артиллерию, авиацию... Так что с этой точки зрения — вопрос простой».

И все же полезно разобраться в этом простом для демократа Попова вопросе, **ибо выпускать** войска или авиацию будут **именно против нас, и не какой-то большевистский тиран, а избранная нами демократия.**

Итак, по порядку. Общеизвестно, что в мире не найдешь столь терпеливого и непритязательного народа, как русский, — на Западе это и называется **«загадочная русская душа»**. Так что Попов, как и другие демократы, прекрасно знают, что возмущенные люди выйдут на улицу лишь когда дело дойдет до крайности. Не потому, что с жиру бесятся или требуют каких-то **гражданских** прав, а потому, что дети начали болеть и умирать с голоду (старики, видно, умрут тихо). Именно против этих людей Попов «считает возможным и необходимым применить силу». Да еще как можно скорее. К чему же такая спешка? Чтобы путем **устрашения** парализовать всякие попытки сопротивления. Так грабитель наносит жертве быстрый и сравнительно безвредный удар («лучше милицию, чем войска»), чтобы парализовать волю — а вовсе не потому, что ему нравится бить людей. А что раздетый на морозе человек замерзнет или дети после вздувания цен захиреют — так это издержки переходного периода, зато всем будет лучше, когда у нас появятся богатые. Источник богатства в обоих случаях один и тот же — не производство, а перераспределение благ (а значит, обнищание ограбленных одинаково неизбежно — снимают ли с тебя пальто в переулке или заставляют покупать мясо по 80 рублей).

Чего добивается мэр с помощью **угрозы применения силы** (на языке дипломатов эта угроза — действие скорее войны, чем мира; в нашем случае войны против собственного населения)? По сути, добивается ликвидации уже последнего оставшегося у населения средства волеизъявления. В течение шести лет мы видели, как под лозунгом демократизации сокращались возможности населения выразить свои идеалы и интересы. Устранены все старые, «нецивилизованные», хоть и со скрипом, но действовавшие системы: парторганизации, профсоюз, трудовой коллектив, народный контроль, общественное мнение, пресса, вынужденная следовать официальной идеологии. Одновременно парализованы все обещанные демократические механизмы: разогнаны советы, бутафорией стали парламентские шоу и референдумы, резко антирабочие позиции заняла пресса. И, как логичное завершение всего демократического фарса, — угроза применить артиллерию и авиацию против городов, где будут иметь место антиправительственные демонстрации. Ведь не думает же Попов, что самолеты и гаубицы будут гоняться за отдельными профсоюзными активистами или даже партийными ячейками. Для этих родов войск объектом является **целый населенный пункт**.

Но угрозы и идея парализующего «безвредного» удара — мелочь. Важнее вся **военно-демократическая доктрина** лидера ДДР, вся цепочка допустимых для него действий. Их диапазон он очертил сам: от невооруженных милиционеров до артиллерии и авиации. Это значит, что установившаяся в результате перестройки «демократия» в арсенал своих законных и допустимых политических средств включает уничтожение больших масс безоружного населения с помощью современной военной техники. В этом отношении она делает колоссальный шаг вперед по сравнению со всеми известными диктаторскими режимами. До сих пор в истории человечества кровавые режимы **втягивались вопреки своей воле** в войну на уничтожение против населения. Этому всегда предшествовал длительный период репрессий против конкретных лиц из числа оппозиции. Если и бывали бомбардировки населенных пунктов (как, например, в Сальвадоре или Гватемале), то, во-первых, уже на этапе открытой гражданской войны с вооруженной оппозицией. А во-вторых, против населения, очень отличного от элиты в этническом и культурном отношении (против курдов в Иране и Ираке или крестьян-индейцев, которые до сих пор являются «чужим» народом для креолов Сальвадора). Попов же допускает возможность авиационных бомбардировок населенных пунктов России, причем в тот момент, когда и речи нет об организованной гражданской войне, а возможны лишь стихийные вспышки отчаяния.

При этом начисто отсутствует этап «втягивания» в войну, когда насилие хоть как-то оправдывается принципом «око за око». Напротив, теперь считается признаком демократии и правового государства, что нормальных полицейских преследований оппозиции не будет, — объектом ударов будет именно **население**. В сентябре по телевидению В. Иваненко изложил программу нового, «демократического» КГБ России. На вопрос, откуда теперь исходит опасность для государства, он ответил, что теперь КГБ не будет заниматься диссидентами, главная опасность — **социальный взрыв**. Такова логика революционной перестройки: врагами «антинародного режима партократов» были две-три сотни диссидентов, врагами «демократической» власти оказались народные массы — они становятся теперь объектом внимания КГБ.

О чем говорит импульсивное, а потому откровенное высказывание Попова? О том, что в его мышлении (и можно утверждать, что в мышлении его единомышленников-демократов) отсутствуют **инстинктивные**, подсознательные запреты на определенные действия в отправлении власти. Отсутствуют те **табу**, которые без всякого усилия ума, а просто биологически (сердцем) заставляют властителя держаться в рамках некоторых нравственных пределов. Любой политик, который такие пределы имеет, на заданный Попову вопрос ответил бы совершенно по-иному. Он указал бы тот порог, который не в силах переступить и по достижении которого он уйдет в монастырь или пустит себе пулю в лоб. Быть может, этот политик при виде крови сам обезумеет и перейдет все пределы, но сейчас, в светлый день Движения демократических реформ (чего стоят одни слова!), перед микрофонами прессы, нравственный политик гонит от себя саму эту мысль.

Во многих отношениях перестройка оказалась революцией, принципиально отличающейся по своим разрушительным последствиям от всех революций, которые пережило человечество. Причина в том, что эта революция — совершенно новое явление в **этическом плане**. История не знает такого масштаба обмана, таких изощренных предательств и интриг. Перестройка и тесно связанные с ней явления в других странах вводят человечество в эпоху **политического постмодерна**, где не действуют привычные нормы и ограничения (бомбардировки Ирака и, в еще большей степени, использование всего его мирного населения как заложников, убиваемых голодом, — всего лишь примеры). Высказывание Попова обнажило страшную вещь, о которой предупреждали некоторые теологи уже в 50-х годах: наступил момент, когда политики отбрасывают служившие ранее маскировкой христианские или социалистические нормы. Впервые явно и открыто переносятся в политику моральные устои самой безнравственной, почти **внеправственной**, категории преступников — тех, кто исповедует **беспредел**.

Конечно, остается еще молчаливая сила, на которую ссылается Попов, но которая, по обыкновению, никак не реагирует на высказывания политиков. Это — Советская Армия. И нельзя не обратиться к ней с вопросом: неужели она уже настолько трансформировалась, что достаточно Попову ее **выпустить** против голодного народа, как она с готовностью нажмет на гашетки орудий и бомбовых люков? Или это — клевета? Не случайно Попов выбрал столь необычный термин. Он не сказал: «послать войска, направить авиацию». **Выпустить!** Как будто речь идет о своре, горящей от нетерпения и ждущей лишь разрешения броситься на жертву. Неужели солдат и офицеров не придется гнать на такое дело заградительными отрядами демократических эсэсовцев?

Есть еще надежда, что Попов блефует, что армия подобные приказы выполнять не будет. Значит, придется демократам создавать наемные карательные войска (что уже, видимо, и делается при попустительстве армии, всегда бывшей защитницей народа). Остается лишь просить, чтобы этих карателей одели в импортные комбинезоны цвета хаки — чтобы не пачкали они русскую военную форму.

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Несомненно, что уже подавляющее большинство наших сограждан интуитивно ощущают надвигающуюся страшную беду (хотя мало кто еще психологически готов ее сформулировать). Возникает множество течений, которые условно можно обозначить как «государственно-патриотическое движение» (ГПД). Оно пытается консолидироваться как оппозиция находящемуся у власти течению «либеральных демократов». И уже видно, сколь велики стоящие перед ним трудности.

ГПД изначально взяло на себя функцию **охранительную**, а его противник — **разрушительную**. Первая — намного труднее, а, скорее всего, на этой стадии процесса недостижима вообще. У противника же каждый шаг — достижение некоторой цели. Его позиция беспроигрышна и тем привлекательна. Когда бы ни был прерван разрушительный проект демократов, они останутся в выигрыше и удовлетворены. Недаром Горбачев выразил наконец согласие с принципом Троцкого (он назвал его Бернштейном): «Движение — всё, цель — ничто!».

ГПД не имеет понятного и **неопороченного** образа будущего, на котором оно могло бы основать свою идеологию. Образ дореволюционной России «снят» революцией 1917 г., образ России — СССР «снят» перестройкой. Большевики в 1917 г. имели, помимо отрицания эффективно опороченного образа прошлого, религиозно-утопический образ уравнительного социализма как «царства Божия на земле». Сегодня демократы, по аналогии, смогли (при участии многих патриотов) опорочить образ СССР и внедрить в сознание людей, особенно молодежи, столь же религиозно-утопический образ западного потребительского рая. Возник самый опасный тип современного фанатического нигилизма, о котором Гейзенберг писал: «Наихудшей формой нигилизма, с которой мы встречаемся в настоящее время во многих частях мира, является иллюзионистский нигилизм... нигилизм, полный иллюзий и самообмана».

На стороне «демократов» не только вся Западная цивилизация, но и подавляющее большинство самой русской интеллигенции. И в материальном, и в культурном смысле они держат в руке и кнут, и пряник. Чтобы встать на сторону ГПД, значительная часть народов России должна проникнуться пониманием **трагичности** ситуации, осознать разрушительный проект во всей его полноте. Но такого понимания нет даже в среде элиты самого ГПД. Понимание придет, но останется ли время действовать?

Да и не только в непонимании дело а в том, что речь идет о необратимом и почти самоубийственном выборе. Обозначив реальность **словом**, описав хотя бы как возможность будущую катастрофу, ГПД сжигает мосты и предстает как **партия войны**. В то время как «демократы», даже осуществив почти полный геноцид русского народа, все время будут сохранять образ **партии мира**, только допускающей, как выразился Бурбулис, «неловкости и ошибки». Проект демократов — **медленное** убийство под наркотической анестезией. Напротив, тяжелая обязанность ГПД — выведение народа из гипноза болезненным ударом в лицо. Какова будет реакция разбуженного?

Проект «демократов» — подведение духовно наркотизированного народа к пропасти, но по дороге с **терпимым** уклоном, с возможностью привыкания к трудностям, снятием на каждом этапе исторической памяти и гибелью малых частей целого (распад страны, гибель науки, удушение пенсионеров, социально слабых контингентов и т. д.). При такой технологии всегда остается надежда, что «ну, наукой пожертвуем, а сами спасемся; ну, старики свое пожили, не погибать же всем из-за них». Единственный шанс ГПД — приглашение **пройти к спасению через огонь**. Как правило, животные и наркотизированные лю-

ди на это не способны и идут от огня в центр круга, где обречены на гибель. Провести через огонь может или духовный лидер, или самоотверженный тиран. Эти фигуры по заказу не появляются.

«Демократы» — сильный противник. Они поняли и учли опыт и большевиков, и противостоявших им российских государственников, и архетипы русского народа (изучили и Достоевского, и Бахтина), и современную теорию революции Антонио Грамши. Они осуществляют свой разрушительный проект исключительно экономно, с использованием минимума идей и интеллектуальных ресурсов. Насмешки патриотов над убогостью культурных средств противника несостоятельны. Средства убоги — но **большего и не нужно!** Русский народ в его нынешнем состоянии более изощренных средств духовного порабощения и не требует.

«Демократы» овладели хотя и полуразрушенной, но мощной системой тоталитарного государства, силой которого (а вовсе не идеями и не инициативой снизу) и идет разрушение. Это создает для ГПД не только технические трудности (информационная и экономическая блокада, провокации и репрессии), но и неразрешимое противоречие самого проекта, его философской базы. Будучи по своему генотипу **охранителями государственности**, патриоты уже оказываются в роли **революционеров**, а значит, хоть на время — разрушителями государства. Для большинства и активистов ГПД, и сочувствующих, и наблюдателей будет исключительно трудно (если в принципе возможно) разрешить это противоречие.

Немало и устранимых трудностей, которые при желании можно еще успеть изжить. Так, ГПД проявляет удивительную беззаботность по отношению к выработке основных своих тезисов, кредо. При самом благожелательном отношении к нему трудно сформулировать внятно его цели и критерии — все декларации туманны, расплывчаты и внутренне противоречивы. Судя по всему, лидеры ГПД, в отличие от их противников, составляют систему, пока что не обладающую механизмом **рефлексии**. Это позволяет противникам даже при минимальном искусстве провокации (а этим искусством они обладают в большой степени) регулярно заводить ГПД в ловушки, выбираться из которых приходится ценой тяжелых потерь. Просто попытка довести лозунги ГПД до их логического завершения уже на втором шаге приводит человека в тупик. Значит, эти лозунги в самом ГПД рефлексии не подвергались.

Верхушку ГПД составляют люди, не имеющие привычки вести **штабную работу** политического движения. Речь идет о кропотливых интеллектуальных разработках и рабочих обсуждениях. Напротив, на проект «демократов» нормально, в обыденном смысле слова, **работает** большое число специалистов — они просиживают штаны, как обычные рабочие лошади умственного труда.

Но, пожалуй, самое главное и трагическое обстоятельство в том, что ГПД изначально расколото и состоит из действительных наследников России — **красных и белых**. Чтобы консолидироваться, оно должно «преодолеть себя», взять трудную высоту. У демократов же гетерогенность иного рода — попутчики, удовлетворив свои запросы, могут «отваливаться», как ступени ракеты, не мешая ядру двигаться дальше.

Но «преодолеть себя», не позволить искренним правдоискателям и умелым провокаторам растравить старые раны оказалось очень трудно. Это видно по принятой во многих патриотических изданиях трактовке того трагического раскола русского общества, который был связан с большевизмом, революцией и гражданской войной. Некоторые издания все определеннее занимают в этой трактовке белую позицию, с нарастающей компонентой антикоммунизма. Что это означает, на мой взгляд, в самых разных планах?

Это нейтрализует тот катарсис, который испытала Россия в гражданской войне, низводит трудное, обновляющее осмысление происшедшего (а оно шло все эти семьдесят лет) до уровня банального реваншизма. Может, это прозвучит грубо, но такая трактовка есть опошление национальной трагедии.

Это, на мой взгляд, неверно в принципе, поскольку марксизм и европейский коммунизм были лишь фразеологической оболочкой большевизма («Чевенгура»). А на деле речь шла (и идет!) о сугубо русском духовном и даже религиозном движении, и оно захватило большинство народа. Что же, отбрасывать его из русской жизни, да еще с фальшивыми ярлыками? Достоевский так не поступил бы. Он не давал банальной трактовки ни русскому нигилизму, ни даже русской «бесовщине». И ведь Платонов пророчески показал: именно когда чевенгурцы пережили кровавый и разрушительный экстаз и стали возвращаться к человеческой жизни, к труду, — именно тогда и явился «цивилизованный» отряд и всех их поголовно уничтожил. Так разве с этим отрядом должны сегодня быть патриоты России?

Россия после 1920 г. выжила благодаря той огромной душевной силе, с которой залечивались раны гражданской войны в семьях. Не дай Бог эти раны снова грубо вскрыть. Да и не о ранах уже речь, соль на раны — средство отвлечь всех нас от той огромной силы, которая надвигается на наши народы и готова растоптать судьбы наших детей. Занятые старыми ранами, мы не способны оказать ей сопротивление. И это тем более трагично, что **русские красные** и **русские белые** в своих фундаментальных основаниях между собой расходятся гораздо меньше, чем в сравнении с той «цивилизаторской» силой, которая разжигает пал **великой чистки евразийских пространств.**

ВЛАДИМИР ОВЧИНСКИЙ

КОНТРПЕРЕСТРОЙКА

И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое.

«Новый завет».

КОГДА сегодня раздаются призывы вернуться в «светлое брежневское прошлое», обеспечить «нулевой вариант» всех политических и экономических реформ, то начинаешь задумываться над тем, можно ли было жить дальше так, как все мы жили, или действительно «так жить было нельзя»? Парадокс заключается в том, что ни маразм верховного правления страны, ни коррумпированность его окружения, ни феодально-мафиозная власть в регионах не ставили рядового гражданина страны в такое трагическое положение, в каком оказался он в последние четыре года — незащищенный, бесправный, униженный, с потерей Родины, и над всем этим издевательски циничная формула «общечеловеческих ценностей». И разве тот же рядовой гражданин не имеет право на ностальгию о своем недавнем прошлом, где не было ни потоков крови, «иноязычных» и «иноверцев», ни колонн беженцев, ни расстрелянных детей и стариков, где матери не получали похоронок о погибших в боевых действиях сыновьях на своей земле?

Так свидетелями и участниками чего все мы явились? «Бархатной революции»? Перестройки? Построения демократического общества? Или процесса, который можно назвать **контрперестройкой?**

Контрперестройка — узаконила развал в е л и к о г о государства — СССР, а теперь уже и России.

Контрперестройка — поставила в положение изгоев, лишила гражданства миллионы людей.

Контрперестройка — заставила скитаться по белу свету сотни тысяч беженцев.

Контрперестройка — позволила реанимировать фашизм.

Контрперестройка — на долгие годы превратила в непримиримых врагов целые нации и народы.

Контрперестройка — привела на грань нищенского существования бóльшую часть населения.

Контрперестройка — обеспечила приоритет мафии, защитила ее от возмездия за прошлые преступления и дала неограниченные возможности для совершения новых.

Контрперестройка — разрушила хозяйственные связи, привела к угрозе голода, заставила страну встать на колени с протянутой рукой.

Контрперестройка — расколола общество на враждующие группы, подвела к последней черте, за которой — гражданская война.

БЫЛА ЛИ КОНЦЕПЦИЯ ПЕРЕСТРОЙКИ?

Как-то так получилось, что за чехардой феноменальных событий осталась без внимания теоретическая работа М. С. Горбачева «Статья, написанная в Форосе», опубликованная в его книге «Августовский путч (причины и следствия)». А зря! Статья эта — безусловно концептуальная, в ней как раз и делается попытка ответить на вопросы, волнующие сейчас если не всех думающих людей, то большую их часть: «Нужна ли была обществу перестройка, или это роковая ошибка? Какие ее истинные цели? Что такое обновление государства? Надо ли было начинать столь рискованные преобразования?»

Начнем с последнего вопроса и под-

ОВЧИНСКИЙ Владимир Семенович родился в 1955 году. Кандидат юридических наук. Один из авторов книги «Постперестройка». В нашем журнале опубликовал статью «Финансовая война» (№ 5, 1991 год, в соавторстве). Живет в Москве.

твердим нашу прежнюю позицию о том, что преобразования в СССР были неизбежны. Согласимся здесь с выводом М. С. Горбачева о том, что «мы были супердержавой с неэффективной экономикой, стали фактически сырьевым придатком развитых государств с жизненным уровнем граждан в несколько раз ниже, чем у них». Это — точка отсчета. От данного вывода никуда не уйти, и всякие призывы вернуться в «брежневский рай» объективно ничем не оправданы. Хотя бы потому, что с экономической точки зрения «перестройка», особенно ее завершающий этап, по существу, и продолжила дело Брежнева по выкачиванию ресурсов страны, развитию туземного обмена с высокоразвитыми странами.

А почему так получилось? Обратимся вновь к статье бывшего Президента СССР.

«Первые выстрелы по перестройке, — пишет М. С. Горбачев, — прозвучали со стороны «догматиков наоборот», которые заявили, что не было плана, не было концепции, что пустились в путь, не зная, куда он ведет...

Я всегда считал, что критика такого рода — либо демагогия, либо недомыслие, примитивизм мышления, заложенный в головы сталинским по сути, интеллектуальным воспитанием.

Тот, кто требует сначала все расписать по пунктам, что и как делать, заранее предсказать все последствия каждого конкретного шага преобразований, тот, по сути, — противник реформирования общества, противник политики перестройки. Ибо такого расписания, кроме шарлатанов, не даст никакая академия. Ответ должно дать общество...»

Не будем касаться этической стороны данного вывода и тех ярлыков, которыми Михаил Сергеевич наградил всех сомневающихся. Бог ему судья. Поговорим именно о сути его позиции. По существу, «главный перестройщик» отрицает (начисто отрицает) принцип научного управления обществом с учетом объективных законов исторического развития. Ведь научное управление как раз и предполагает максимально точное предсказание каждого конкретного шага преобразований и, далее, требует все расписать по пунктам, что и как делать. Не было бы этого, не было бы ни японского, ни южнокорейского, ни чилийского, ни американского, ни китайского «чудес». Не буду голословным и адресую читателей к докладу совета «Римского клуба», подготовленного А. Кингом и Б. Шнайдером под названием «Первая глобальная революция». Работа эта была в центре многих дискуссий на последнем годичном собрании «Римского клуба» (Монтевидео, Уругвай, 18 — 20 ноября 1991 г.). Сам по себе указанный доклад — образец предсказания каждого конкретного шага преобразований (на глобальном, мировом уровне) с попыткой расписать по пунктам, что и как делать. А проблеме управления в докладе посвящена целая глава «Управление и способность управлять», где говорится, что управление социальной системой «обеспечивает ее безопасность, процветание, согласие, порядок и целостность... концепция управления не должна сводиться только к макросистемам (на национальном и международном уровне), она относится также к таким социальным подсистемам, как образование, армия, частные предприятия и даже семья...»

Игнорирование М. С. Горбачевым основополагающих принципов научного управления (прогноз и план) и привело страну к потере управляемости как на общенациональном уровне, так и на уровне социальных подсистем. Именно это явилось поражением и банкротством первого и последнего Президента СССР в декабре 1991 года. Отказаться от детального плана — заранее обречь себя на поражение, лишить возможности адаптироваться к ситуации. Иллюзорными и ошибочными явились и другие его основные концептуальные установки, изложенные в «Статье, написанной в Форосе».

«— Общество стремительно деидеологизируется. Монопольное доминирование одной партии заменяется плюрализмом».

Вместо деидеологизации произошла гиперидеологизация общества, что нетрудно было предвидеть еще в 1987 году, когда был запущен маховик так называемой «деидеологизации». Пресса, телевидение, улица и даже квартира идеологизированы как никогда. Вместо плюрализма довлеет диктат официальной власти (даже на должности начальника милиции и службы безопасности Москвы назначают вновь не по принципам профессионализма, а по партийной принадлежности, теперь уже «демократической»).

«— Обе реформы открыли стране двери к вхождению по «общим правилам игры» в мировую хозяйственную систему».

Во-первых, СССР всегда был важнейшим элементом мировой хозяйственной системы. Во-вторых, на кого распространяются «общие правила игры», если каждая из бывших республик Союза играет по своим правилам, а общие правила для СНГ, вяло родившись, тихо умерли? В-третьих, заинтересованы ли США, Германия, Япония, Китай, чтобы бывший СССР играл по «общим правилам»? М. С. Горбачев не отвечает на эти вопросы.

«— Об угрозе мировой войны редко кто вспоминает».

Тут уж позвольте категорически не согласиться. Наоборот, начиная с октября — ноября 1991 года, многие аналитические и стратегические центры Запада и Востока не устают публиковать свои прогнозы, сценарии будущих военных действий. Общий вывод таков: с момента ликвидации СССР повысилась опасность возникновения «очаговых» ядерных конфликтов, многовариантность их протекания. Вот, например, как оценены итоги «перестройки» французским «Фигаро» в январе 1992 года:

«...непосредственным следствием распада Советского Союза явился конец двухполюсного противостояния, созданного на основе явного столкновения и скрытой договоренности. Партнеры-соперники с Востока и Запада прекратили играть в свои старые игры; равновесия страха отныне не существует; древний закон блокировки конфликтов в ядерной зоне отменен. Две войны — в Югославии и на Кавказе — незаметно вспыхнули там, где еще вчера были абсолютно немыслимы.

Таким образом, перед нами ситуация третьего типа опасности, правила и даже действующие лица которой нам пока что незнакомы. Замена СССР четырьмя или более государствами, унаследовавшими его арсенал, но не имеющими ни стратегической зрелости, ни соответствующей инфраструктуры, сопряжена со значительным риском. В любом случае это событие поставило под вопрос процесс стабильности, неприменения и нераспространения ядерного оружия, в который постепенно начинал втягиваться СССР.

А ведь вопрос о прекращении гонки вооружений, поставленный в 1985 году, по-прежнему остается актуальным. Договоры об ограничении обычных вооружений и о коллективной безопасности в Европе, подписанные в ноябре 1990 года в Париже, еще не ратифицированы на Востоке. Договор о ССВ, инициатива Буша и ответ Горбачева, ознаменовавшие собой лето и осень 1991 года, пока что не получили подлинного подтверждения.

Зато весьма сомнительна возможность применять эти договоры в ситуации полного хаоса в республиках — наследницах СССР...».

О реальной угрозе новой мировой войны предупреждает уже и «демократическая пресса». В статье В. Юровицкого «Гром гремит, земля трясется, третья мировая война начнется» («Мегаполис-экспресс», 4 марта 1992 г.) называется даже предполагаемый год начала войны — 1994-й. «Именно сейчас мир, — пишет В. Юровицкий, — как никогда ранее близок к мировой войне, возможно, даже термоядерной».

«— Говорят о распаде нашего государства. Но распадается не государство. Сложившееся на протяжении тысячелетия, оно живет и будет жить... Сейчас складывается подлинно добровольное объединение народов, и это придаст небывалую прочность нашему Союзу... Советский Союз остается и будет великой державой, без которой не могут решаться мировые дела... И не было недостатка в мрачных пророчествах, в панических заявлениях о неизбежной катастрофе. Между тем из этих сложностей страна, как правило, выходила сильнее, крепче. Так будет и с Советским Союзом».

Что означают эти президентские перлы? Ведь к моменту подписания книги в печать (21 октября 1991 г.) не было ни одного политолога и политика, который бы не понимал, что СССР доживает последние дни, что катастрофа уже происходит, что запущен такой механизм деструкции по развалу Союза, что его не удалось удержать даже с помощью ГКЧП? Видимо, именно здесь сказались серьезные дефекты в прогностическом обеспечении Президента СССР.

«— Впервые за многие годы и десятилетия проводится внешняя политика, которая подчинена нашим национальным интересам, «работает» на наши внутренние дела».

Данный вывод иначе, чем издевательством и цинизмом, назвать нельзя. Ведь с геостратегических позиций внешняя политика времен перестройки не только не отражала национальные интересы, она была антинациональна и по методам, и по последствиям. (Чего стоит лишь одна история с уничтожением ракетного комплекса «Ока» — «Правда» от 7 апреля 1992 г.!) Более того, она была предательской по отношению к нашим бывшим сателлитам и военным союзникам. Она была полностью вестернизированной, проамериканской, что нарушило глубокие области геополитического равновесия в мире. Для внутренних дел, кроме новой «головной боли» в виде неустроенных воинских частей, недопоставок продуктов питания и товаров первой необходимости, роста межнационального и конфессионального противостояния, она ничего не дала.

«Архитекторы перестройки» без устали боролись за «общечеловеческие ценности», навязывая своему народу новые представления о нравственно допустимом и оправданном. Но являются ли «общечеловеческие ценности» приоритетной ценностью для тех, кто настойчиво «рекомендовал» нам изменить свое мировоззрение? Отнюдь нет!

Из статьи Генри Киссинджера «Какого рода новый мировой порядок?» («Вашингтон пост», 3.12.91):

«...Нам не нужна незаинтересованная внешняя политика, а нужно определение национального интереса, которое встречает общее согласие дома и отвечает интересам других обществ.

Всякие серьезные размышления о мировом порядке должны исходить из предпосылки, что исторический опыт стран ведет к различному подходу к внешней политике, равно как и география, и ресурсы. Вот почему доктрина коллективной безопасности неприемлема ни в каких других случаях, кроме случая самой крайней опасности для мирового порядка. Двоякая предпосылка коллективной безопасности — что нации одинаково рассматривают каждую угрозу и готовы идти на равный риск — просто неприменима в большинстве мыслимых ситуаций...

...В мире, где у действующих лиц такой абсолютно различный опыт, не могут действовать основные предпосылки коллективной безопасности.

...Международное право также не может быть высшим руководством к действию. Конечно, нарушения его — фактор, с которым надо считаться. Но если мы будем стараться противиться всякому нарушению международного права американской силой, то мы истощим

свои физические и психологические ресурсы.

Здравый смысл американцев рассчитывает на распространение демократии для решения проблем международного порядка. Но борьба за демократию, видимо, будет столь же длительна, сколь различны концепции демократии в разных культурах. Во всяком случае, распространение демократии вовсе не обязательно способствует мирному поведению.

...Переосмысление национальной безопасности должно привести к концепции национального интереса, отличной от двухдержавного мира «холодной войны», — более разборчивой в определении целей, с менее катастрофичной стратегией и прежде всего более региональной в своих очертаниях. Всякий другой подход станет все более неприемлем к концу десятилетия, которое началось с иллюзии, будто Америка осталась единственной сверхдержавой.

Однако имеется целый ряд проблем, которые никогда раньше не были объектом глобальных соглашений и которые в высшей степени важны в смысле исторических ожиданий Америки. Это новая повестка дня, в которой значатся рост населения, состояние окружающей среды и распространение ядерного оружия. Население мира выросло с 1 млрд. в 1850 году примерно до 6 млрд. к XXI веку. Это огромное население создает прежде немыслимую необходимость экономического роста и в то же время находится под угрозой катаклизма, сопряженного с ядерной технологией. Обе эти проблемы настолько беспрецедентны, настолько сложны и глобальны по своим последствиям, что международный порядок начинает превращаться в угрозу внутреннему управлению».

Явно не «перестроечный» подход предлагает Г. Киссинджер в определении стратегии внешней политики США. И никак этот подход не соотносится со взглядами бывшего Президента СССР:

«— ...важно не потерять ориентиры, остаться приверженными социалистической перспективе...»

Разве это самое важное, Михаил Сергеевич? И что такое социалистическая перспектива в Вашем понимании? И если уж Вы упомянули национальные интересы, то важно, чтобы именно они рассматривались как перспектива. А уж как это будет обеспечено: социализмом, капитализмом или соцкапитализмом, — это уже дело второстепенное...

...Когда внутренне убежден, что все делал верно, что осуществил мечту своей жизни, обидно, конечно, слышать призывы не выпускать из страны до судебного процесса...

Но что уж обижаться на тех, кто не оценил Ваших «великих» замыслов и «грандиозных» дел. У каждого человека мыслящего есть право нравственно судить.

О СУДЬБЕ «ШЕСТИДЕСЯТНИКОВ»

Судьба их плачевна. Она и не могла быть иной. Потому что сами сказали, что «иного не дано». И вот уже З. Млынаржу грозят в Чехословакии тюрьмой «за помощь русским в 1968 году», а «архитектора» советской перестройки А. Н. Яковлева «по поручению демократической власти начинают пугать допросами». «Я вот дожил до того, — пишет Александр Николаевич, — что мне звонят домой и говорят: «Ну что, допрыгался, и тебя теперь на суд потащат?» Такой благодарности я от демократической власти не ожидал» («Известия», 15.02.1992 года).

Значит, боком выходят задуманные «архитектурные проекты» реформации «тоталитарного общества». И совсем уже не хочется плакать от умиления, взирая по ТВ на концерт Б. Окуджавы, когда по другой программе вновь и вновь гонят кадры разгона мирной праздничной демонстрации стариков и подростков в День Советской Армии.

«Возьмемся за руки, друзья»? (или за резиновые дубинки?)

О ПЕРЕСТРОЕЧНОЙ «ЗУБАТОВЩИНЕ»

Сейчас уже не секрет, что основные действия по разрушению «административно-командной системы» и «казарменного социализма» в Восточной Европе шли «одним валом» сил партийно-бюрократического аппарата и госбезопасности. Участие этих сил в свержении тоталитарных коммунистических режимов Чехословакии, Румынии, ГДР, Болгарии и других стран зафиксировано во множестве публичных признаний бывших сотрудников госбезопасности этих стран и следственных документах.

«Москва, — твердо заявляет Ян Румл, нынешний заместитель министра внутренних дел Чехословакии, бывший член движения «Хартия-77», — еще в 1988 г. наметила проект замены коммунистами-реформаторами тогдашних руководящих групп в Чехословакии, Болгарии и Румынии... У нас эта смена должна была быть спровоцирована грубым обращением полиции с участниками демонстрации по случаю какой-либо годовщины. Первоначально эта операция планировалась на 21 августа 1989 г. (в день советского вторжения в 1968 году), но тогда оказалось не слишком много демонстрантов. Ну а 17 ноября ожидалось много молодежи». Но инициаторы заговора «не знали, что недовольство чехословацкого общества столь глубоко, что люди не удовольствуются лишь косметическими изменениями, они потребуют смены режима». («Мегаполис-экспресс», 3 января 1991 года).

Прочитайте книгу Б. Николаевского «История одного предателя. Террористы и политическая полиция». До чего же похожи методы С. В. Зубатова на технологию работы бывшего КГБ времен перестройки! Сами создали антигосударственные движения, сами вырастили оппозицию власти, сами выпестовали из отборной агентуры «лидеров» и «трибунов» — и сами попали под молох «революционной борьбы» осведомителей...

...Прунскене, Друк, Емельянов... теперь и Чепайтис — верный соратник Ландсбергиса и «загадочные», еще не названные информаторы из Народного фронта Латвии...

Кто следующий? И надо ли гадать? Когда, следуя методике Сергея Васильевича Зубатова, каждые 30—40 процентов из «перестроечных героев» работали на КГБ (именно такая цифра случайно вырвалась у одного из членов комиссии ВС РСФСР по расследованию деятельности КГБ), а потом стали вести двойную, тройную игру (вернее, антиигру). И стоит ли пенять на «агентов влияния», если эти агенты так бережно выращивались «своею собственной рукой»?

...Заигрались. Причем во всем. По-видимому, это тот случай, когда профессиональная деформация доходит до болезненного состояния, и начинается игра во все стороны. Заигрались даже в «крупномасштабной» комбинации по внедрению «демократического» генерала КГБ О. Калугина в демократическое движение. «Можно ли ему верить? — вопрошает «Нью-Йорк таймс» (23.01.1992 г.). — Или он подвержен синдрому перебежчика, то есть сначала сообщает самые сенсационные сведения, известные непосредственно ему, а затем выдает мозаичную информацию, скомпонованную и приукрашенную таким образом, чтобы она всегда оставалась интересной для слушателя?»

Даже некоторые ведущие асы американской разведки сбиты с толку, поскольку этот 57-летний русский, начавший свою тайную деятельность как студент — выпускник факультета журналистики Колумбийского университета и корреспондент радио Москвы при ООН, вызывает у них одновременно подозрения и восхищение.

«Большой ловкач, самый ловкий парень, какого я знал за много лет, и конечно же себе на уме,—отметил Уильям Колби, бывший директор ЦРУ. — Возможно, на наших глазах происходит то, что обычно случается с перебежчиками — сначала, когда они переходят на другую сторону, они очень милы, а потом, когда дело идет к их отправке на какую-нибудь ферму в Арканзасе, они внезапно заявляют: «Да я ведь знаю кое-что еще».

«СТАРИК БЖЕЗИНСКИЙ НАС ОТМЕТИЛ»

Збигнев может торжествовать! Не каждому из ученых и политиков удается при жизни осуществить свою затаенную мечту! Ему удалось. «План игры» (так называлась изданная в 1986 году его книга о геостратегической борьбе США и СССР) выполнен на все 100%: СССР уничтожен, коммунизм побежден, Россия доведена до уровня «третьего мира». В интервью американской телекомпании Си-эн-эн 22 декабря 1991 года З. Бжезинский заявил:

«...Думаю, нам надо осознать, что произошло нечто историческое по своим масштабам — и хорошее. Прекращение существования Советского Союза — это хорошо, поскольку это означает, что плюрализм, хотя бы на многонациональной основе, организовано закрепляется в Советском Союзе. Белый дом в этом вопросе постоянно отстает от развития событий. Мы говорили и шептали, что хотим, чтобы Горбачев оставался у власти (выделено автором. — В. О.), чтобы сохранялся какой-то советский центр. Но суть в том, что децентрализация в Советском Союзе — это необходимый отправной пункт для конечной — я подчеркиваю слово «конечной» — демократизации того, что было Советским Союзом, и для конечного экономического оздоровления там. Без децентрализации не произойдет ни того, ни другого. Так что это очень хорошее и очень позитивное событие...»

Остались маленькие штрихи—сбить рубиновые звезды с Кремля, выселить всех номенклатурных коммунистов из их квартир (и кому отдать — «жирным котам» на телеаукционах?), провести Нюрнбергский процесс над КПСС, ввести запрет на профессии для бывших членов компартии...

Именно такие задачи менторским тоном ставил Збиг перед своими восторженными почитателями в бывшем Союзе во время очередной «инспекционной» поездки по стране в конце 1991 года.

И выполняют, выполняют директивы Бжезинского... Спешат отчитаться. Но Збиг непреклонен. Медленно идет процесс, нечего там радоваться Западу. Особенно беспокоят нашего доброжелателя остатки «прокоммунистических» режимов в Средней Азии. В уже названном интервью Бжезинский на вопрос: «А какой может быть независимая роль киргизов, казахов, узбеков и т. д.?», — ответил: «Многие из них нежизнеспособны как независимые образования с экономической точки зрения, некоторым еще предстоит пройти долгий путь к созданию по-настоящему национальных политических элит. Более того, в нескольких из них новые элиты, находящиеся теперь у власти под новыми национальными флагами, — это те же старые элитарные слои коммунистической партии, притворяющиеся национальными элитами (выделено автором. — В. О.). Так что для того, чтобы система устоялась, потребуется немалое время...»

О какой системе говорит Бжезинский? И не первый ли звонок прозвучал для властей Средней Азии в «студенческих» волнениях в Ташкенте? А затем в Душанбе?

«ВСЕ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ...»

Этот древний закон вечен для общества. Тайна потому и является скрытым, мистическим началом человеческой сути, что имеет внутреннюю потенцию обязательно стать предметом всеобщего обозрения и удивления. Не составляют исключения и тайные операции спецслужб. Но почему-то не ахнул и не закричал: «Караул! Парламентское расследование!» демократический истеблишмент после сенсационной публикации Карла Бернстайна «Священный союз» в нью-йоркском «Таймс» (перепечатанной, кстати, в еженедельнике «За рубежом» в № 9 за

февраль 1992 года). Не закричал хотя бы так же громко, как кричал о финансировании КПСС зарубежных компартий. А кричать было о чем. В статье шла речь:

— о заключенном еще в июне 1982 года в Ватикане союзе президента США Р. Рейгана, руководителей его спецслужб и папы римского Иоанна Павла II о проведении тайной кампании с целью ускорить процесс распада коммунистической империи;

— о том, как после этого в Польшу по контрабандным каналам доставляли тонны технического оборудования — факсы, печатные станки, передатчики, телефонную аппаратуру, коротковолновые приемники, видеокамеры, ксероксы, телексы, компьютеры; маршруты определяли и обеспечивали церковь, американская агентура, представители Американской федерации труда и Конгресса производственных профсоюзов (АФТ—КПП) и европейских профсоюзов. Деньги для запрещенной «Солидарности» поступали из фондов ЦРУ, «Национального фонда демократии» (США), с тайных счетов Ватикана и западноевропейских профсоюзных объединений;

— о том, как Лех Валенса и другие лидеры «Солидарности» получали стратегические рекомендации, — обычно их передавали ксендзы или представители американских и европейских профсоюзов, действовавшие в Польше нелегально, — и эти стратегические напутствия отражали образ и ход мыслей и Ватикана, и рейгановской администрации. По мере того, как сопротивление со стороны «Солидарности» становилось все более успешным, ручейки информации на Запад о конфиденциальных решениях польского правительства, содержании контактов между Варшавой и Москвой превратились в буквальном смысле слова в потоки. Информация шла не только через отцов церкви, но и от агентуры в самом польском правительстве;

— о том, как президент США и папа римский отказывались принять основополагающую реальность эпохи — предопределенный Ялтой раздел Европы и коммунистическое господство на Востоке континента. Они были убеждены: свободная, некоммунистическая Польша способна стать кинжалом, вонзенным в сердце советской империи. А если в Польше наступит демократия, за ней последуют остальные страны Восточной Европы;

— о том, как менее чем за три недели до встречи с папой римским в 1982 году президент подписал секретную директиву по национальной безопасности № 32, санкционировавшую ряд экономических, дипломатических и тайных мер для «нейтрализации» усилий СССР по удержанию в своих руках Восточной Европы. В практической плоскости самые серьезные из предпринятых тайных операций были осуществлены в Польше. Главными целями директивы № 32 были: дестабилизировать польское правительство путем осуществления тайных операций, включающих пропаганду и организацию помощи «Солидарности»; муссировать вопрос о правах человека, особенно в связи с положением рабочих и католической церкви; оказывать экономический нажим; осуществлять дипломатическую изоляцию коммунистического режима. В документе, в котором подчеркивалась необходимость защитить усилия по осуществлению демократических реформ по всей советской империи, также содержался призыв к усилению пропаганды и подпольного радиовещания в Восточной Европе;

— о том, как в первой половине 1982 года была выработана стратегическая программа. Цели ее выглядели следующим образом: обеспечить крах советской экономики, ослабить контакты и связи Советского Союза с его клиентами по Варшавскому пакту, навязать реформы в рамках советской империи. Эта стратегия, в частности, включала пять направлений деятельности*;

— о том, что ни Рейган, ни Иоанн Павел II не могли предполагать в 1982 году, что через три года к власти в СССР придет такой руководитель, как Михаил Горбачев, отец гласности и перестройки, чья реформаторская деятельность открыла путь мощным силам, которые вырвались из-под его контроля и привели к распаду Советского Союза.

Видимо, недалек тот день, когда в печати появятся аналогичные документы спецслужб и по Прибалтике, и по Закавказью, и по Средней Азии, и... конечно же, по Москве? и когда пропадут кривые ухмылки при упоминании роли спецслужб в перестройке и контрперестройке?

Ну а теперь, в обстановке торжества «демократии» в бывшем СССР, спецслужбы Запада и Востока снизят свою активность? Конечно же нет, и никто этого не скрывает! Во время слушаний в группе по военной политике сенатского комитета США по делам вооруженных сил по темам «Угрозы для безопасности

* 1) наращивание военной мощи Соединенных Штатов (оно уже шло полным ходом) имело целью сделать для Советов слишком дорогостоящим и обременительным соревнование с Америкой в военной сфере. «Стратегическая оборонная инициатива» Рейгана — «звездные войны» — стала краеугольным камнем этой стратегии;

2) тайные операции, нацеленные на подстегивание реформаторских движений в Венгрии, Чехословакии, Польше;

3) калибровка финансовой помощи государствам — участникам Варшавского пакта в зависимости от их позиций в деле обеспечения прав человека и степени готовности как к политическим преобразованиям, так и реформам по части рыночной экономики;

4) экономическая изоляция Советского Союза, запрет на поставки ему западной технологии. Американская администрация сконцентрировала усилия на проекте (с целью создать помехи в его реализации), с которым Советы связывали глеевые надежды на поступление твердой валюты в XXI веке — надежды на прибыль от эксплуатации трансконтинентального газопровода протяженностью 5 800 километров из Сибири до Франции. Газопровод вошел в строй в срок — 1 января 1984 года, но его эффективность оказалась гораздо ниже той, на которую рассчитывала Москва;

5) наращивание масштабов использования радио «Свобода», «Голос Америки», радио «Свободная Европа», доведение до народов Восточной Европы позиции американского правительства,

США в будущем» и «Положение в Советском Союзе в настоящее время» в декабре 1991 года директор ЦРУ Роберт Гейтс заявил: «...в распадающемся Советском Союзе наблюдается ряд многообразных внутренних кризисов, потеря власти Центром, существует потенциальная возможность широкомасштабных беспорядков и срыва социальной дисциплины, и все это в стране, которая по-прежнему обладает примерно 30 000 ядерных боезарядов, наиболее мощные из которых все еще нацелены на нас...

...Как показали события последних дней, нигде развитие событий не является более неясным, темпы перемен более стремительными, а сочетание возможностей и опасностей более очевидным, чем в бывшем Советском Союзе...

...Ситуация опасно нестабильна. Во всех бывших советских республиках существуют труднейшие экономические, социальные и политические проблемы, которые осложнят переход к демократии и рыночной экономике и сделают его потенциально опасным. Ситуация в экономике тяжелейшая, и не существует перспектив ее изменения в обозримом будущем. Трудные экономические условия, включая значительную нехватку продовольствия и горючего в некоторых районах, распад вооруженных сил, продолжающиеся конфликты на национальной почве — сочетание таких факторов этой зимой может привести к самым широкомасштабным беспорядкам на территории бывшего СССР с момента упрочения власти большевиков.

Президент России Ельцин сообщил о планах смелых экономических реформ, однако пока не ясно, сможет ли он осуществить их. Ориентированные на рынок реформы будут сопровождаться инфляцией и безработицей, что может спровоцировать социальный взрыв, который поставит под угрозу стабильность оперяющихся демократических правительств. Нельзя исключить вероятность того, что в этих условиях возможно возвращение к власти авторитарного правительства, которое возглавят либо реформаторы, потерявшие надежду накормить народ и предотвратить взрыв, либо националисты, руководствующиеся атавистическими, основанными на ксенофобии представлениями о России...

...В краткосрочной и среднесрочной перспективе нас глубоко тревожит возможность того, что колоссальные экономические и социальные трудности, с которыми сталкивается большинство этих новых демократических сил, могут обречь их на поражение».

Задачи поставлены, цели определены. За работу, господа. Во имя спасения «новых демократических сил»!

Судя по показаниям Роберта Гейтса в конгрессе уже в конце февраля 1992 года, ЦРУ вовсе не «отводит глаза» от происходящего в бывшем Советском Союзе. Не ослабил внимание к нам и Пентагон. Американские газеты — «Нью-Йорк таймс» и «Вашингтон пост» сообщили в феврале 1992 года о секретном плане, составленном в недрах Пентагона в связи с проходящим в настоящее время сокращением и перестройкой вооруженных сил США.

В плане говорится, что в случае необходимости американские вооруженные силы должны быть готовы вмешаться в международный конфликт или даже в «чрезвычайную ситуацию», если они затрагивают «жизненные интересы» Соединенных Штатов.

В качестве иллюстрации приводятся семь «гипотетических», то есть предположительных или даже умозрительных ситуаций, которые, несмотря на эти оговорки, базируются на реально имеющейся разведывательной информации и оценках.

В частности, в Пентагоне рассуждают о схеме действий в случае «нападения России на Литву», что затронет «жизненные интересы США». Предполагается, что такая атака могла бы быть совершена под предлогом защиты русских в Литве — в районе польско-литовской границы (с захватом части территории не только Литвы, но и Польши). При этом предполагается участие Белоруссии на стороне России и нейтралитет Украины. Ответом на это должна стать мобилизация и прямое участие вооруженных сил НАТО и США. В опубликованной в начале 1992 года в «Нью-Йорк таймс» секретной «Директиве в области обороны на 1994—1998 финансовые годы» (разработанной в Пентагоне) прямо сказано: «Наша первоочередная задача — не допустить появления на территории бывшего Советского Союза или где-либо еще нового соперника, представляющего угрозу, аналогичную той, что исходила от СССР».

Как показало столкновение американской и российской подводных лодок в территориальных водах России, американцы по-прежнему продолжают шпионить за вчерашним потенциальным противником. Шпионить несмотря на то, что президенты начали называть друг друга «мой друг Джордж» и «мой друг Борис». После инцидента с подводной лодкой «Батон руж» представители Пентагона заявили, что намерены и впредь следить за Россией.

Как сообщила газета «Лос-Анджелес таймс», американские разведывательные самолеты и спутники-шпионы, как и в годы «холодной войны», прощупывают воздушное пространство и территорию России и других республик СНГ. Ядерные ракеты и истребители-перехватчики, военно-морские силы по-прежнему остаются в боевой готовности на случай, если «новая эра вдруг скиснет».

По данным «Вашингтон таймс» (29 января 1992 года), кроме ЦРУ и Пентагона, «сверхсекретное» Агентство национальной безопасности объединило ряд отделов своей службы радио- и радиотехнической разведки для того, чтобы более целенаправленно вести электронный шпионаж в эпоху после окончания «холодной войны»...

Агентство национальной безопасности использует международную сеть постов электронной разведки, корабли и спутни-

ми для прослушивания иностранных систем связи. Оно наблюдает за системами дипломатической, военной, научной и коммерческой связи, а также за испытаниями и передвижениями, связанными с ядерным оружием. Агентство, насчитывающее примерно 20 000—40 000 сотрудников, является одним из крупнейших работодателей в штате Мэриленд.

Ожидается, что его бюджет, составляющий, по подсчетам, ежегодно более 3 млрд. долларов, уменьшится весьма незначительно в рамках предлагаемого администрацией Буша бюджета разведведомств на 1993 финансовый год примерно в 30 млрд. долларов. В своем выступлении в 1991 году президент Буш заявил сотрудникам Агентства национальной безопасности, что «радио- и радиотехническая разведка является одним из главных факторов в процессе принятия решений, в соответствии с которым мы определяем внешнеполитический курс нашей страны».

По словам официальных лиц, одним из главных приоритетов агентства после распада Советского Союза является сбор информации о бывших советских ученых, которые занимались созданием ядерного оружия и хотят работать на правительства стран третьего мира, стремящихся получить ядерное оружие.

Оно также занимается сбором информации о возможной тайной продаже или похищении ядерного оружия и его компонентов из числа 80 000 единиц ядерного оружия, имеющихся у нового Содружества независимых государств.

По словам директора ЦРУ Роберта Гейтса, американская разведка возглавляет международные усилия по наблюдению за 1 млн. человек, которые участвовали в производстве советского ядерного оружия, включая около 2 000 ученых, обладающих достаточной квалификацией для разработки ядерного оружия.

Перед разведслужбами США и других стран встала еще одна непростая задача — насытить резидентурой и агентурой все республики бывшего СССР после его распада. Здесь пригодится система, апробированная в Литве. Там спецслужбы США, по данным бывших работников КГБ республики, действуют уже вполне открыто, под «крышей» своего официального представительства и американских советников при Верховном Совете республики. Работают они по четырем основным направлениям: а) отстаивание интересов США в Литве в противостоянии с Германией; б) консультирование и организация работы местных спецслужб в выявлении и уничтожении «коммунистического подполья»; в) организация сбора компрматериалов на бывших сотрудников республиканского КГБ с целью их вербовки или привлечения к уголовной ответственности за «криминальную» деятельность; г) перевербовка сотрудников КГБ Литвы, переезжающих на работу в другие регионы бывшего СССР с целью внедрения «своих» людей в спецслужбы стран СНГ (через препятствия в продаже квартир, угрозы физической расправы, аресты за «путчизм» и т. п.).

Да, многосерийный американский телебоевик «Я — шпион», «радовавший» глаз москвичей на протяжении нескольких недель начала 1992 года, в скором времени получит «достойное» продолжение в реальной жизни.

КТО РЕАНИМИРУЕТ ФАШИЗМ?

Благодаря стараниям А. Яковлева, А. Янова, А. Нуйкина, О. Лациса в обиход постперестроечного лексикона быстро вошло сочетание «красно-коричневые». Тем достигнута одна из главных задач контрперестройки — исказить понятийный смысл термина «фашизм», увести массовое сознание от понимания реальной опасности этого явления. И эффект достигнут, да еще какой! Вспомните выступление женщины-инвалида Великой Отечественной войны на митинге демократов на площади Свободы 9 февраля 1992 года: «Там на Манежной площади собрались фашисты. И мы их не пустим к Белому дому!» В этом заключается суть перевернутого раздробленного сознания, когда своих же однополчан, стоящих под знаменами, которые вместе пронесены через всю войну, называют фашистами.

Как правило, те, кто часто используют термин «фашисты» по отношению к оппозиции правительства России и многотысячным митингам обездоленных людей, не раскрывают содержание этого термина либо дают с научной точки зрения совершенно немыслимые определения. Вот, например, характерный образец из интервью «Комсомольской правды» с А. Собчаком (3 марта 1992 года):

«— На митингах коммунистов говорят теперь о «демофашизме». На митингах демократов — о «красно-коричневой чуме». Есть ли социальная база русского фашизма?

— Это — люмпен, люмпен-пролетариат, люмпен-интеллигенция, люмпен-пенсионеры — старшее поколение, требующее дополнительных привилегий. Масса начетчиков и догматиков. Это — самая серьезная опасность. Отсутствует четкая социальная структура общества, в которой преобладающее место занимал бы средний класс, олицетворяющий надежность и требующий гарантий. Ведь люмпенам гарантии не нужны — они заинтересованы в хаосе, бесправии, безначалии. Элемент разрушения общества, возникающий в этой среде, чрезвычайно опасен.

Под флагом национал-патриотизма, социальной защиты происходит объединение трех сил: бывшие партократы, национал-патриоты и наши радикальные демократы. У них одна реальная возможность победы — ошибки нынешней власти...»

Эта полная, с методологических позиций, абракадабра звучит из уст весьма квалифицированного ученого-юриста и политика. Неужели перед интервью трудно было заглянуть хотя бы в «Философский словарь», изданный в 1991 году под редакцией хорошо знакомого А. Собчаку академика И. Т. Фролова, где черным по белому написано, что фашизм — это не «старшее поколение, требующее дополнительных привилегий», а «открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических элементов финансового капитала. Установление фашизма выражает неспособность господствующей буржуазии удерживать свою власть обычными, «демократическими» средствами. Фашизм выступает во главе сил антикоммунизма, его основной удар направлен против коммунистических и рабочих партий и других прогрессивных организаций...»

Полезно иногда заглядывать в словари с тем, чтобы смотреть на общество не через призму своих субъективных умозаключений и конъюнктурных соображений, а на основе объективного исторического знания. Приведенное определение не является, конечно, идеальным, но основной вектор познания явления оно безусловно дает верный. И именно с таких позиций, взирая на происходящие в Восточной Европе и бывшем СССР события, еще раз убеждаешься в реальной опасности фашизма.

Признаки фашизации «бархатных революций» видны повсюду, где они происходили. В первую очередь это выражено в пещерном ослепляющем антикоммунизме. «Жажда возмездия, — пишет корреспондент «Вашингтон пост» (28 декабря 1991 года), — заметна повсюду в странах бывшего советского блока. Общества, готовые опустить занавес над прошлым всего год тому назад, сейчас ищут способы разоблачить и наказать своих былых угнетателей. Парламенты и частные граждане в течение месяца взвешивали необходимость правосудия и риск освобождения смертельной спирали мести.

И вот жажда мести торжествует:

в Венгрии парламент отменил закон о давности в отношении убийства и государственной измены, совершенных после антикоммунистического восстания 1956 года, и сейчас рассматривает закон в духе чехословацкого, который изгонит всех информаторов тайной полиции из парламента, правительства, средств массовой информации и, возможно, даже из среды духовенства.

— В Болгарии демократически избранный премьер-министр Филип Димитров занял свой пост в октябре, пообещав, что «едва ли останется какой-нибудь коммунистический лидер, который избежит преследования». Он сказал: «Мы не говорим о мести, мы говорим о справедливости».

— В Польше президент Лех Валенса проводил кампанию в пользу декоммунизации бюрократии и армии — хотя он до сих пор еще не сказал явно, как это сделать.

Но, как это ни удивительно, стремление общества к мести кажется сильнее всего в Чехословакии, на родине «бархатной революции». «Декоммунизация», или «чистка», или «поиски красных под нашими кроватями», здесь называется «охота», и началась в ноябре 1991 года с принятием всеобъемлющего закона о декоммунизации, который требует, чтобы все бывшие старшие функционеры коммунистической партии, партийной полиции и их сотрудники были уволены с работы или понижены в должности.

Эта чистка проводится при помощи средства, которое показалось бы знакомым Францу Кафке, пражскому бытописателю человека, преследуемого безликой бюрократией. Это рукописный список 140 тысяч имен, в котором значатся все, кто сотрудничал — будь то систематически или мимолетно — с тайной полицией в период между захватом власти коммунистами в 1948 году и их падением в ноябре 1989 года.

Упомянутый закон имеет статью, которую можно назвать «доносительской». Она разрешает любому гражданину за 35 долларов потребовать проверки кого бы то ни было — сослуживца, конкурента или друга. А за 6 долларов всякий может узнать, нет ли его самого в списке».

Как видим, все делается по апробированным «методикам» Гиммлера и Гейдриха.

Но антикоммунизмом фашизация не ограничивается. Буйным цветом расцветают фашистские организации в их «классическом» виде. Естественно, первенство в этом вопросе — за Германией.

По оценке руководителя федерального ведомства по охране конституции Э. Вертебаха, на конец 1991 года в ФРГ насчитывалось в общей сложности 40 тыс. членов экстремистских группировок, большинство из которых являются приверженцами неонацистских партий — Национал-демократической партии Германии и Немецкого народного союза.

«В бывшей ГДР, — заявил Э. Вертебах в интервью газете «Вельт ам зонтаг» (ноябрь 1991 года),— тоже имелись организации «бритоголовых», существовали экстремистски настроенные группы, однако их деятельность в те времена «замалчивалась, поскольку портила внешний вид этого антифашистского государства». После объединения Германии «члены правоэкстремистских группировок из западных земель ФРГ очень быстро переместили свою деятельность на восток, чтобы вербовать там людей в свои организации».

Относительно Германии подтверждается и наша гипотеза (см. статью «Дуга нестабильности» — «День», № 1, 1991 год) о быстром возрождении неофашистской доктрины «этноплюрализма» на фоне контрперестроечных процессов. Любопытно в этой связи интервью сербского добровольца, данное им «Комсомольской правде» (25 февраля 1992 года): «...посмотрите, кто первым поддержал словенцев и хорватов, кто помогает им деньгами и оружием — Германия и ее союзники во второй мировой войне — Италия, Испания, Австрия, Венгрия плюс католический Ватикан. Зачем Германии это надо — ясно: после объединения она выходит на новый уровень, ей нужен выход к Адриатическому морю, а оттуда — в Африку, на Ближний Восток. Не забывайте, что обе мировые войны были начаты немцами, и сорок пять лет — ничто по сравнению с тысячелетним немецко-

славянским противостоянием. Германия сегодня вновь набирает силу, и у нее все тот же сон».

Если бы так мыслил только отдельно взятый серб. Но вот, например, мнение президента Совета международной безопасности в Вашингтоне, опубликованное в «Крисчен сайенс монитор» (Бостон, 13 января 1992 года):

«...Нынешняя обстановка в мире, напоминающая нам о периоде между двумя мировыми войнами, потенциально более взрывоопасна. С возрождением объединенной Германии снова возникает классический вызов для соотношения сил в Европе. Несмотря на то, что Бонн наравне с другими странами поддерживает усиливающуюся интеграцию Европы, угроза, которая присуща мощной Германии, внушает некоторое беспокойство, принимая во внимание чреватую опасностями историю отношений Берлина с Москвой...

...Взоры объединенной Германии обращены на Восток. Вот почему франко-германское военное сотрудничество таит в себе риск отделения американской мощи от Европы. Если это произойдет и если Германия перенесет весь свой вес на Восток, то Европейское сообщество будет сведено до роли младшего партнера. Германия, будучи главным партнером в переговорах с Востоком, может стать нашей главной головной болью в Европе. Факты передачи в весьма значительных масштабах германской химической, ядерной и ракетной технологии Ирану, Сирии, Ливии и особенно Ираку вызывают большое беспокойство относительно роли Германии в ЕС.

Примером беспрецедентной демонстрации своего могущества было решение Германии признать независимость Словении и Хорватии, а также попытки снова восстановить традиционное немецкое влияние на весь этот район на Балканах. Это показывает, где находятся интересы безопасности Германии и ее восточных соседей...»

В опубликованных у нас недавно воспоминаниях любимца Гитлера, суперразведчика рейха Вальтера Шелленберга, показаны удивительно узнаваемые сегодня технологии провокаций и диверсий, направленных на развитие сепаратизма в Европе, которые запускались фашистами накануне Второй мировой войны.

Так что «процесс пошел», как любит повторять бывший президент СССР. И процесс этот перекинулся на бывший Союз.

Один из известных исследователей масонства, оккультизма и фашизма, наш соотечественник эмигрант Валентин Пруссаков полагает, что многое из того, что предсказывал Гитлер в своем завещании, ныне свершается («Московский комсомолец», 14 октября 1990 года). Процессом встревожены многие политики и политологи. Известный правозащитник Валерий Чалидзе (США) в своей статье, написанной специально для «Комсомольской правды», летом 1991 года, прямо назвал режимы в Грузии, Литве и Молдавии как полуфашистские, а принятое там законодательство — как антидемократическое, нарушающее элементарные права человека. Теоретик «пражской весны» 1968 года З. Млынарж видит происходящий сегодня процесс тоже далеко не оптимистично. Он полагает, что «...уже проявляются ростки взаимной нетерпимости. А за ними вполне реально просматриваются будущие тенденции авторитарного развития. Прошлый же опыт подсказывает, что это может быть и авторитаризм правого толка. Ведь в столь часто и с любовью упоминаемые здесь тридцатые годы во всех восточноевропейских странах, за исключением Чехословакии, существовали именно недемократические, авторитарные, чаще всего полуфашистские режимы» (выделено автором. — В. О.).

Фашизм уже вышел из подполья; фашизм уже победоносно смотрит на происходящее, спокойно поправляя портупею на коричневом мундире; фашизм заразил народы бывшего СССР своим вирусом; фашизм под лозунгом «право коренной нации на территорию» уже творит геноцид, не жалея ни детей, ни стариков; фашизм действует.

Сейчас поступают все новые подтверждения. Началась «охота на ведьм», а вернее, на коммунистов и бывших сотрудников (гласных и негласных) КГБ в Прибалтике. Там же принято явно расистское законодательство о гражданстве, заявлены претензии на исконно русские земли, растет антисемитизм, совершаются акты вандализма на еврейских кладбищах. Массовый геноцид и армян, и азербайджанцев ведется с начала 1992 года в Карабахе. Националистический террор развязан в Молдавии. Разгон демонстрации в Москве 23 февраля 1992 года также содержит в себе признаки террора крупного финансового капитала. А в это время демократическая российская интеллигенция закрывает на все глаза и продолжает беззастенчиво раздувать проблему «русского» фашизма, искусственно стимулируя вспышки екстремистских проявлений в ходе возрождения русского национального самосознания. Да как им не вспыхивать, когда на фоне продолжающейся русофобии в средствах массовой информации хасиды штурмуют Библиотеку им. В. И. Ленина, на ступенях «Белого дома» зажигают семисвечник, а в православной святыне — Кремле — празднуют хануку? И все это в условиях резкого падения общего качества жизни, все возрастающей нищеты, гиперинфляции и социальной напряженности!

Кому выгоден «русский» фашизм? Да прежде всего тем, кто под видом борьбы с фашизмом хочет расправиться с любыми формами патриотических движений, с любыми идеологами мощной российской государственности, чтобы довести «план игры» до логического завершения — уничтожения уже не только СССР, но и России как еще потенциально опасного геостратегического соперника. Не случайно в США и Европе в конце 1991 — начале 1992 годов одно за одним проводились совещания о возможности становления фашизма в России. Правы те политологи, которые считают, что для того, чтобы взорвать ситуацию, достаточно еще нескольких ударов по национальному самосознанию русских. И эти удары наносятся один за другим: и в ситуациях с Чечней, и с Черноморским флотом, и с Крымом, и с немецкой автономией на Волге, и с референдумом в Татарстане, и с Приднестровьем...

ЕЩЕ РАЗ О МАФИИ

В моих публикациях «Рынок и мафия» («Юридическая газета», № 17—18, 1991 г., подготовлена совместно с Г. Л. Аврехом) и «Мафия: необъявленный визит» («День», февраль—март 1992 года) изложены многие вопросы этого сложного явления, в том числе его влияния на перестройку. Поэтому здесь хотелось бы обратить внимание читателя только на одно примечательное событие, связанное со статьей «Финансовая война», опубликованной в «Нашем современнике» (№ 5, 1991 год). За период после ее выхода мне и другим авторам статьи пришлось выслушать немало упреков в том, что мы, дескать, искусственно вкупе с бывшим КГБ запугивали советское общество зарубежной мафией и ее влиянием на процессы, происходящие в нашей стране. Обвинения в наш адрес звучали даже с трибуны Верховного Совета РСФСР. Совершенно неожиданно самые немыслимые наши предположения получили подтверждение в статье известной американской журналистки Клер Стерлинг «Заговор с целью ограбления России», опубликованной в январе 1992 года в итальянской газете «Коррьера дела сера» и перепечатанной (еще к большему нашему удивлению) в «Литературной газете» (№ 8, 19.02. 1992 г.). Эта публикация настолько дополняет «Финансовую войну», что я предлагаю вниманию читателя некоторые выдержки из нее:

«Сегодня становится ясным смысл колоссальных операций с советской валютой, проделанных в прошлом году в Европе и Америке. Международная мафия — от сицилийских семей до картелей наркобизнеса — использовала СССР как гигантскую стиральную машину для отмывания «грязных» денег. Огромное количество советских денег, приобретенных на «черном» рынке, должно было способствовать разграблению страны, самой богатой ресурсами на земном шаре...

В прошлом году колоссальные международные операции с советскими деньгами, — пожалуй, самые крупные из всех когда-либо имевших место на черном рынке, — сбили с толку полицию в дюжине стран: только сейчас, сличив банкноты, поступающие из Москвы, Лондона, Брюсселя, Женевы, Цюриха, Риме и Нью-Йорка, полиция начинает отдавать себе отчет в подлинных целях этих акций.

Расследования, проведенные до настоящего времени, показывают, какое огромное количество советской валюты было тайно обменено на доллары с помощью посредников в лице некоторых советских политических деятелей и мошенников (что не всегда одно и то же) западными и восточными банками, картелями наркобизнеса и международной организованной преступностью.

Цифры настолько непомерны, что долгое время в их реальность просто не могли поверить. Условия для подобных операций и впрямь были исключительными. Россия обнаружила неутолимую жажду долларов: по данным ООН, тысяча миллиардов долларов в год — «грязных долларов», появившихся в результате торговли наркотиками и сокрытия прибылей от налогообложения, — нуждаются в «отмывании». Как замечает один швейцарский чиновник департамента национальной экономики, Россия стала «огромной стиральной машиной по отмыванию «грязных» денег»...

Шли разговоры о том, что обанкротившиеся коммунисты — коллеги Павлова, вывозили валюту и золото тоннами с помощью Аэрофлота. Но и группа Ельцина пыталась обменять пятьсот миллиардов рублей на доллары не вполне ясного «происхождения», что и было установлено парламентской комиссией.

Это делалось не обязательно в корыстных целях. Такова была политика правительства. Очевидно, российские руководители не подозревали, что внешний мир кишит акулами...

...Советские мафиозные группировки, вступая в смешанные предприятия, проворачивают множество сделок с мошенническими иностранными компаниями. Сами эти группировки «участвуют» в контрабандной торговле советской валютой» через дипломатический корпус, через служащих различных иностранных фирм и всевозможных бизнесменов.

...Можно утверждать, что различные валютные сделки, заключенные в Москве, могли быть использованы иностранными дельцами в целях проникновения в Россию, а затем и установления господства над остатками советской экономики...»

...Комментарии, как говорится, излишни. Хотя не все так считают. Например, Г. Х. Попов, пребывая в январе 1992 года во Франции, дал интервью «Радио Франс Интернасиональ». На вопрос: «Как экономист, как вы оцениваете роль и степень захвата мафией экономики страны и какова перспектива? Есть ли какая-то перспектива, что мафия трансформируется в определенный бизнес, или России грозит вариант Колумбии?», — он ответил так: «Применительно к Советскому Союзу и к России вопрос о мафии искусственно раздувается противниками преобразований, и в последнее время это уже совершенно стало нагло, если так можно выразиться. Всякий, кто борется с рынком и переходом к капитализму, изображает, что он борется с мафией. На самом деле что такое мафия в классическом варианте? Мафия — это незаконная экономическая деятельность...

...В нашей стране, где десятки запретов на всякую нормальную экономическую деятельность, у нас мафия — это

и основном нормальная деятельность...
Поэтому сейчас, в данный момент острота ситуации в стране такова, что чем больше людей будут заниматься предпринимательством, тем лучше. Я сейчас готов на любых предпринимателей. Пусть будут это мафиози...»

Странная опора на мафию со стороны государственного мужа! Особенно после того, как Б. Н. Ельцин 28 октября 1991 года в своем «обращении к народу» провозгласил борьбу с мафией как необходимый элемент социально-экономических реформ.

Мафия и контрперестройка — вещи неразделимые!

«Мафия и партмафия на перекрестке культур» — под таким названием опубликована в журнале «Общественные науки и современность» (№ 6, 1991 г.) статья Г. Померанца. Обратимся сразу к резюме статьи:

«...Мафия — слово итальянское, и явление это тоже итальянское. Главные гнезда мафии — на отсталом юге (примерно как у нас). Но партмафии в Италии нет. И несмотря на мафию, Италия быстро богатеет. Есть мафия в США. И опять-таки это зло не так уж велико. Пожалуй, оно меньше портит жизнь американцам, чем другие социальные болезни.

Думаю, что и у нас в стране главное зло не в мафии, а в партмафии. И главная проблема — департизация всех правящих структур и ликвидация телефонного права. Пусть с мафией сражаются беспартийные следователи и газеты, свободные от партийного контроля. И хотя вряд ли им удастся победить, но как-то ограничить власть мафии, хотя бы до уровня «мафиозных» стран Запада, я думаю, вполне возможно. С мафией, как с незлокачественной опухолью, как-то можно жить. Социальный организм убивает только партмафия».

Аналогичную позицию занимает и А. Мурашев, заявивший 24 марта 1992 года на радио «Свобода», что «классическим примером мафии была коммунистическая партия», а «говорить о мафии сейчас можно как о группах людей, которые стремятся защитить свои интересы всеми способами».

А теперь попытаемся разобрать по существу эти выводы известного философа и начальника московской милиции и показать патологическую неспособность (или нежелание) нашей интеллигенции видеть мир таким, каков он есть, а не таким, каким его рисует воображение.

Тезис первый: «Главные гнезда мафии — на отсталом юге (примерно как у нас)».

В статье «Италия в руках кланов и оккультной власти» («Монд дипломатик», Париж, март 1991 г.) приводятся слова заместителя прокурора Палермо Джованни Фальконе:

«...Это неверно, что существуют две Италии, как утверждают некоторые. Италия деловая — на Севере, и другая — на Юге, где стреляют... С некоторых пор стреляют и занимаются делами как на Севере, так и на Юге...»

Со своей стороны, мы также можем заявить, что неверно то, что мафия в бывшем СССР на юге, она — везде: в Москве, Киеве, Риге, Владивостоке, Перми, Хабаровске, Тбилиси...

Тезис второй: «партмафии в Италии нет».

Коммунистической, видимо, действительно нет. Но есть другие партмафии. На вопрос: «Как победить мафию?» — известный сицилийский писатель Леонардо Шаша, скончавшийся в 1989 г., ответил так:

«Умберто Сантино, директор Центра документации (Центр Джузеппе Импастато, по имени крайне левого активиста, убитого мафией) и, вероятно, лучший среди весьма редких специалистов по этой преступной организации, подтверждает вывод Шаши: «Христианские демократы остаются партией номер один мафии».

По данным судебных органов, мафия, возможно, контролирует на Сицилии около полумиллиона избирательских бюллетеней, то есть каждый второй голос, поданный за христианских демократов. Убитый префект Палермо генерал Карло Альберто далла Къеза написал после встречи с Андреотти: «Я встретился с Андреотти, и, когда я ему рассказал все, что знал о его друзьях на Сицилии, он страшно побледнел».

Журнал «Панорама» (7.07.91) приводит слова секретаря организации Демократической партии левых сил (ДПЛС) в Катании:

«1985 год. Я особенно хорошо помню мафиозные кланы в том году, потому что тогда они впервые начали широко внедряться в избирательную кампанию. Предстояли выборы в местные органы власти. В бедных кварталах, таких, как Сан-Кристофоро и Каппучини, избирательные комитеты Итальянской республиканской партии (ИРП) производили большое впечатление: каждый вечер устраивались ужины и празднества для десятков избирателей».

Тезис третий: «несмотря на мафию, Италия быстро богатеет».

В уже упомянутой статье в «Монд дипломатик» отмечено, что, «бесспорно, Италия — страна динамичная, пятая мировая экономическая держава (она обошла даже Великобританию, если учитывать невидимую часть ее экономики, то есть ее теневую часть). Но масштабность и серьезность проблем, которые подтачивают ее (на первом месте среди них — беспрецедентное развитие преступной макросистемы), должны все же избавить нас от любой хвалебной риторики в отношении «цивилизации, призванной служить посредником между архаизмом и фантастическим будущим».

Известный публицист Джорджио Бокка в своей последней книге «Разъединение Италии» (1990) пишет: «Для двадцати миллионов итальянцев демократия находится в коматозном состоянии, а Европа отдаляется». Диагноз таков: Италия, разделенная на две части, — производительный и организованный Север, паразитирующий и мафиозный Юг, — государство, расшатанное и не способное обеспечить общественный демократический порядок, юстиция, порождающая все больше и больше несправедливости, тесные связи между мафией во всех ее разновидностях с политическими кругами, часто коррумпированными и пользующимися почти полной безнаказанностью».

Тезис четвертый: «у нас в стране главное зло не в мафии, а в партмафии».

Но департизация проведена, КПСС запрещена и партмафия в понимании Г. Померанца вроде бы решающей роли уже не играет. А злокачественная опухоль осталась и продолжает убивать социальный организм. Значит, мафия оказалась страшнее партмафии? И, видимо, прав французский исследователь Франсуа Витрани, который еще в марте 1991 года писал: «Поскольку призрак коммунизма вследствие отсутствия его борцов перестал бродить по Европе, такое явление, как мафия, напротив, имеет будущее, занимает видное место в современном мире» («Монд дипломатик»).

Пусть читатель поймет меня правильно: полемика с Г. Померанцем и А. Мурашевым — это не способ реабилитации КПСС (тем более что в ней коррупционеров действительно хватало). На данном примере я попытался показать, как, говоря языком военных летчиков, в контрперестроечном процессе запускается «фальшивая цель». Разговоры сейчас о мафии в лице КПСС — как раз и есть такая «фальшивая цель», которая уходит от вопросов о действующей реальной мафии.

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА



ВАДИМ ШТЕПА

ЗАМЕТКИ НЕОКОНСЕРВАТОРА

Трудность оценки происходящих на наших глазах событий заключена еще и в том, что значение многих доселе чистых и даже священных понятий невероятно подменено и невиданно опошлено. Всего лишь год назад еще мало кто предвидел, что слово «Россия» окажется прочно замкнутым в таком «классическом» понимании: «Мы говорим Россия, подразумеваем — Ельцин»... Что слово «патриотизм» будет означать непонятную любовь к РФ — одному осколку России, и нагнетание напряженности в отношениях с «ближним зарубежьем» — остальной ее территорией. Что слово «возрождение» и исторический флаг будут затасканы не имеющими никакого отношения к ним людьми настолько, что вот-вот станут одиозными... Увы, все это не фантасмагория, не дурной сон, все это накрепко вбито в головы миллионов соотечественников, а потому — реальность. Хотя донельзя искаженная и даже невыносимая.

Василий Васильевич Розанов полагал, что «социализм пройдет как дисгармония». Сегодня можно только с грустью констатировать «линейность» этой надежды крупнейшего русского мыслителя — а в начале века действительно верилось, что все вернется на круги своя. Но «гармония» (если выразиться по-розановски) не только не вернулась, пуще того — «дисгармония» так усилилась, что стала казаться непреходящей. На смену социалистической псевдо-России — неопровержимо доказывая эту дисгармонию современности и обескураживая мечтательных искренних «возрожденцев» — приходит потрясающая анти-Россия, максимально пародирующая Россию традиционную по части формальных признаков, но сущностно совершенно ей обратная. Это, по-видимому, и есть уготованный для нас финал фатального общемирового процесса, именуемого европейской неоконсервативной мыслью «субверсией». И очевидно, что вырваться из него невозможно — по крайней мере, без актуализации ницшевского призыва к «переоценке всех ценностей», без обретения русскими консерваторами новых, соответствующих сложившейся действительности ориентиров.

Нет сомнений, что подобный прорыв может быть осуществлен только к о н с е р в а т о р а м и (точнее, консерваторами подлинными): ведь они именно тем отличаются от других политических сил, что стоят на твердых историко-традиционалистских мировоззренческих опорах, которые и дают им возможность хотя бы интуитивно ощущать гибельность современного «мирового прогресса». «Подлинные» консерваторы — оговорка не случайная, ибо даже и это понятие в процессе субверсии подвергается изрядному «переосмыслению»: сегодня нельзя закрывать глаза на то, что уже создана и шумно функционирует так называемая Консервативная партия России, являющая собою кучку карманных леворадикальных политмаргиналов во главе с неким Львом Убожко... И все же истинное понимание консерватизма еще можно и нужно отвоевывать.

БРЕСТСКИЙ МИР II

На рубеже 1991—92 гг. во многих консервативных кругах, ошеломленных моментальным развалом страны и образованием СНГ, воцарилась растерянность. Одни реагировали на это эмоциональными междометиями, другие пытались спокойно, но тщетно апеллировать к «конституционным нормам», а некоторые и вовсе «купились» на заманчивую наживку «славянского содружества»... Однако продуктивная постановка насущного вопроса, прозвучавшая, к сожалению, лишь в немногих публикациях консервативной прессы, выглядела именно так: зачем надо было не просто разрушать страну (это было бы всем ясно), а — реинтегрировать ее в виде «содружества независимых»?

Исследователь геополитики и конспиролог Александр Дугин очень своевременно ввел в русский политический лексикон термин «мондиализм». Раньше, при существовании нашей огромной и сильной страны, мондиалистская угроза казалась бы чем-то отвлеченным и отдаленным; но когда со страной начались такие метаморфозы, выяснилось, что они могут быть объяснены только в русле понятий этого глобального процесса. Мондиализм (от французского «monde» — мир, земной шар) в самом общем виде ныне представляет собой геополитическую доктрину, нацеленную на построение «нового мирового порядка», объединяющего весь мир под влиянием внедряемых международной банкократией сугубо материальных и квазикультурных, в основном американских, ценностей, нивелирующих культурную идентичность (самобытность) каждого народа. Поэтому только «посвященному» читателю мог быть доступен истинный смысл одной декабрьской редакционной статьи в «Дейли телеграф», где сообщалось: «Встреча в Бресте может оказаться столь же значительной, как и встреча в Маастрихте... Декларация о содружестве создает разумную основу для **нового порядка в регионе**» (выделено мною. — В. Ш.).

Незадолго до «нашего» Бреста в голландском местечке Маастрихте собрались лидеры двенадцати западных стран и предприняли там реальные шаги по превращению Старого света в новые Соединенные Штаты. Европейское Сообщество встало на путь эволюции к Европейскому Союзу, к единому интегрированному государственному образованию, из основ которого надо выделить — безусловную открытость границ, политическую независимость членов Союза, которая, однако, при единой финансовой системе становится лишь формальной, а также подчеркнутый американоцентризм, заставляющий усомниться в органичности этого объединения. Причем этот американоцентризм настолько силен, что появившиеся надежды на «германскую доминанту» в ЕС кажутся сегодня во многом безосновательными. В октябре прошлого года автору этих строк довелось побывать на пресс-конференции делегации ХДС, считающейся консервативной (!) партией, и задать вопрос о предполагаемой геополитической ориентации единой Германии — на США или на более близкое сотрудничество с Россией? Член бундестага г-н Клаус Франке, ответственный за связи с Восточной Европой и Россией, ответил на это буквально следующее: он считает США и Канаду «откровенно европейскими державами», без которых построение единой Европы «немыслимо». Комментарии, думается, излишни.

Брестские соглашения, по сути, открыли дорогу к аналогичному типу объединения, правда, «с другой стороны». В «Европе ста флагов» все начиналось с открывания границ, затем следовало постепенное сокращение реальной независимости субъектов интеграции; в «едином Союзе», наоборот — с провозглашения независимости республиками, которые лишь после этого декларировали «прозрачность границ». При этом новое государственное образование СНГ, укрепленное не без помощи вояжировавшего по всем «независимым государствам» Джеймса Бейкера, не имеет практически никаких черт преемственности от исторической России, зато тождество этого типа объединения с европейским прослеживается вплоть до вопроса о центре — и здесь, и в Европе им становится «нейтральный», «неимперский» город: Минск и Брюссель соответственно... Сегодня уже вполне ясно, что горбачевский замысел «нового Союза» явился для нас лишь паллиативом, промежуточным этапом на пути к этому «новому типу» мировой интеграции — ведь для того, чтобы ее достигнуть, необходимо было предварительно сокрушить оставшийся, и в советскую эпоху во многом традиционным, «евразийско-имперский» тип интеграции нашей. А вместе с этим сокрушением и сам Горбачев, как представитель последней союзной структуры, стал «промежуточным этапом». Первый и последний советский президент вел слишком сложную игру, жонглируя непримиримыми противоречиями между приведшей его к власти державно-коммунистической номенклатурой и влиянием своих мондиалистски ориентированных советников (А. Яковлев, Г. Шахназаров и др.). И как любая политическая игра, эта также неминуемо шла к своей развязке: когда «критическая масса» непримиримости противоречий перевесила н и к о м у не понятный «центризм», победа была одержана — как и почти везде в современном мире — финансово более состоятельной стороной, направляющей с тех пор исключительно в своих интересах грядущее развитие страны и не нуждающейся более в услугах сделавших свое дело «Мавров»... Ничем иным нельзя объяснить фатальные провалы даже такого любезного Западу деятеля, как Горбачев, с заключениями договоров то о Союзе советских суверенных республик (август), то о Союзе суверенных государств (ноябрь—декабрь) — какой-никакой, но все же единый президент был бы вынужден опираться на имевшуюся единую («рублевую») финансовую систему. А сейчас рубль признан лишь временным расчетным средством, и «независимые государства» постепенно вводят свои валюты. Однако общий эквивалент им понадобится неизбежно, но вряд ли им вновь станет «деревянный», девальвированный настолько, что уже в марте он стоил в 50 (!) раз дешевле, чем еще в конце прошлого года («Коммерсантъ», № 12, 1992). В таком случае становится самим собой разумеющимся принятие сделанного еще в ноябре вежливого предложения президента Европейского банка реконструкции и развития Жака Аттали к бывшим советским республикам — «основывать свою торговлю на европейской денежной единице — экю, которую обеспечит Запад». Не в этом ли заключена одна из главных причин реинтеграции «независимых государств» в СНГ? — ведь «новый тип» объединения немыслим без единого финансового контроля над всей территорией «региона». Кроме того, нельзя здесь не отметить и столь ярко проявленную в Содружестве третью «составляющую» этого процесса — американоцентризм. Заявления президента РФ о том, что отныне США — «наш лучший друг» и что все наши ракеты с них «перенацелены» (куда?) — лучшее тому доказательство.

Таким образом, казавшаяся умонеохватной и противоречивой парадигма нашего теперешнего стратегического развития делается вполне постижимой, но — лишь при условии значительной переоценки бытовавших доселе подходов, просто «не работающих» в новой ситуации. Эта новая ситуация после «второго Брестского мира» (выражение Сергея Бабурина) типологически даже сродни ситуации после «первого», когда изрядная часть страны сдана, а оставшейся территорией заправляет враг

внутренний, и консерваторам необходимо искать новые, актуальные способы действенного противостояния хаосу.

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ

Если перейти от констатации нашего стратегического положения к рассмотрению конкретной политической тактики, уместно будет вспомнить слова крупнейшего русского политика Петра Аркадьевича Столыпина, сказанные им с думской трибуны: «Негосударственно, господа, ставить себе известную задачу и не обеспечить в полном объеме ее достижение». Ибо многие «известные задачи» стратегии оказываются не так легко осуществимыми на тактическом уровне».

Во всю перестроечную семилетку основная политическая борьба олицетворялась двумя зримыми и активными антагонистическими силами — первые требовали определенной социально-государственной реставрации; вторые настаивали не необходимости реформ в этих сферах. Однако само это противостояние оказалось для общества крайне непродуктивным — как первые, находясь у власти, не сумели доказать свою правоту, так и вторые, лишь перевернув пирамиду «власть — оппозиция», также демонстрируют недальновидность своей политики. В итоге мы и имеем ситуацию, которая каким-то парадоксальнейшим образом напоминает... период «застоя».

В самом деле: построения «реформаторами» капиталистического земного рая явно не наблюдается, но нет и действительно всенародного, «реставрационного» отпора творящемуся беспределу. Однако историческая разница здесь такова: если в рамках коммунистической Системы «застою» была, по-видимому, единственная долговременная альтернатива — режим ГУЛАГа, то «застою» теперешнему единственной альтернативой, которая может реализоваться уже сегодня, выглядит только гражданская война. Поэтому для исследования нынешних шансов на успех «реставрационного», или «реформаторского» (и шире — не будем забывать о стратегии), «вектора» развития необходимо априорно указать ту точку, от которой мы будем отталкиваться: НЕДОПУСТИМОСТЬ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ. Такая риторика, как «гражданская война уже идет», здесь неуместна—подобным образом рассуждать можно, только не имея ни малейшего представления о глубине, размахе и последствиях отнюдь не легендарного «русского бунта». Попытки же моделировать «посткатастрофическое развитие» выглядят наивными — с полной уверенностью надо сказать, что в новой гражданской войне победителей не будет. Вызванное либо национально-государственными, либо внутрисоциальными причинами, а скорее всего— их наложением, колоссальное массовое столкновение в великой ядерной державе не измеримо границами, не охватываемо временем и интеллектуально не прогнозируемо — в нем лишь возможна актуализация эсхатологического восприятия действительности. Помимо этого, существуют и такие социокультурные выводы из имевшегося прецедента: братоубийственная бойня 1918—22 г. представляется «цветочками» по сравнению с возможной ныне — ведь тогда в общественном сознании, хотя и взорванном небывалым в России катаклизмом, все же во многом сохранялись традиционные, христианские нормы и ценности любви к ближнему. Советское же общество, воспитанное на «науке ненависти», взорвавшись, породит истребительные энергии непредсказуемых масштабов. И, наверное, есть глубочайший, высший смысл в таком сегодняшнем состоянии (удручающем, правда, некоторых одержимых), что русские в массе своей не проявляют пока обуявшей другие народы национальной воинственности, а также исторически испытанной социальной враждебности. «Долготерпение», «усталость» и мягко-просторечно говоря, «пофигизм» скрывают за собой не что иное, как выдержку, свойственную истинно великому народу, а также действие насущно ему необходимого — после эпохи прямого геноцида — элементарного инстинкта самосохранения. И хотя до конца этой выдержки действительно уже недалеко, главное ныне — предотвратить его обращение началом нового самоуничтожения, теперь, видимо, окончательного.

Этот конец народной выдержки вполне способен обнажить до предела и подвигнуть на самые решительные действия оба упомянутых антагонистических течения. Однако, на мой взгляд, гражданская война в случае торжества *любого* из них — неминуема.

Восстановление Советского Союза со всеми его общественно-политическими институтами вряд ли возможно без широкомасштабного вооруженного конфликта.

Весь комплекс этих институтов за годы перестройки был до основания разрушен — причем фатальность этого разрушения можно узреть в методологическом его единстве. В самом общем виде этот метод видится так: в единогосударственной структуре появляется лидер, который меняет ее активную, «наступательную» роль на пассивную, «оборонительную». Все различие такой метаморфозы в разных структурах зависело только от скорости, с которой на тот момент в обществе загадочный «процесс пошел»; эта скорость и определяла меру необходимого усердия лидера. Горбачеву было труднее всех привести «руководящую и направляющую» на ее исторически последний пленум под вопросом о «судьбе самой партии». Зато дальше стало проще — Лукьянову оказалось достаточным лишь вовремя не выступить против начавшихся ново-огаревских поползновений, чтобы предрешить участь свою и своего детища. И, наконец, после уничтожения этих двух «китов» государства, армия, заговорившая о себе исключительно в страдательном залоге,— явление совершенно логичное. Трагедия ситуации состоит уже вовсе не в том, что маршал Шапошников «не хочет» предъявлять какие-то «ультиматумы» политикам, а в том что с недавнего времени он *вынужден* осознанно проводить пассивно-оборонительную линию в армии во избежание самого худшего. Присяга республиканским президентам войск, дислоцированных на их территориях, стала непререкаемым доказательством того, что энтропийный процесс во всех структурах СССР «дошел» и необратим. Поэтому любые нынешние попытки регенерировать «Советский Социалистический», будучи предпринятыми на военном уровне, неминуемо повлекут за собой мощнейшую ответную реакцию со стороны уже набирающих популярность неоконсервативных сил в «независимых государствах». И в итоге, так как квалифицированная и несущая наибольшую ответственность за свои действия часть армии — офицерство является в основном русским, эта реакция запросто может перерасти в ряд религиозно окрашенных, национально-государственных современных войн **всех против русских**, что, безусловно, станет величайшей, невиданной евразийской трагедией...

Что касается социально-экономического аспекта реставрации, то он в основе своей означает стремление к возрождению плановой, командной модели экономики. (Здесь нужно отметить, что понимание под реставрацией «возвращения» к некоей буколической «православной экономике», проповедуемого некоторыми теоретиками, неприемлемо для анализа, базирующегося на социальных реалиях.) А для верной ориентации в нынешней реальности отсчет целесообразно вести с 1965 года, когда «неудавшаяся» экономическая реформа, предложенная профессором Е. Либерманом, исподволь перевела критерии эффективности народного хозяйства на показатели прибыли предприятий, сломав тем самым уникальную модель производства «прямо для потребностей» и впустив в базовую экономику принципиально чужеродные этой модели товарно-денежные отношения. Именно тогда и была заложена основа для сбоев, неизбежно приведших к нынешнему тотальному кризису. Когда же советские государственные структуры стали разрушаться, а премьеры Рыжков и Павлов под прямым влиянием этого процесса все больше выпускали из рук контроль за экономикой, и произошло ошеломительное вторжение в нашу жизнь искусственно посеянных, неорганично вызревших, но набравших дьявольскую силу мутанта «теневых» рыночных импульсов, стремительно и уже легально поглощающих все народное хозяйство... И справиться какими-то старыми рычагами с этой захлестнувшей нас волной нецивилизованного, в основном перекупочного, а подчас и откровенно уголовного капитала ныне абсолютно невозможно. Ибо огромные массы людей уже не просто приспособились к жизни в новых условиях, но и возникло (а скорее—*выявилось*) небольшое сословие традиционных, производительных и даже государственно мыслящих предпринимателей. Потому попытка сломать эту с трудом растущую органичную структуру, искусственно возродив систему экономических отношений образца до 1965 года, чревата мощнейшими социальными потрясениями. Возвращаться же к модели экономики после 1965 года просто нелепо, ибо, по законам цикла, это лишь еще раз приведет к неестественному повторению пройденного этапа с аналогичными результатами.

Таким образом, как бы это ни показалось кому-то горьким, сегодня надо жестко констатировать невозможность — без гражданской войны—восстановления СССР и прежней экономической системы, иными словами — НЕВОЗМОЖНОСТЬ РЕСТАВРАЦИИ.

О том, что торжество «реформаторского» вектора в обществе выльется в гражданскую войну, наши аналитики, в принципе, говорили уже давно. Поэтому здесь следует лишь обобщить некоторые из этих выводов.

Прежде всего, рассматривая тенденции актуальной государственной реформы, надо отметить, что начало свое они берут в донельзя противоречивом государственном устройстве Советского Союза, который хотя и считался единой державой, но имел внутри себя массу искусственных границ между республиками, автономиями и национальными округами. Именно эта «мина замедленного действия» и несла в себе потенциал колоссального взрыва. Ныне некогда полузабытые формальные границы, причем едва ли не все, обретают реальное значение. Но это только промежуточный результат политики государственного реформирования, вдохновленной реализованным лозунгом «права народов на самоопределение». Финальным итогом этой политики может стать только война **русских против всех**, которая будет неизбежно спровоцирована предельным ущемлением права самих русских на свое самоопределение. На этот аспект в свое время четко указывал народный депутат СССР Сергей Васильев, говоря о том, что действительно «самоопределиться» русские могут только на территории всего Союза— ведь во всех нынешних «независимых государствах» они еще со времен исторической России являют собою индустриально наиболее опытную и духовно объединяющую великую евразийскую территорию часть населения. Игнорирование этой их роли и повсеместное сведение ее к унизительному уровню «национального меньшинства» способно привести лишь к результатам, по своей трагичности подобным тем, какие могут быть достигнуты в случае упомянутой насильственной реставрации Союза.

Социально-экономическая реформа, проводимая ныне правительством Ельцина—Гайдара, также ведет к последствиям, по тяжести своей сопоставимым успеху «реставраторов» в этой сфере. Если одни крайне недооценивают изменения, произошедшие в социальной психологии, то другие, напротив, резко преувеличивают и даже абсолютизируют исключительно «рыночный» аспект этих изменений, которые, в сущности, гораздо шире. Хотя общественное сознание избавилось от навязанного ему принципа социального равенства, но в нем ярко проявились иные, по сути традиционные для России, идеалы социальной защищенности. И небрежение этими идеалами (отказ от индексации заработной платы, непомерные налоги и т. д.),

вкупе с опорой в преобразованиях на бывшую теневую экономику и «обуржуазившуюся» советскую номенклатуру, открывает прямую дорогу к гражданской войне на социальной почве, тем более что основная масса народа, не принадлежащая к двум последним группам, все беззастенчивее величается даже официальной прессой «люмпенами» и т. д.

Кроме того, катализатором мощного социального столкновения могут стать последствия прозападного, точнее — проамериканского экономического курса правительства РФ. Приведем лишь один пример «из конкретной жизни», делая только логические выводы. В декабре Егор Гайдар сообщил, что на случай провала нынешней реформы у него в кармане есть «запасной вариант». Он разработан специально для РФ группой американских (!) исследователей во главе с Дж. Венниски и предусматривает частичную конвертацию и введение «золотого рубля», относящегося к доллару как 1:1. Предполагается, что этот «золотой рубль» помимо, конечно же, «упрощения внешнеэкономических контактов», подхлестнет и наших производственников — в состязании за качество продукции и т. п. Однако, прошу прощения за каламбур, американцы здесь явно не открыли Америку, а правительство РФ очередной раз расписалось в незнании отечественной истории: подобное уже было в нашей стране в незабвенные годы нэпа. Тогда, правда, сокольниковский золотой червонец «прожил» 6—7 лет, поскольку коренные хозяева еще не все были изведены, но даже и эту, взахлеб воспетую перестроечными экономистами «советскую валюту» неизбежно пришлось отменять, поскольку началась ее неприкрытая скупка и перекачка за границу. И последствия — именно самой этой политики, а не ее прекращения — слишком хорошо известны... Сегодняшнее же повторение нэповской парадигмы способно привести лишь к аналогичным, но куда более страшным последствиям: в условиях почти исключительного господства посредническо-перекупочного капитала эта мера выльется во все ту же банальную перекачку за рубеж этих «золотых рублей», а вместе с ними — прав на недвижимость, землю и ресурсы, коими эти рубли реально обеспечены. Стало быть, в новое, гораздо более прочное отчуждение собственности у самих наших производственников. То есть результат окажется предельно грабительским, а в условиях, когда государство будет не в силах его не допустить, такую политику пресечет сам народ.

Итак, НЕВОЗМОЖНОСТЬ НЫНЕШНИХ РЕФОРМ — это еще один вывод, который нужно сделать в попытке исследования, априорно исключающего путь к гражданской войне.

Вот и вырисовывается своего рода замкнутый круг: ни «реставрационный», ни «реформаторский» пути не выводят из нынешнего безвременья, но более того, грозят увенчать его и всю нашу историю небывалым национально-социальным катаклизмом... Возвращаясь к стратегическому уровню, здесь можно задаться «странным» вопросом: неужели в путь эволюции нашей страны к «новому типу» интеграции необходимой ступенью заложена гражданская война? Однако вряд ли дело обстоит именно так, ибо это явление несет в себе слишком большой элемент непредсказуемости, который может спутать многие разработанные стратегемы. И когда риск гражданской войны стал очень большим — в силу возникшего мощнейшего поля напряженности между «реформаторским» и мощно воспротивившимся ему «реставрационным» полюсами в обществе,— безусловно следовало ожидать попыток определенной «амортизационной» разрядки этой напряженности, которая могла бы быть осуществлена новыми «центристскими» силами, действующими уже теперь не на горбачевском уровне (между «реставраторами» и «новым Союзом»), а исключительно в контексте «нового типа» интеграции.

НОВЫЕ «ПРОСВЕТИТЕЛИ»

В феврале (примечательный месяц в русской истории!) стремительно набиравшие политический вес в растерянное послеавгустовское безвременье кадеты и демохристиане, а также несколько иных примкнувших к ним организаций провели Конгресс гражданских и патриотических сил и учредили на нем новое общественное движение — Российское народное собрание. И коль скоро официозная и более левая пресса нарекла их довольно значительным по европейским меркам именем — «новые правые», то сегодня для нас очень актуальны попытки сущностного анализа этого феномена, идеологи которого называют себя несколько иначе — «просвещенными патриотами».

Все программные заявления и обращения РНС выглядят весьма завлекательно — в них много говорится и о возрождении России, и о необходимости сильной государственной власти, и о недопустимости тотального обнищания населения, и о многих других важных и нужных вещах. Однако далеко не случайна и настороженность во многих консервативных кругах, возникшая по отношению к Конгрессу.

На другом Конгрессе — молодых политических лидеров, состоявшемся в декабре,— руководитель РХДД Виктор Аксючиц призывал демократов самим создать некую «патриотическую прокладку», чтобы, по его словам, не допустить до власти «экстремистов вроде Невзорова». Но демократы из «Демократической России» к мнению «просвещенных» не прислушались, а потому последние и покинули эту родную для них организацию, название которой, кстати говоря, было предложено в свое время не кем иным, как лидером кадетов Михаилом Астафьевым... Привожу здесь эти факты вовсе не с целью сакраментального вопроса лидерам: «А что вы делали до..?» — но лишь для констатации истоков самого движения «просвещенного патриотизма». Очевидно, что его врожденная глубочайшая противоречивость определена уже тем, что это движение, ныне зовущее «не рушить далее, но созидать!», само родилось на гребне разрушительной перестроечной волны. Может быть, впрочем, что, играя активную роль в «ДемРоссии», многие нынешние лидеры РНС и надеялись «вовремя» остановить это тотальное разрушение, сменить методы, но логика русской истории убедительно свидетельствует о том, что так не бывает.

Одно из таких вопиющих противоречий в «центристской» ментальности деятелей «просвещенного» движения заключено в том, что, звучно призывая к «возрождению единого и великого Российского государства», они почему-то считают его правопреемником большевицкий обрубок РФ. Не разумнее ли было в свое время настаивать на том, чтобы СССР (явление, даже чисто географически более напоминающее историческое Российское государство) обрел истинное единство и стал бы, таким образом, плацдармом для этого возрождения? Но — к единству т о й страны «просвещенные патриоты» относились поразительно холодно...

Пожалуй, именно эта ориентация нового движения на РФ больше всего и настораживает. Поскольку истинный русский патриотизм всегда был и остается великодержавным (не будем бояться этого слова), евразийским, почвенным, а не узконациональным, региональным или местечковым. В этом контексте Крым, за «возвращение» которого какой-то РФ ратуют «просвещенные», все равно остается геополитически н а ш и м — если, правда, туда опять не попробуют высадиться геополитически ч у ж и е англичане и иже с ними. Нагнетаемое же «просвещенными патриотами» с той и другой стороны русско-украинское противостояние, как бы это ни показалось парадоксальным, по сути дела, лишь укрепляет этот «новый тип» интеграции, который может быть реализован только при разрушении традиционного, органичного единства евразийских народов на территории исторической России, а также осознания ими этого единства, и замене его на геополитически чужеродные «общечеловеческие», механистические отношения между действительно независимыми государствами. Притом наибольшая, еще во многом не понятая обществом опасность этой политики состоит именно в том, что такое ее сущностное содержание обильно прикрыто патриотическими словесными формами. Поэтому новых «просветителей» русского патриотизма никак нельзя назвать «новыми правыми», ибо подлинные «новые правые» уделяют повышенное внимание именно геополитическим вопросам, а также являются последовательными нонконформистами, чего опять же никак не скажешь о тех, кто у нас стал «правыми» лишь в новой Системе, которую и для них создали на развалинах прежней...

Здесь уместно отметить, что характеристика «просвещенных патриотов» как «новых правых», являющаяся очередной подменой смысла, вызвана искаженным восприятием российской общественностью самого понятия «неоконсерватизм». Так, А. Френкин в статье «Феномен неоконсерватизма» («Вопросы философии», № 5, 1991), представляя отечественному читателю германских неоконсерваторов и просто «не замечая» нонконформистское, ориентированное на германо-российское геополитическое сотрудничество, течение «новых правых», рассматривает лишь ту часть неоконсервативного движения, которая имеет целью «свято хранить основы либерального конституционного государства», то есть выполняет «охранительные» функции исключительно по отношению к социально-политической Системе. И даже касаясь «более правых» течений, советский исследователь сразу же подчеркивает, что и они не являются «антилибералами», а лишь критикуют «издержки и крайности бездумного и чрезмерного либерализма». Самое примечательное, что и в нашей стране за последнее время сложились такие силы, которые также могут действовать лишь в рамках Системы, но коих «просвещенные патриоты» именуют «несколько более правыми». Вице-президент РФ Александр Руцкой и бывший его советник по «защите Белого дома», а ныне лидер Русского национального собора Александр Стерлигов, несмотря на их «прозрение» и бравые державные заявления, действительно сполна принадлежат не совсем теперь нравящейся им новой Системе, которую они сами и основали, так и не поняв глубинного геополитического смысла августовских событий, четко отделивших тех, кто стоит за реальное евразийское единство от — в лучшем случае — наивных мечтателей...

Однако истинно неоконсервативное, нонконформистское движение «новых правых» сегодня, видимо, начинает у нас складываться. В самое последнее время стала укрепляться довольно любопытная и многообещающая смычка некоторых упомянутых здесь «демократов-государственников» и части «реставраторов», нашедших способы объединить свои возможности: первые — вес, который они успели обрести в Системе, вторые — массовую социальную базу. Но если им удалось преодолеть некоторые тактические разногласия (в вопросе о необходимости сохранения государственности), то стратегически цельной (в смысле геополитических приоритетов этого сохранения) эту смычку никак нельзя признать. Поэтому уже сегодня с большой степенью вероятности можно прогнозировать взрыв нового альянса по стратегическому принципу, причем не столько м е ж д у движениями, сколько в н у т р и объединившегося ядра их. Этот «ядерный» взрыв способен аннигилировать одни тенденции в движениях, но вместе с тем уже органично слить и небывало усилить другие, имеющиеся в обоих. За счет этого слияния даже может быть достигнут прорыв в совершенно новую реальность.

НЕОБХОДИМОСТЬ НЕВЕРОЯТНОГО

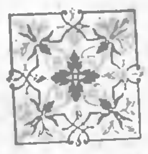
В новой реальности насущно необходимыми станут такие решения и действия, которые еще сегодня кажутся невероятными. Конечно, если из упомянутых движений сумеют отделиться, ярко откристаллизоваться и собраться воедино такие плодотворные стратегические тенденции, как единое евразийское мышление и стремление к традиционному социальному развитию. Только благодаря совокупности этих

тенденций может быть предотвращено дальнейшее сползание к гражданской войне на национальной или социальной почве.

Возвращение к традиционному социальному развитию на новом этапе будет неизбежно связано с демессианизацией формирующегося предпринимательского сословия. По мнению идеолога французских «новых правых» Алена де Бенуа, мессианская роль пролетариата как марксистского «локомотива истории» («самого передового класса» и т. д.), берущая свое начало в иудейской идее «избранности», была одной из первых попыток предопределить ход социальной истории человечества, установить в ней заранее заданный финал. Думается, что сегодня наше общество, уже испытавшее на себе такое предопределение, просто обязано аналогично расценить роль современного своего «авангарда». Иными словами, никакое сословие не должно становиться и считаться «венцом» нормальной, органичной, многоукладной экономики. Естественно, что в условиях резкого социального перекоса в сторону преувеличения роли предпринимателей, брокеров, фермеров и т. д. сформировать такое общественное сознание будет весьма непросто, но — жизненно важно.

Евразийское мышление должно проявиться во взаимной солидаризации русских консерваторов с неоконсервативными, традиционалистскими силами в «ближнем зарубежье». Причем, здесь во избежание досадной путаницы нужно четко различать местных «просвещенных патриотов», затвердивших идею «независимости» как таковой (очень часто являющих собой бывшую советскую номенклатуру, перекрасившуюся в духе узконациональных конъюнктурных идей), и — действительных «новых правых», нонконформистов, способных осознать необходимость сохранения великого духовно единого и экономически взаимосвязанного евразийского пространства. Иными словами, всем, пока еще обобщенно называемым «националистическими», силам в «независимых государствах» придется д е р ж а т ь р е ш а ю щ у ю п р о в е р к у перед историей на истинность своего духовно-культурного национального консерватизма: либо национальные лозунги у них лишь прикрытие для международной глобальной неоинтеграции, либо они искренни, и тогда новый этап традиционного объединения евразийских народов — в совместном противостоянии антитрадиционному проамериканскому мондиализму — неизбежен. Только в этих условиях широкоупотребимое ныне слово «независимый» перестанет быть абсурдом (о т ч е г о независимы все «независимые государства»?), и Содружество народов на территории исторической России станет действительно **независимым** — от проектов построения «нового мирового порядка». Безусловно, процесс воссоздания из нынешнего хаоса, именуемого СНГ, этого традиционного Содружества — тема, требующая иного, глубокого и всестороннего исследования. Однако, если здесь коснуться русского вопроса — вне всякого сомнения, решающего в таком новом обретении всеми н е ш и м и народами духовного и культурного единства — то его актуальная постановка представляется следующей. Осознание самими русскими самоубийственности и недопустимости в дальнейшем имевшей место в советскую эпоху антитрадиционной, а в сущности — антирусской, политики насильственной русификации иных народов России; а ответные шаги к согласию должны заключаться в четком признании исторически своеобразного, евразийского характера русского самосознания и самоопределения. В заключение надо отметить, что сегодня, когда равновесие в мире нарушено и любой межнациональный конфликт в СНГ обретает геополитическое значение, для нас становится особенно насущной именно евразийская идея «Почвы над Кровью», то есть понимание приоритета единства исторической территории над узконациональными факторами.

...Но — не будем увлекаться здесь футурологическими набросками, ведь путь к этой новой, органичной реальности затруднен неимоверно — еще не преодолены как вероятность гражданской войны, в которую нас могут ввергнуть «реставраторы» или «реформаторы», так и искушение «просвещенного патриотизма». Сегодня, когда любой **структурный** консерватизм себя исчерпал (единогосударственные структуры напрочь разрушены, е РФ-овские и другие «независимогосударственные» однозначно работают на мондиалистскую неоинтеграцию), консерватизм **ценностный** может реализоваться и пройти этот путь, лишь обретя адекватные подходы к новой действительности. Только не их основе можно сформировать активное, волевое общественное сознание, способное преодолеть фатальность «мирового прогресса». Возможно, русская история дает нам для этого последний шанс.





Отечественный архив

ОТ ПОЭЗИИ «ИЗБЯНОГО КОСМОСА» К ПИСЬМАМ ИЗ СИБИРИ

(ПИСЬМА НИКОЛАЯ КЛЮЕВА К Н. Ф. ХРИСТОФОРОВОЙ-САДОМОВОЙ ИЗ ТОМСКА)

Николай Алексеевич Клюев (1884—1937) — признанный духовный вождь новокрестьянской поэзии, одного из самобытных ответвлений большого поэтического «раскола» в русском литературном движении начала XX века. Начинал он как продолжатель традиций революционно-демократической поэзии, а также, по его утверждению, с молитвенных песнопений в качестве штатного псалмопевца Давида в одном из раскольничьих «кораблей». В дальнейшем он создавал лирику, эпос, орнаментальную прозу, составлял пламенные революционные речи, писал философско-эстетические и духовно-религиозные трактаты.

Начав с псалмов и пройдя через вещие строки своей раскаленной лирики первых лет революции, лирики «Песнослова: «Товарищи, не убивайте, Я — поэт!... Серафим!.. Заря!..», — Клюев заканчивает свой творческий путь в тридцатые годы письмами из сибирского заточения, исполненными то покаяния и мольбы о помощи к близким и знакомым, то «моления» о помиловании или хотя бы только смягчении участи к власть предержащим. К этому трагическому, завершающему «жанру» своего творчества Клюев шел вполне последовательно.

Философско-этическую доминанту его творчества составляет основополагающая мысль христианского учения о том, что «мир лежит во зле» и что только через его духовное «преображение» может быть достигнуто всечеловеческое освобождение от страдания и утверждение на земле желанного благоденствия. Поначалу такой «преобразующей» силой выступает в поэзии Клюева само учение Христа, но не как церковная догма, а в своей чистой раннехристианской сущности с ее идеей очищающего и искупляющего страдания.

Свет этого учения исходит со страниц первых двух книг стихов поэта — «Сосен перезвон» (конец 1911) и «Братские песни» (1912).

Но уже начиная с третьего сборника стихов «Лесные были» (1913), в качестве преобразующей силы все более начинает выступать в поэзии Клюева мир природный и земледельческий (как некий духовный космос крестьянской цивилизации). Он набирает мощь в четвертом сборнике стихов поэта «Мирские думы» (1916), кристаллизуется в двух книгах «Песнослова» (1919), достигает апофеоза в поэмах «Мать Суббота» (1922) и «Заозерье» (1926), предстает в разладе с историей в сборнике стихотворений «Львиный хлеб» (1922) и поэмах «Плач о Сергее Есенине» и «Деревня» (1926) и звучит реквием в поэме «Погорельщина» (1928), после чего, не иссякая окончательно, уходит в глубокий контекст клюевской поэзии рубежа 1920—1930-х годов, во многом изменившей свое прежнее русло.

При этом, уступая первое место природно-земледельческому началу, религиозно-христианская основа из поэзии Клюева не исчезает, а лишь отступает на второй план, что сообщает клюевскому стиху глубокое пантеистическое звучание, особенно в поэме «Мать Суббота». Христианское миропонимание было и до конца оставалось для Клюева основополагающим.

Революцию Клюев принимает восторженно — как начало осуществления долгожданного царства добра и справедливости. Он выступает с пламенными речами и статьями в своем уездном городе Вытегре и даже вступает в члены РКП(б), в рядах которой находится до 1920 года, когда местной партийной организацией был поднят вопрос о его религиозных убеждениях, которыми он не захотел поступиться.

Основу клюевского принятия революции составляет мысль о том, что обнов-

ленная Россия пойдет теперь отнюдь не западно-американским путем технического прогресса, а своим особым путем созидания земледельческого царства, полевую ширь которого не будет покрывать копоть индустриальных небес. Именно поэтому Клюевым всемерно подчеркивается патриархально-крестьянский облик революции: ее манифест «сермяжный», это не какое-нибудь там печатное слово, а строка самой «предвечности». Одним из первых в русской поэзии создавший образ Ленина, Клюев подчеркивал его единение с патриархально-крестьянским миром. Вырезав и переплетя свои стихи о нем из второй книги «Песнослова», он послал их в Кремль с характерной надписью: «Ленину от моржовой поморской зари, от ковриги-матери, из русского рая красный словесный гостинец посылаю я — Николай Клюев...» Эти образцы не следует, однако, расценивать как заблуждения поэта, наивно увидевшего в вожде пролетарской революции черты мудрого настоятеля всероссийской крестьянской раскольничьей общины («Есть в Ленине керженский дух, игуменский окрик в декретах...»). Сближая Ленина с последней, Клюев тем самым намекал на то, что при построении новой жизни на равных с пролетарскими интересами должны учитываться и крестьянские.

Но уже вскоре становится ясно, что в новой действительности начинают доминировать силы, негативно относящиеся к крестьянской культуре, на которой, собственно, и возрос клюевский поэтический космос «избяной Индии» и «берестяного рая». Убедившись, что надежда на то, что «полюбит грозовый Ленин пестрядинный клюевский стих», не оправдалась, поэт теряет интерес и к вождю мировой революции.

Наступление на народную духовную культуру Клюев усматривает в вульгарных методах антирелигиозной пропаганды, в частности в практике разоблачения мощей, по поводу чего пишет даже специальную статью «Самоцветная кровь» («Из золотого письма братьям-коммунистам» — 1919), завершающуюся словами: «Направляя жало пулемета на жар-птицу, объявляя ее подлежащей уничтожению, следует призадуматься над отысканием пути к созданию такого искусства, которое могло бы утолить художественный голод дремучей, черносошной России»[1]. Удручают его и грубые методы изъятия церковных ценностей в пользу утилитарных нужд государства, которым он не находит оправдания, если ради них требуется пожертвовать такими искони живущими в душе народа понятиями, как совесть, память, красота и благоговение перед великим прошлым: «Низвергайте царства и престолы, вес неправый, меру и чеканку, не голите лишь у Иверской подолы, просфору не чтите за баранку».

Решительный поворот послереволюционной России в сторону технизации и урбанизации приводит к разрыву альянса творца «избяного космоса» с пролетарскими поэтами, возникшего в первые годы революции. Он упрекает их в том, что в их стихах «огонь подменен фальцовкой, и созвучья — фабричным гудком». С особой остротой полемика с «певцами железа» звучит у Клюева в его книге «Львиный хлеб», отразившей перелом в революционных мечтаниях поэта, когда иллюзии 1917—1918 годов сменяются пессимистической оценкой будущего России. Объектом полемики в «Львином хлебе» выступают в основном урбанисты: Маяковский и поэты Пролеткульта, в частности М. Герасимов, автор «Песни о железе» (1917), восходящей своей «музыкальностью» к расхожим образцам символистской поэзии:

В железе есть чистость,
Призывность, лучистость
Мимозово-нежных ресниц;
Есть флейтовы трели, —
Зажглись и сгорели
В улыбнах восторженных лиц.

Клюеву железо не представляется столь универсальным благом. Легковесно вальсирующему герасимовскому стиху он противопоставляет тяжеловесный ход своего замедленного анапеста: «Безголовые карлы в железе живут...»

Что на зори плетут власяничный башлык,
Плащаницу уныния, схимник покров,
Невод тусклых дождей и весну без цветов.

Завершается «Львиный хлеб» стихотворением, свидетельствующим о том, что поединок между «серебряной слезкой одуванчика», тишиной «василькового утра», с одной стороны, и «безголовыми карлами» железа — с другой, поединок, длившийся на протяжении всей книги, заканчивается победой последних:

Поле, усеянное костями,
Черепами с беззубой зевотой,
И над ними, гремящий маховиками,
Безымянный и безлицый кто-то.

Это не что иное, как апокалипсическая картина конца мира, где самого себя поэт представляет кружащейся над «страшным полем» душой-вороном, узнающей «чужих и милых скелеты», «демонов с дрекольем» «в железных тучах» и «серные кареты» отправляемых в ад грешников. Последняя деталь не может не напомнить нам о таком изощренном применении мировым злом достижений технического прогресса, как удушение людей газами и фашистских душегубках.

Тема крушения надежд на революцию вполне определилась уже во второй книге «Песнослова» («Нам Красная гибель соткала покровы... Слезинка России застынет луной...», «Революция не открыла Врат...» и т. п.) Впрочем, в письме к Горькому еще в 1918 г. он открыто

[1] См.: Записки Передвижного общедоступного театра. Пг., 1919, № 22—23, с. 4.

пишет о гибельной роли революции в судьбе деревни: «Революция сломала деревню, и в частности мой быт; дома у меня всего житья-бытья, что два свежих родительских креста на погосте»[2]. В том же 1918 году в письме В. С. Миролюбову он не скрывает и осознания своей обреченности как крестьянского поэта: «...при пролетарской культуре такие люди, как я, и должны погибнуть...»[3]

В «Львином хлебе» Клюев подытоживает свой разрыв с революционной современностью («По мне Пролеткульт не заплачет...», «Меня хоронят, хоронят...», «Миновав житейские версты...» и другие стихотворения), надеясь на отклик лишь в будущих поколениях.

С начала 1920-х годов за ним решительно упрочивается слава апологета реакционной крестьянской идеологии. В 1922 году в рецензии Н. Павлович на его поэму «Четвертый Рим» впервые появляется слово «враг»: «За песни его об этой темной лесной стихии мы должны быть Клюеву благодарны: врага нужно знать и смотреть ему прямо в лицо»[4]. Лев Троцкий в своей книге «Литература и революция» посвящает Клюеву специальный очерк, завершающийся обобщением: «Духовная замкнутость и эстетическая самобытность деревни... явно на ущербе. На ущербе, как будто, и Клюев»[5]. Отмеченная Троцким в поэзии Клюева черта «скопидомства»[6] и то, что он «хороший стихотворный хозяин», берутся на вооружение вульгарными социологами с целью инкриминировать поэту «кулацкую» идеологию, что и делается Г. Лелевичем в статье «Окулаченный Ленин» (1924).

В конце 1923 года выходит книга В. Князева «Ржаные апостолы (Клюев и клюевщина)», по сути дела, исполнявшая «социальный заказ» разоблачить и ниспровергнуть другой, также отмеченный Троцким идеологический пункт клюевской поэзии, а именно — идеализацию «замкнутости и эстетической самобытности деревни». Основной удар публициста сосредоточивается здесь на «пахотной идеологии» и религиозном миросозерцании поэта как наиболее реакционных.

«Товарищ, читай книги, написанные до 25 октября 17-го года — необходимо знать, как нельзя жить и мыслить. Ходи в венерические больницы, дома умалишенных, изучай Достоевских, Толстых, Андреевых, Арцыбашевых, Клюевых... — ибо необходимо перед великой борьбою за обновление человеческой расы приобрести потребное для того оружие»[7]. Узнавший о работе над такой книгой еще до ее выхода, Клюев по этому поводу пишет Есенину: «Князев пишет книгу толстущую про тебя и про меня. Ионов, конечно, издаст ее и тем глуше надвинет на Госиздат могильную плиту. Этот новый Зингер, конечно, не в силах оболванить того понятия, что поэзия народа, воплощенная в наших писаниях, при народовластии должна занимать самое почетное место, что, порывая с нами, Советская власть порывает с самым нежным, с самым глубоким в народе. Нам с тобой нужно принять это как знамение — ибо Лев и Голубь не простят власти греха ее»[8].

Почти все, написанное Клюевым после «Львиного хлеба», представляет собой, по сути дела, либо лебединую песню обреченной на слом крестьянской культуры, либо реквием по этой последней. Это поэмы «Мать Суббота» (1922), «Деревня» (1926), «Заозерье» (1926), «Погорельщина» (1928), не до конца еще найденная «Песнь о Великой Матери» (на переломе 1920—1930-х гг.), «Соловки», часть стихотворений, посвященных художнику А. Н. Яр-Кравченко (конец 1920-х — начало 1930 гг.).

В 1928 г. в ленинградском издательстве «Прибой» выходит последний сборник стихов Клюева «Изба и поле», но ни одного из новых произведений в нем нет, хотя и были, вероятно, им включены, если судить по следующей выдержке из письма поэта М. Горькому в сентябре того же года: «Книжка моих избранных стихов два года лежала в изд[ательстве] «Прибой» и наконец вышла в марте этого года. В книге не хватает девяноста страниц, не допущенных к напечатанию»[9].

Тучи над головой поэта сгущаются, особенно в связи с лихорадочно охватившей печать кампанией, направленной на обеспечение ударно проводимой в стране коллективизации, а вместе с нею политики раскрестьянивания — не только крестьянства, но и самих писателей, опирающихся в своем творчестве на его мировоззрение и его культуру. А. Караваева по этому поводу, например, высказывалась: «Я считаю, что одна обязанность лежит на крестьянских писателях — это с помощью крестьянских образов, понимаемых во всей сложности их динамики,

[2] Литературное обозрение, 1987, № 8, с. 111 (публикация К. М. Азадовского).
[3] Рукописный отдел ИРЛИ (Пушкинский дом) АН. Архив Миролюбова В. С., ф. 185, оп. 1, № 617, л. 22.
[4] См.: Павлов М. (псевдоним Н. Павлович). Книга и революция, 1922, № 4, с. 48—49.
[5] Троцкий Л., Литература и революция. М., 1923, с. 48.
[6] Б. Филиппов следующим образом истолковывает положительный смысл крестьянского зажитка по Клюеву: «Деревенский зажиток — не кулачество, не зло, с которым нужно бороться деревенскими «комбедами» и правительственными декретами, — поучает Клюев. Нет, в крестьянском скопидомстве — накопление общенародных богатств и культуры, мысли и святости, собирание Земли Русской и всех ее устоев; нажиток тысячелетний, исконная земляная сила — она же — живые истоки творчества, разума, божественной полноты» (Филиппов Борис. Николай Клюев. Материалы к биографии // Клюев Николай. Сочинения. [Мюнхен], 1969, т. 1, с. 119).

[7] Князев Василий. Ржаные апостолы (Клюев и клюевщина). Пг., 1924, с. 122.
[8] См.: Вопросы литературы, 1988, № 2, с. 277—278 (публикация К. М. Азадовского).
[9] См.: Литературное обозрение, 1987, № 8, с. 112 (публикация К. М. Азадовского).

двигаться вперед к пролетарской литературе. Я не удивлюсь, если примерно через 10 лет, а может и меньше, из целого ряда крестьянских писателей мы будем иметь уже пролетарских писателей с крестьянской тематикой. Таков, помоему, ход вещей»[10]. По словам одного из критиков, самой будто бы исторической действительностью создавалась для литературы «новая грандиозная тема о крестьянстве, перестающем быть крестьянством»[11]. Клюев, разумеется, в список перспективных «крестьянских писателей» не попадает. Ему отводилось свое жестко закрепленное место. В передовой статье «Литературной газеты» от 29 ноября 1930 г., озаглавленной «Будем беспощадны к литературным агентам капитализма», его творчество, наряду с творчеством С. Клычкова, квалифицировалось как «кулацкое выступление», как «попытка враждебных элементов укрепиться в крестьянской литературе». Клюев уже больше не крестьянский писатель. При этом авторами подобных утверждений вовсе не скрывался вульгарно-социологический принцип их аргументации. «Кто же подлинный, созвучный современному крестьянству, крестьянский поэт: Есенин, Клюев? Или Исаковский, Доронин?.. А по нашему мнению, безусловно, Исаковский, Доронин и ни в коем случае не Есенин, не Клюев (несмотря на художественность и крестьянский характер образов последних). Вопрос решает не образ сам по себе, а социально-классовое содержание произведения»[12]. Даже Л. Троцкий представляется этим ревнителем классовой «чистоты» крестьянской литературы «защитником» Клюева, поскольку считал его все-таки подлинно крестьянским поэтом: «Клюев не мужиковствующий, не народник, он мужик (почти). Его духовный облик подлинно крестьянский, притом северно-крестьянский. Клюев по-крестьянски индивидуалистичен...»[13] Негодуя на этот уже давний случай недопустимого «либерализма», Л. Авербах в 1930 г. писал: «...наглядно обнаружилась ошибка Троцкого и Воронского, видевших в старом попутничестве не столько представителей и выразителей мелкобуржуазной интеллигенции, сколько деревню, мужика, крестьянскую стихию. В силу этой теории Троцкий — образец либерализма и филистерского искажения марксизма в области литературы — объявил крестьянским писателем даже Клюева...»[14].

Правда, в иных случаях наличие литературы с крестьянской тематикой, проблематикой и мироощущением без «прогрессивного» пролетарского «уклона» все-таки признавалось, но оценивалось в таком случае резко отрицательно. «Это — литература крестьянская, — соглашается, например, А. В. Луначарский, — но, реакционно-крестьянская, она тащит крестьянина прочь от пролетария, тащит его в болото индивидуализма, где водяные в образе кулаков на самом деле будут на нем ездить. Это линия закабаления крестьянства»[15]. Крестьянским писателем Клюев в таком случае признавался с обязательным условием выявления и разоблачения его реакционной сущности — как «певца великодержавной, кулацкой», «молодецкой» России»[16], идеолога «патриархальной деревни»[17]. Христианская символика поэта давала при этом вульгарным социологам повод называть его «средневеково-истовым», «елейно-лампадным»[18]; греза о «берестяном рае» превращается в их интерпретации в мечту о «кулацком рае», поэтический реквием крестьянскому миру (его красоте, ладу) — в «поэзию запечной тоски по гибнущей жизни»[19]. Да и вообще поэзия Клюева признается опасной, особенно для молодых писателей, поскольку, идя навстречу потребности изображать жизнь деревни, «они, прельстившись его умением «подавать» крестьянские образы, не смогут этого сделать, не заражаясь их пагубным влиянием...». «Все мы знаем,— предупреждала, например, Л. Мелковская, — насколько это трудно и сколько наших товарищей погибло на этом пути, уйдя совершенно в безвылазную клюевщину»[20].

Забегая несколько вперед, следует отметить, что в такой «окулаченной» интерпретации попадает Клюев и в художественную литературу. В романе Н. Брыкина «Стальной мамай» (1934) к его стихам — как к духовному подспорью — постоянно обращается скрывающийся под личиной колхозного счетовода бывший белогвардейский полковник. В них ему импонирует вера поэта в вековечную способность русского мужика выстоять и «смести... бородою» любой татарский ясак, осмысляемый автором романа как намек Клюева на социализм, и клюевское же нетерпение «убежать в глухие овраги» от шума и грохота наступающей на деревенскую тишину урбанизации. При этом журналу, напечатавшему стихи поэта, словами врага дается характеристика: «Перелистываю ежемесячник. И стараюсь внушить себе, что у меня в руках находится не большевистский журнал, а изъеденное временем, закопченное в пороховом дыму, не раз простреленное шелковое знамя»[21].

[10] См.: Пути развития крестьянской литературы. М., 1930, с. 124.
[11] Васильковский Г. О третьей книге «Брусков» Федора Панферова // Советская литература на новом этапе. М., Л., 1934, с. 54.
[12] Карпинский В. Кого считать крестьянским писателем // Пути развития крестьянской литературы. М., 1930, с. 17.
[13] Троцкий Л. Литература и революция. М., 1923, с. 45.
[14] Авербах Л. Задачи литературной политики // На литературном посту, 1930. — № 15 — С. 2.
[15] См.: Пути развития крестьянской литературы, с. 57.
[16] Чумандрин М. Итак, что такое союз писателей? // Красная газета, 1929, 2 сентября.
[17] Тарсис В. Современные русские писатели, Л., 1930, с. 109.
[18] Там же.
[19] Селивановский А. Очерки по истории русской советской поэзии. М., 1936, с. 166—167.
[20] См.: Пути развития крестьянской литературы. М., 1930, с. 147.

К концу 1920-х годов для Клюева складывается ситуация, аналогичная в некотором роде ситуации протопопа Аввакума, от которого он унаследовал и пророческую доминанту творчества, и верность раз и навсегда избранному идеалу, и бескомпромиссность убеждений. Сближение это шло по прямой раскольничьей линии (по матери поэт происходил из старообрядческой семьи, а ее дядя, по слухам, был даже самосожженцем). Гибельность аввакумовского пути он подчеркивал и применительно к себе — как его духовному наследнику: «„К костру готовьтесь спозаранку", — гремел мой прадед Аввакум». Явно родственны миссии того и другого — писателя XVII века и поэта XX века: там ревностная защита «древлего благочестия», здесь — древней красоты и мудрости. Протопоп Аввакум сетовал на то, что иконописцы в его время при изображении Спаса «возлюбиша толстоту плотскую и опровергоша долу горняя»[22], Клюеву пришлось сокрушаться об уничтожении самих икон, о сжигании их «человечьим сбродом»:

И на лугу перед моленной,
Сиял славою нетленной,
Икон горящая скирда...
(«Погорельщина»)

Называясь в поэме «Погорельщина» «песнописцем Николаем», он берет на себя миссию свидетельствовать далеким потомкам о неповторимой красоте «Нерукотворной России», которою он и старается теперь насытиться в последний раз.

Б. Филиппов передает такие обращенные к нему слова поэта, только что вернувшегося из поездки по духовным сокровищницам России — монастырям: «Хожу по Руси... И в Кирилловом был... И в Ферапонтовом побывал... А путь-то по каналу монастырскому как предивен! А башни монастырские! Отлетает Русь, отлетает, сынок... Отлетает... Вот и спешу походить-поездить — последнее материно благословение и последний вздох Руси принять. А ты? Неужели и фресок Дионисия еще не видал? Как же можно?»[23] В «Погорельщине», в значительной своей части, возможно, представляющей плач по знаменитому Соловецкому монастырю, превращенному в 1923 г. в лагерь особого назначения, это «прощальное» хождение по «отлетающей» Руси запечатлено в строках:

Из мрака всплыли острова,
В девичьих бусах заозерья,
С морозным Устюгом Москва,
Валдай—нищие в павлиньих перьях,
Звенигород, где на стенах
Клюют пшено струфокамилы,
И Вологда, вся в кружевах,
С Переславлем белокрылым.
За ними Новгород и Псков —
Зятья в кафтанах атлабасных,
Два лебедя на водах ясных —
С седою Ладогой Ростов.
Изба резная — Кострома,
И Киев — тур золоторогий
На цареградские дороги
Глядит с Перунова холма!
Упав лицом в кремни и гальки,
Заплакал я, как плачут чайки
Перед отплытьем корабля...

Но Клюев не только предается пассивному созерцанию этой обреченной красоты, он активен в ее защите и всегда полемизирует с ее отрицателями. Отвечая на запрос правления Всероссийского Союза советских писателей относительно его идейных убеждений, поэт не скрывал того, что свою поэму «Деревня», как и вообще произведения последних лет, он создавал, «упиваясь» «образами потерянного избяного рая», а также будучи убежденным защитником прав «красоты» (в ее национально-глубинной сущности), спасающей мир, миссию которой в настоящее время пытаются передать «товарищу маузеру» и пулемету. «Если средиземные арфы живут в веках, если песни бедной, занесенной снегом Норвегии на крыльях полярных чаек разносятся по всему миру, то почему же русский берестяный Сирин должен быть ощипан и казнен за свои многопестрые колдовские свирели — только лишь потому, что серые, с не воспитанным для музыки слухом обмолвятся люди, второпях и опрометно утверждая, что товарищ маузер сладкоречивее хоровода муз?

Я принимаю и маузер, и пулемет, если они служат славе Сирина — искусства...»[24].

Яростно защищает своего «берестяного Сирина» Клюев и в самой поэзии. В стихотворении «Нерушимая стена» (1928—1930) он поначалу вроде бы и готов, внимая голосам отрицателей исконного национального искусства, согласиться с тем, что «погас над Россией Сириновый полет...», но в итоге своих горьких размышлений все-таки вспоминает легендарный образ Богоматери-Оранты в киевском Софийском соборе, остававшийся невредимым даже в самых гибельных исторических и стихийных катастрофах и названный по этой причине «Нерушимой Стеной». Точно так же не поддающимся ярости враждебных сил предстает образ Богоматери (вообще один из важнейших у Клюева) в завершении «Погорельщины»:

Только лик пригож и под саблями
Горемычными слезками бабьими,
Бровью волжскою синеватою
Да улыбкою, скорбно сжатою.

[21] Брыкин Николай. Стальной мамай. Л., 1934, с. 81.
[22] Житие протопопа Аввакума, им самим написанное. М., 1933, с. 210.
[23] Филиппов Борис. Николай Клюев. Материалы для биографии. // Клюев Николай. Собр. соч. в 2-х т. Мюнхен, 1969, т. 1, с. 129.
[24] См.: Базанов В. Г. Поэма о древнем Выге // Русская литература, 1979, № 1, с. 94.

Страстный отпор вульгарным социологам, «клеветникам искусства», дает он в послании-инвективе того же названия (1932). Им он противопоставляет творческую силу как раз наиболее рьяно преследуемых ими в 20-е годы поэтов. Они бессильны ниспровергнуть Есенина, если в пантеоне поэтической славы его место рядом с Пушкиным и Кольцовым. Не пал еще и сам «Клюев бородатый», стоящий как дуб, в дупле которого охраняется Сирином клад самобытной поэзии. Жив еще и Клычков, которого ничто не заставит отказаться от своих «тверских дубленых пахот», неуязвима Ахматова, поэзия которой — «жасминный куст, обожженный асфальтом серым»; неподсуден им и «полуказак-полукентавр» новой русской поэзии Павел Васильев. Переходя затем к самим хулителям, он припоминает им их подозрительное отношение к образам природы в стихах новокрестьянских поэтов, затаившим будто бы в себе враждебные «политические тенденции», зашифрованные идеалы «власти кулачья, построенной на Богом данной природе»[25].

Я гневаюсь на вас, гнусавые вороны,
Что ни свирель ручья, ни сосен перезвоны,
Ни молодость в кудрях, ни речка в купыре
Вас не баюкают в багряном октябре...

Поэт с гневом отвергает «бумажную» возню людей, рассматривающих революцию не как путь к красоте, а как средство для навязывания новых догм и форм насилия:

Я отвращаюсь вас, что вы не так красивы!
Что знамя гордое, где плещется заря,
От песен застить крылом нетопыря...

Уже с самого начала 1920-х гг., с осознания своего «непопутничества» с революционным преобразованием России, каким оно вскоре проявилось, Клюевым упорно развивается мотив разлуки, отлета — будь то отлет «души» России, изгоняемой из своего края («Душа России, вся в огне, летит ко граду...» — «Погорельщина»; «Душу России на крыльях сизых журавлиный возносит полк» — «Нерушимая стена»), или самого поэта, покидающего неуютную для него современность. В послании «Клеветникам искусства», написанном поэтом, можно сказать, накануне ареста, этот мотив звучит с особым зловещим смыслом:

Я содрогаюсь вас, убогие вороны,
Что серы вы, в стихах на лирохвосты,
Бумажные размножили погосты
И вывели ежей, улиток, саранчу.
За будни львом на вас рычу
И за мои нежданные седины
Отмщаю тягой лебединой! —
Всё на восток...

Этот поэтический восток станет вскоре для него страшной реальностью.

Следует также отметить, что трагедию земледельческой России Клюев осознает не только через обреченность ее духовной красоты, гармонии и лада, запечатленных в памятниках искусства, закрепленных в бытовой обрядности, но и видит в начавшемся уже разорении и гибели самой крестьянской жизни, самой деревни. В 1929 г. он знакомится с приехавшим в Советский Союз итальянским славистом Этторе Ло Гатто и на развороте начальных страниц подаренной ему второй книги «Песнослова» пишет своеобразное послание в Италию — на родину первых христианских святых и мучеников. Оно перекликается с написанным десятилетием раньше знаменитым «Словом о погибели Русской земли» (1918) А. Ремизова и год в год совпадает с трагическими страницами «Котлована» А. Платонова. «Этторе Ло Гатто Светлому брату. Песни мои Олонецкие, журавли да озерныя гагары, — летите за синее море, под сапфирное небо прекрасной Италии! Поклонитесь от меня вечному городу Риму, страстотерпному праху Колизея, гробнице чудного во святых русских Николы Милостиваго, могилке сладчайшего брата калик перехожих Алексия — человека Божьяго, соснам Умбрии и убрусу Апостола Петра! Расскажите им, песни, что заросли русския поля плакун-травой невылазной, что рыдален шум берез новгородских, что кровью течет Матерь-Волга, что от туги и скорби своего панцырного сердца захлебнулся черной тиной тур Иртыш — Ермакова братчина, червонная сулея Сибирского царства, что волчьим воем воют родимые избы, замолкли грановитые погосты и гробы отцов наших брошены на чумных и смрадных свалках.

Увы! Увы! Лютой немочью великая, непрощеная и неприкаянная Россия!

Николай Клюев.

День Похвалы Пресвятыя Богородицы 1929 года»[26].

Духу сопротивления сопутствует особенно заметное уже из данного «Послания» сознание обреченности. В. Н. Кравченко (брат художника А. Н. Яр-Кравченко) рассказал пишущему эти строки такой, например, случай. Летом того же 1929 г. они находились вместе с Клюевым в Саратове. Поэт читал там в кругах интеллигенции свою «Погорельщину». Однажды они втроем (Клюев, художник А. Н. Яр-Кравченко и он, В. Н. Кравченко) решили навестить жившего в Глебовом Овраге монаха-ясновидца. Не успели переступить порог, как тут же были встречены словами прорицателя. Простерев руку к вошедшему первым А. Н. Яр-Кравченко, он изрек: «Ты напишешь большую чудотворную икону» и, взглянув затем на Клюева, произнес: «Молись, раб Божий, молись, раб Божий! Не взойдет и трех раз солнце, как будешь в ка-

[25] Беспалов О. Кулацкая художественная литература. М., 1930, с. 15.

[26] Степанченко Д. И. Римский автограф Николая Клюева // Красное знамя (Вытегра). 1989. 12 января. Текст сверен и исправлен по факсимиле автографа, опубликованного в книге: Клюев Николай. Сочинения (Мюнхен), 1969, т. 2, с. 64—65.

зенном доме». Еще за несколько месяцев до этого случая поэтом было написано посвященное А. Н. Яр-Кравченко стихотворение, содержащее знаменательные строки:

И теперь, когда головы наши
Подарила судьба палачу,
Перед страшной кровавою чашей
Я сладимую теплю свечу[27].

Настроением обреченности, предчувствием «приближающегося мучительства» проникнуты и сны поэта этого периода.

Клюев был арестован в феврале 1934 года в Москве по обвинению в «кулацкой агитации» и сослан в далекий сибирский Нарымский край (поселок Колпашево), так что вполне оказались оправданными написанные им более чем за десять лет ранее пророческие строки:

И помянут пляскою дервиши
Сердце-розу, смятую в Нарыме.

Впрочем, осенью того же года его переводят значительно «ближе» к сердцу России — в город Томск. Здесь в 1937 году обрывается с ним связь и теряется его след[28].

Эпистолярная сибирская епопея Клюева не полностью еще выявлена. В настоящее время известны только два крупных комплекта писем поэта из Сибири; письма к Сергею Клычкову (адресованные большей частью на имя его жены В. Н. Горбачевой)[29] и письма к Н. Ф. Христофоровой-Садомовой.

Надежда Федоровна Христофорова-Садомова (1880—1978), певица и вокальный педагог, была женой солиста Большого театра А. Н. Садомова. С Клюевым они познакомились в 1931 г. в Москве через общую саратовскую знакомую. Поэт в это время занимался обменом ленинградской жилплощади на московскую и, находясь в столице, нуждался в пристанище. Квартира Садомовых и была ему порекомендована. Клюев прожил у них с полгода и приобрел в лице Надежды Федоровны, которая еще раньше была восхищена его стихами, духовно близкого человека. Ее глубоко поразило не только творчество, но и сама личность поэта, о котором она оставила воспоминания вместе с записью рассказанных им своих снов (хранится в ИРЛИ). В свою очередь и он, приметив в ней духовно-родственное внимание, делился с нею сокровенными размышлениями. Как письмо к ней, был написан духовный трактат поэта «Очищение сердца» (публикуемый здесь). Одной из первых получила Надежда Федоровна и письмо Клюева из Сибири с описанием своего бедственного положения и мольбой о помощи. Он писал ей с июня 1934 года по апрель 1937 года. В 1967 году письма эти были переданы ею в Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом).

Письма Клюева из Сибири к Н. Ф. Христофоровой-Садомовой частично уже появлялись в периодике: в 1985 году два письма (от 22 апреля 1935 года и от 15 декабря 1936 года) и отрывки других писем были обнародованы в районной газете «Красное знамя» (город Вытегра Вологодской области)[30]; они же и частично другие письма включались в комментарий к письмам Клюева к С. А. Клычкову и В. Н. Горбачевой («Новый мир», 1988, № 8, публикация Г. С. Клычкова и С. И. Субботина); в том же 1988 году в журнале «Нева» было опубликовано три первых письма Клюева из Колпашева полностью (№ 12, публикация К. М. Азадовского). Через год этим же исследователем в сборнике литературно-критических статей «Перечитывая заново» (Л., 1989) эти три письма были опубликованы повторно и дополнительно к ним еще три письма из Томска (от 25 октября 1936 года, 15 декабря 1936 года и 6 апреля 1937 года). «Письма его приходили как целые творческие статьи. Он очень красочно описывал и свою жизнь, свои мысли, жизнь поселенцев, а иногда и свои стихи или особые видения и откровения во время своих болезней...»[31], — говорит Н. Ф. Христофорова-Садомова.

В письмах Клюева из Сибири заключается и выражение его судьбы-творчества, и документ трагической эпохи. Они публикуются по оригиналам, хранящимся в ИРЛИ (Санкт-Петербург).

А. И. МИХАЙЛОВ.

[27] Наше наследие. 1991. № 1, с. 120.

[28] Н. А. Клюев был расстрелян 23—25 октября 1937 года по обвинению в принадлежности к несуществовавшей антисоветской повстанческой организации «Союз спасения России». Реабилитирован в 1960 году (См.: Пичурин Л. Виновным себя не признал...: Последние страницы биографии Николая Клюева // Красное знамя (Томск). 1989, 17 февраля; Харднков Ю. Судьба поэта Николая Клюева // Знамя коммунизма (Томск). 1989, 1, 3 июня.

[29] Опубликованы «Новый мир», 1988, № 8 (публикация Г. С. Клычкова и С. И. Субботина).

[30] Субботин С. Сибирские письма Николая Клюева // Красное знамя (Вытегра). 1985. 17, 19, 22 и 24 октября.

[31] Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом). Р. 1, оп. 33, № 100, лл. 10—11.

МИХАЙЛОВ Александр Иванович — доктор филологических наук, старший научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом).

1\.

<Томск, 30 декабря 1934 г.>

ОЧИЩЕНИЕ СЕРДЦА

«Сердце чистое сотвори во мне, Боже!»
(Пс. 50, 12)

Существует три категории людей: 1) люди, имеющие только природное сердце ветхого человека; 2) люди с сердцем обновленным и 3) люди с очищенным сердцем.

ПРИРОДНОЕ СЕРДЦЕ. Марк. 7, 21—23: «Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство: все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека». Люди, у которых такое сердце, совершают грех добровольно, по влечению сердца и обычаю мира сего (Еф. 2, 1—3). Совесть их не пробуждена. Они страшатся суда и смерти, но не боятся греха. В сердце у них нет борьбы. Если таково состояние моего сердца, то я человек необращенный и сердце мое плотяное. Одно для меня есть спасение — поверить Богу на слово: «Не бойся. Я искупил тебя» (Ис. 43, 1).

ОБНОВЛЕННОЕ СЕРДЦЕ. 1 Кор. 3, 2—3: Таково состояние сердца человека обращенного. Тогда духовный опыт мой следующий: я не хочу грешить, но не могу избежать греха. Подобно учащемуся ходить ребенку — я то встаю, то падаю. Иногда — я беру верх над грехом, иногда грех меня побеждает. То я стою на высокой горе, то в глубокой долине. В сердце происходит непрерывная борьба. Я с т а р а ю с ь не грешить, но это мне не удается.

ОЧИЩЕННОЕ СЕРДЦЕ. Очищено оно кровью Иисуса Христа, сделавшего его собственностью Своею. Вот тогда-то я уже не уклоняюсь от прямого пути, жизнь моя течет, как река. Новые песни вложены в уста мои. Достигли ли Вы этого? Если нет — читайте дальше, дабы Вы не потеряли благословения, которое Господь через меня грешного хочет Вам даровать. Читайте без предубеждения, читайте не с желанием найти в словах моих ошибки или критиковать их. Сообразуйтесь только с Богом и с книгою Его, тогда только душа Ваша получит уготованное Вам Богом благословение от чтения этих строк.

Многие проверяют писание своим опытом, вместо того чтобы проверять свой опыт писанием. Многие объясняют Слово Божие согласно с своими мыслями, чтоб успокоить совесть. Не верьте ни своему, ни чужому опыту: верьте тому, что говорит Бог о благословении, Им даруемом. Видят ли это другие или нет, Я ЛИЧНО могу получить это благословение. Если я не докажу всего, что я говорю, — Словом Божиим, не принимайте слов моих как произвольных; но я увер[illegible], что через это письмо Господь говорит Вам, и Он побудил меня его написать. «Бог верен, всякий человек лжив» (Рим. 3, 4). В своем последнем письме ко мне Вы несколько раз советуете мне обратиться и очиститься. Но при обращении душа не получает очищения — она только с момента обращения становится собственностью Христовой, но еще не получает очищения, о котором говорит Иоанн, 15, 2: «Всякую ветвь, приносящую плод, Он очищает» [1]. Итак — очищению подвергается ветвь, у ж е н а х о д я щ а я с я н а л о з е. Во мне есть уверение, что я на лозе, что душа моя искуплена и что только при этом условии я буду очищен, дабы сделаться сосудом, «благопотребным Владыке» (2 Тим. 2, 21). Потому что сосуд нечистый не может быть наполнен таким драгоценным даром, как Дух святой. Только очищенный делается сосудом «для почетного употребления» [2]. Очищение необходимо для того, чтобы можно было духовно в о з р а с т а т ь и приносить б о л ь ш е плода. Ветвь находится на лозе; она приносит плод; но Бог ее очищает, чтобы она более принесла плода (Иоанн, 15, 2). Я нуждаюсь в очищении, потому что иначе люди увидят несоответствие между моею жизнью и моими верованиями — и соблазнятся этим, как сказано в Иак. 3, 11: «Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода?»... Пока сердце Ваше не очищено, Вы не можете ощущать присутствие Бога в душе своей, хотя бы и веровали в Него. Потому что храм должен быть очищен прежде, нежели он наполнится славою Бога — Самим Господом Иисусом Христом — и силою Духа Св<ятого>. Это совершает Сам Бог, делая Вас своим сосудом. Пока человек не осуществит этого очищения от всякой неправды, он не может ощутить Господа Иисуса в себе. «Духа истины... мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его» — «Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем и обитель у него сотворим» (Иоанн, 14, 17; 23).

• • •

Возьмите Библию и отмечайте места, которые я Вам буду указывать. Вы много потеряете, если сами не будете перечитывать каждого из приводимых стихов. Начнем с Ветхого завета: Книга Числ, 8, 6: «Возьмите левитов из среды сынов Израилевых и очистите их» [3]. Из Нового завета прочтите: 2 Кор. 6, 17: «Выйдите

из среды их и отделитесь», 2 Кор. 7, 1: «Очистим себя от всякой скверны <плоти> [4] и духа».

Итак, Бог требует как о т д е л е н и я, так и о ч и щ е н и я. Все сосуды Иерусалимского храма очищались, — некоторые огнем, некоторые водою (2 Пар. 29, 16—19). От чего душа освобождается через очищение?

«О всякой скверны плоти и духа» (2 Кор. 7, 1).
«Беззаконие твое удалено... грех твой очищен» (Ис. 6, 7).
«От всех скверн ваших и идолов ваших» (Иез. 36, 25).
«В щелочи очищу с тебя примесь, и отделю от тебя все свинцовое» (Ис. 1, 25).

— Из этих изречений я вижу, где я могу очиститься. И я п о с л у ш е н этим изречениям. Грех возник по непослушанию; избавление от него совершается через послушание.

«Очистите старую закваску» (1 Кор. 5, 7).
«Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями» (Гал. 5, 24).
«Я сораспялся Христу» (Гал. 2, 19). Наше «Я», таким образом, уже не существует.
«Очищает... от всякого греха» (1 Иоан. 1, 7).
«Очисти от всякой неправды» [5] (1 Иоан. 1, 9).

Богом было дано повеление истребить в с е х хананеев, не щадя никого [6]. Аврааму было приказано в ы г н а т ь Измаила (Быт. 21, 10). Бог обещает избавление от врагов, от всякого страха и т. д. (Лук. 1, 74). Итак, как видите, Слово Божие обещает нам п о л н о е освобождение от греха. Вы, быть может, спросите: «Что же станется с плотью? Могут ли плотские страсти наши <быть> [7] вырваны из сердца?» Да, могут. Потому, что Сам Бог берется их оттуда изъять. Плоть наша пригвождена была ко кресту вместе с Христом; прочтите Рим. 6, 6; Гал. 2, 19; 5, 24.

Оставьте ее там, куда Бог удалил ее. Верою человек открывает Христу сердце свое, и Он изгоняет оттуда грех. При неверии — в сердце царит сатана.

• • •

«Славлю тебя, Отче, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам» [8].

Есть люди, изучающие Божье Слово с помощью науки и логики, вместо того чтобы п р и н я т ь в с е р д ц е истину. Они подвергают критике Слово: так саддукеи препирались и спорили о рождении мессии и прозевали его. Не будьте подобной сидящим за уставленным яствами столом и обсуждающим свойства предлагаемого им угощения, вместо того чтобы протянуть руку и есть!

Многие обладают известным запасом знания. Они с презрением относятся к слишком простому учению и считают очищение от всякого греха нелепостью. Многие не очищаются от своих грехов потому, что слушают людей, которые сами не получили очищения. Так, например, человек, который сам не избавился от своей вспыльчивости, не может учить других, как от нее освободиться; человек не может быть лучше своего сердца и с убеждением говорить о том, чего сам не испытал. Бог не дает более того, чего мы от Него ожидаем. По вере вашей — будет вам [9]. Значит, сколько веры — столько же и дарования.

Дорогая (имярек)! Если Вы внимательно прочли все мною упомянутые стихи, если хотите оправдать меня в сердце своем, для Вашей же духовной пользы, и получить Христово благословение — сделайте то, что я скажу: обратитесь к Богу с такой молитвой:

«Господи, научи меня истине, согласной с словом Твоим! Если это письмо не согласно со словом, не допусти меня следовать указаниям этого письма. Если же указания эти согласны с волей Твоей, то дай мне сделаться доверчивой, ради имени Твоего!»

Для того чтобы получить от Бога очищение, необходимо выполнить некоторые условия: отделение, посвящение, вера. Отделение от всего, в чем ты видишь грех (2 Кор. 6, 14), отделение от всех идолов (2 Кор. 6, 16). Посвящение Богу всего существа своего (Рим. 12, 1—2): «Не моя воля, но Твоя да будет» (Лук. 22, 42). Вера в то, что Вы получите очищение, к которому стремитесь. Без исполнения этих условий человек не получает очищения и еще мертв («Оставьте мертвым хоронить своих мертвецов») [10].

1 Пет. 2, 1—3: «Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие... Возлюбите чистое словесное молоко... Ибо вы вкусили, что благ Господь».

«Злословие». Сюда относятся: раздражительность, критика, осуждение, невоздержание в слове, интриги и клевета, преувеличение, ложь (Прит. 20, 14; 15, 28; Мат. 5, 34—37; Фил. 2, 3; Прем. Соломона 27,4), гордость (1 Тим. 3, 6; Ис. 3, 16).

Кто совершает очищение? Сам Бог. Ни Вы, ни я — не можем сами себя очистить. Бог один может очистить. В Вашем письме я слышу отголоски Вашей личной тоски о чистоте, хотя они и прикрыты обличением. О, дорогое чадо Божие, предоставь Самому Богу совершить это, потому что Он обещает его совершить (Иез. 36, 26—27). Разве вы не верите обетованию Его? Вы, быть может, скажете: «Это ветхозаветное обетование, и относится оно к евреям». Действительно, обетования

Божии были даны евреям, так как Господь Иисус пришел прежде всего к ним. Он сказал сирофиникиянке: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам» (Марк. 7, 27—28). Но если Вы признаете Господа Иисуса своим Спасителем, Вы должны относить и к себе обетования Божии. Отказаться от этого обетования — значит отказаться от всего.

Как совершает Бог очищение? Духом Своим, словом Своим, кровью Своею. Отдайте себя в распоряжение Духа Святого: Он поставил Вас перед зеркалом Слова Божия и даст Вам увидеть и осознать свои грехи. Тогда кровь Христа очистит Вашу душу, и Вам станет ясно, что пишет Вам не «страшный человек», а брат по упованию, вместивший в себя многое, что утаено от многих ревнителей закона, избивающих Стефанов камнями! Вы увидите чистое сердце, оправданное верою. Деян. 15, 8—9: «Сердцеведец Бог дал им свидетельство... верою очистив сердце их». Еф. 4, 22: «Вы научились отложить раз навсегда...;[11] Евр. 12, 1: «Свергнем с себя всякую злобу»[12]. И это подлинная реальность, и я, осуждаемый, свергнул с себя всякую злобу.

Но как получить это благословение? Только верою. Если Вы верите этому, как подлинности, Бог сделает это. Как получил я спасение? Только верою (Рим. 5, 1). Вам это, быть может, покажется странным, но иным путем Вы очищения получить не можете. Все, кто получил чистое сердце, — получил его верою (Деян. 15, 9): «Верою очистив сердца их».

Поэтому, если Вы решили добиться получения этого дара, встаньте на колени и ухватитесь за обетование Божие (Иез. 36, 25—27). Примите верою это очищение. Поблагодарите Бога за него раньше, нежели Вы встанете с колен. Ничего, что Вы этого очищения пока не почувствуете: Господь Иисус возблагодарил Бога за воскресение Лазаря раньше, чем Лазарь вышел из погребальной пещеры, — тогда он действительно из нее вышел! Если Вы, стоя на коленях, возблагодарите Бога за очищение, — значит, Вы его уже получили. До тех пор, пока сердце мое не было очищено, Христос был только Пророком и Первосвященником для меня: ЦАРЕМ своим я его еще не признал. Он еще не воцарялся в мое сердце, хотя мне и казалось, что Он обитает в нем. Многие христиане невольно впадают в это заблуждение. И они живут целые годы в полной уверенности, что Христос в них, тогда как на самом деле Он не воцарялся в сердце их. Поэтому, если мы только думаем, что Христос в сердце нашем, это не заставит Его действительно войти в него, пока мы не поверим так, как Он этого желает. Теперь Вы, быть может, уразумеете, совершил ли я — осуществил ли — очищение всякой скверны плоти и духа?

Итак — лишь после очищения начинает Христос жить в нашем сердце. Согласно обетованию в Отк. 3, 20: «Войду к нему». Согласно Еф. 3, 17: Христос вселяется в сердце чистое[13]. Он «хранит его». Теперь мне сердце мое уже не принадлежит, — оно полная собственность Царя Славы. Если враг «постучится в дверь», — ответит на стук Он, а не я. Мне надлежит только стоять, не сводя духовного взора с обетования Божия, уповая на то, что Христос хранит меня. «Очи мои всегда к Господу» (Пс. 24, 15): это не значит, что все время надо обращать глаза свои на небо: это означает только, что надо вполне спокойно положиться на обетование Божие. Когда мы покоимся на обетованиях Божиих, Он хранит сердце наше (Ис. 26, 3).

Можем ли мы чувствовать, что очищены? Нет, если мы будем вглядываться в самих себя. Только устремляя взгляд веры своей на Слово обетования Божия, а я их привожу немало, мы увидим, что Господь очистил сердце наше. Смотря на самого себя — никогда мы этой уверенности не получим. Пока мы покоимся на обетованиях Божиих, мы чувствуем очищение. Лишь только заглянем в самих себя, сейчас начнем сомневаться и падать.

* * *

Очищение совершается многократно, всякий день нашей жизни. Я Вам объясню, как это происходит. Возникает вопрос: если Бог очистил тебя раз навсегда и от всего, — зачем необходимо еще очищение?

Хотя Бог очистил меня от всего нечистого, но видеть нечистоту я могу только при свете, который во мне Бог объявляет, через свое Слово, что я очищен, что сердце мое белее снега. Кровь Иисуса Христа помимо меня самого очищает меня. Мое дело только идти вперед по пути Света, чтобы Слово Божие не стало для меня мертвой формулой. Постоянное движение вперед обусловливает постоянное очищение. Нужно все время всматриваться в зеркало Слова Божия, и оно покажет Вам все, что Вам следует знать о самой себе.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ОСУЖДАЮТ ОЧИЩЕННОГО И ВСЕГДА ЗВЕРЕМ В САМИХ СЕБЕ ЖАЖДУТ КРОВИ ПРАВЕДНИКА И ПРИЧИНЯЮТ ЕМУ СТРАДАНИЯ?

Во-первых, подавляющее большинство совершенно не испытывали близости Христа и сердечного очищения и не могут судить об этом. Другие же люди, получив первоначальное дуновение очищения, слишком занимаются после этого собою,

слишком смотрят на искушения, их окружающие. О, они не пойдут к Закхею в гости, не сядут за стол с блудницами и мытарями. Они первые враги праведников. Они обращают лишь внимание на чувства свои, вместо того чтобы видеть только одно: охраняющую их силу Божию. Защищая и охраняя свои чувства, такие люди лишь настроение считают христианством. Христианство для них лишь затычка в душевные пробоины. Они никогда не узнают в страннике Господа и в юродствующем праведника. Вследствие это<го>[14] такие люди как бы слепнут духовно, и с ними случается описанное во 2 Пет. 1, 9: об очищении <прежних>[15] грехов. Они теряют духовную прозорливость, потому что утратили то, о чем говорил апостол Петр (первую любовь).

Дорогая Надежда Федоровна, драгоценное дитя Божие, Вы, осмысливая меня как личность, — чаще принимаете за меня подлинного лишь мое отражение в искушениях, которыми я, как никто, бываю окружен. Поясню это примером. В тихой поверхности реки ясно отражается растущее на берегу дерево. Бросим камень в воду: она заволнуется и исказится, и исчезнет в ней чистое отражение дерева. Но ведь это обман. Скоро успокоится вода. Ничего опас<ного>[16] не произошло. И не надо стара<ться>[17] доставать из-под воды упавший на дно камень: этим только сильнее замутишь воду. Умоляю Вас не заниматься этим. Прикосновение к нам раскаленных стрел сатаны не есть еще бездна и грех (Еф. 6, 16). Хотя они будут обжигать душу нашу и лишать нас покоя, вызывая те или иные мысли и сомнения, но если мы будем только спокойно наблюдать это, — стрелы улетят обратно так же скоро, как прилетели. Наоборот, если мы углубимся в эти мысли, будем стараться понять, откуда они явились, — тогда горе нам. Только щитом веры отражаются все раскаленные стрелы врага. Вспомните мое спокойствие в молитве и при встрече с искушениями. Только слепой сердцем может мое спокойствие при встрече с грехом объяснить моим участием во грехе. Ведь Христос — мир наш (Еф. 2, 14). Если какое-либо сомнение закрадется в сердце Ваше, читая это письмо, не старайтесь понять его причины. Предайте сомнение Ваше Христу и пребудьте в мире. Тогда исчезнет и смущение Ваше. «Что скажет он Вам, то и[18] сделайте» (Иоан. 2, 5). Не старайтесь все понять, но действуйте, ожидая всякий день избавления от греха. Так поступаю я. «Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали» (1 Иоан. 2, 1). Не смотрите на свою или чужую немощь, но взирайте на могущество Божие. Не смотрите на свою наклонность ко греху, это дрожжи Адамовы, но всегда помните силу Христа, тогда Он и сохранит Вас. Так поступаю я — один из грешников, ради которых и пришел Свет в мир.

1934 г. 30 декабря —1935 г. 30 апреля.

---

1 Перифраз исходного текста.
2 Ср. Второе послание к Тимофею, 2. 20.
3 Так у Клюева; ср. исходный текст.
4 Слово пропущено.
5 Так у Клюева; ср. исходный текст.
6 См.: Втор. 7, 1—2; Исх. 23, 23.
7 Слово пропущено.
8 Мат. 11, 25; Лук. 10, 21.
9 Мат. 9, 29.
10 Перифраз: ср. Мат. 8, 22: Лук. 9, 60.
11 Так у Клюева. Ср. исходный текст (Еф. 4, 20—24).
12 В исходном тексте: «Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех ..»
13 В исходном тексте. «Верою вселиться Христу в сердца ваши».
14 Слово не дописано.
15 У Клюева: «первых».
16..17 Конъектуры (оборван угол листа с текстом).
18 Так у Клюева.

2.

<Томск>, 1 января 1935 г.[1]

ДОРОГАЯ НАДЕЖДА ФЕДОРОВНА!

К неземной стране
Путь указан мне,
И меня влечет
Что-то все вперед!

Не растут цветы
На пути моем,
Лишь шипов кусты
Вижу я кругом!

Соловьи зарей
Не ласкают слух,
Лишь шакалов вой
Слышу я вокруг!..

Не сулит покой
Мне прохлады тень,
Но палящий зной
Жжет и ночь и день!

Не в тиши идет
Путь кремнистый мой —
Ураган ревет,
Проносясь над мной!

Не среди лугов,
Под шумок ручья,
По камням холмов
Пробираюсь я!

И встречаю я
Всюду крови след:
Кто-то шел, скорбя,
Средь борьбы и бед!

В черной мгле сокрыт
Путь суровый мой,
Но вдали блестит
Огонек живой!

Огонек горит,
И хоть вихрь шумит,
Но меня влечет
Что-то все вперед! [2]

Поздравляю Вас со святками, со звездной елкой счастья и благословения. Я получил Ваше письмо, наполненное грустью о моих грехах. Я поплакал над ним тихими очистительными слезами. Оно живое доказательство, что я один из тех темных грешников, ради которых и пришел во плоти Свет на землю, ибо Он пришел не к праведникам, а к ужасному сборщику римских податей Закхею, к сирофиникиянке-блуднице, львице восточных бань и публичных сатурналий, к бесноватому, живущему во гробах, к гнойным прокаженным [3]. *О, какое счастье встать в ряды тех, про которых сказано в Евангелии от Луки в главе 6-ой, стих 22-ой: «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут и м я в а ш е к а к б е с ч е с т н о е.» И еще стих 26-ой того же евангелиста: «Горе вам, когда в с е л ю д и будут говорить о вас хорошо.»*

Дорогое чадо Божие — теплая и родная Надежда Федор<овна>. Да не смущается сердце Ваше, и да не устрашается! Не принимайте мои с п о к о й н ы е встречи с искушениями за самый грех. Будьте в покое, и раскаленные стрелы сатаны возвратятся туда, откуда они прилетели! Ибо ведь «Христос есть мир (в английском переводе п о к о й) наш» (Ефес., 2, 15) [4]. *Никогда не выходите из этого покоя, если Вы хотите возрастать в очищении. Тогда исчезнет и смущение Ваше. «Что скажет Он, то и сделайте» (Иоанн, 2, 5)* [5]. *Ожидайте всякий день избавления от греха: «Сие пишу Вам, чтобы вы не согрешали» (Иоанн, 2, 1)* [6]. *Я же скажу вместе с апостолом Павлом: «Хотя я ничего и не знаю за собою, но тем не оправдываюсь: судия же мне Господь»* [7]. *Возьмите человека, который по причине многогранности своей души не может жить среди официальных праведников, выкиньте его из общественных предприятий, изгоните из общества, и Христос скажет: «Вот человек, которого я ищу! Я пришел взыскать и спасти погибшее!»* [8] *Еще раз прошу Вас пребывать в покое, дабы не затемнить уверенности, что «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс» (Исход, 42, 1)* [9].

О, Ты, дыханье вечности,
Дохни на сушь души моей,
И мирта цвет, и кипарис
Поднимутся в песках сухих,
И у потоков вод Твоих
Пустыня станет, как нарцисс!..

Мой дух к Тебе весь обращен,
Я все забыл, стремлюсь к Тебе,
Я чудной мыслью поглощен,
Что Ты, Нарцисс, теперь во мне!
Дождь благодатный и живой —
Не тщетно ждал Тебя душой! [10]

Душа моя с Вами. Н. К.
Простите. Прощайте! Прошу о письме и милостыне.

Переулок Красного пожарника, изба № 12

[1] В письме ошибочно указан 1934 год, что неверно, поскольку в это время Клюев еще не был сослан и жил в Москве.

[2] Эта песня И. С. Проханова бытовала в среде русских евангельских христиан (см. «Гусли». Избранные стихотворения некоторых русских писателей. СПб., 1902, с. 48—49, под заглавием «Песнь борца»).

[3] См.: Евангелие — о Закхее: от Луки, 19, 1—10; о блуднице: от Луки, 7, 36—50; о бесноватом: от Матфея, 17, 14—21, от Марка, 5, 1—19, от Луки, 9, 37—42; о прокаженных: от Луки, 5, 12—14; 17, 11—19.

[4] Описка Клюева; он цитирует здесь предыдущий стих того же послания: «Ибо Он (Христос.— А. М.) есть мир наш (Ефес. 2, 14).

[5] В Евангелии от Иоанна, глава 2, ст. 5: «Матерь Его сказала служителям: что скажет Он вам, то сделайте».

[6] Первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова.

[7] Первое послание к коринфянам святого апостола Павла, гл. 4, ст. 4.

[8] Не совсем точная передача двух евангельских цитат: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят Лице Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» (от Матфея, гл. 18, ст. 10, 11); «...ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» (от Луки, гл. 19, ст. 9, 10).

[9] Источник цитаты указан неверно. Правильно: Исайя, гл. 35, ст. 1.

[10] Возможно, духовный сектантский стих

Н. Ф. ХРИСТОФОРОВА-САДОМОВА

Воспоминания о поэте Клюеве Николае Алексеевиче [1]

Это было в тридцатых годах нашего столетия (31—32 гг.). Мне кто-то из знакомых принес стихотворение неизвестного для меня поэта Клюева Н. А. (Это стихотворение приложено в начале «Воспоминаний»). С первых же строк я была приятно удивлена глубиной мысли, какой-то своеобразной красотой языка, а главное — мудрым пониманием человеческого назначения. Это впечатление оставило во мне сильное желание поближе познакомиться с этим, по-видимому, незаурядным поэтом и мыслителем. Но никто из знакомых не мог мне что-либо о нем сообщить.

Прошло так с полгода, и однажды в мою дверь постучали. «Войдите». — И вот вошел человек в какой-то необычной одежде старинного покроя и такой же шапочке. В руках письмо. «Простите, — сказал он,— вот Вам письмо от Н. Н. Я был в Саратове, познакомился с ней, и она направила меня к Вам».

Распечатав письмо, я прочла просьбу моей знакомой, живущей в Саратове, приютить у себя поэта Клюева Николая Алексеевича — на время обмена им его ленинградской комнаты на московскую [2].

Прежде всего меня поразила необычайность исполнения моего желания: познакомиться с человеком — поэтом, так<им> самобытн<ым> по языку и творчеству; и непосредственно воспринять глубину его понимания и ее источник. Я с радостью приветствовала Никол<ая> Алекс<еевича> и постаралась сделать все от меня зависящее для его устройства у меня.

Предо мной был чисто русский человек — в поддевке, косоворотке, шароварах и сапожках — старинного покроя. Лицо светлое, шатен, борода небольшая, голубые глаза, глубоко сидящие и как бы таившие свою думу. Волосы полудлинные, руки красивые, с тонкими пальцами; движения сдержанные; во всем облике некоторая медлительность, взгляд весьма наблюдательный. Говорит ровно, иногда с улыбкой, но всегда как бы обдумывая слова, — это заставляло быть внимательным и к своим словам. Говор с ударением на «о» и с какими-то своеобразными оборотами речи. Как выяснилось в дальнейшем — он был из семьи поморцев-старообрядцев [3] Олонецкой области [4].

Мне пришлось наладить совместную жизнь, по возможности считаясь с запросами каждого. Ник<олай> Алекс<еевич> был не требовательным гостем: для него ценнее всего была тишина, чтобы он мог углубляться в свое сокровенное творческое состояние. Оно было, как он говорил, не второй его натурой, а первой — и в нем он находился почти непрерывно, даже во время сна. Об этом особом виде почти пророческих снов мне придется писать подробнее в конце своих «Воспоминаний» *. Он часто передавал их мне (во время пребывания у меня) как отрывки из каких-то особых, неземных жизней. Чувствуя мое самое сердечное внимание и, по его словам, даже понимание сущности его «внутреннего мира», — он делался как-то родственно-доверчивым. Его обычная замкнутость исчезала, а сердце открывало свои богатые сокровища. Вот тогда-то и выявлялась особая основа этого «внутреннего мира»: он видел, знал и ясно понимал сущность бытия — видимого и как бы и невидимого через знание и опыт.

Невольно являлся вопрос: откуда это?

Вот рассказ Н<иколая> А<лексеевича> о его жизни с детских лет. Отец был рыбак-поморец [5] (Олонецкой обл<асти>) у Белого моря. Он имел свои лодки-корабли рыболовные и жил этим промыслом. Был зажиточным; имел свой домик в 2 этажа. Ему было около пятиде-

* Сны поэта в записи мемуаристки см. Новый журнал / Ленинград. 1991. № 4. — (Ред.).

сяти лет, когда он женился на молодой поморке-старообрядке Параскеве, из очень бедной семьи, будущей матери Николая. Взял ее себе в жены за красоту. Параскева 17-ти лет вышла замуж за старика, чтобы помочь своим родителям и их многочисленным ребятам, конечно, не по любви. Николай был первым и единственным сыном, т<ак> к<ак> вскоре после рождения его отец вышел на промысел осенью, задержался и был затерт льдами. Молодая вдова Параскева осталась с маленьким Николаем. Она была особенно религиозна и верхний этаж домика устроила под молельню. В нижнем этаже были хозяйственные помещения, и по тем временам там же была домашняя прядильня, где девушки пряли, ткали различные изделия, как-то: белье, одежды и все нужное для жизненных потребностей. В то время это составляло ценное имущество. Все складывалось в многочисленные сундуки, и это являлось «зажиточностью» тех времен. Средства для жизни остались после отца хорошие, и матери было возможно помогать своим и тайком раздавать помощь нуждающимся, которых в то время было очень много. Маменька, по словам Ник<олая> Ал<ексеевича>, делала это тайком от всех по ночам. Зная по опыту скорбь бедности, она очень была чутка к скорбям других. Она раздавала сложенные в сундуках одеяния, белье, рубахи — бумажные и шерстяные — голым и босым... И когда умерла, — сундуки-то и оказались пустыми...

Но вернусь по порядку. Рос Коленька на руках своей матери и воспитывался ею в старинной вере — глубокой, строгой... Любил свою мать Коля безгранично... И когда говорил о ней, и теперь, через десятки лет, то не иначе как со слезами, и писал о ней в письмах ко мне даже из ссылки. Всегда и всюду она являлась ему и после своей смерти как бы в живом образе для помощи в самых безвыходных положениях.

Когда наступило его отрочество (12 лет) — то Коленьку, по обычаю того времени, отправили на воспитание в Соловецкий монастырь — к старцу, живущему в лесу недалеко от монастыря[6]. У старца были еще два отрока на воспитании. Они проходили духовную подготовку. Одни оставались и делались монахами в монастыре, другие же, как и Коля, возвращались домой. Коленька не мог жить без своей маменьки. Он вернулся домой. Но эти два года пребывания у старца навсегда построили незыблемый фундамент в его внутреннем устройстве, и в дальнейшем он на нем возводил все свои неподражаемой самобытности, красоты и глубины поэтические творения.

Он не сделался монахом, т. е. живущим небесным в земных условиях. Но, наполняясь образами сверхземными — через утонченное восприятие, он как бы пояснял, часто иносказательно, смысл и взаимозависимость земных форм и явлений. Можно определенно сказать, что 2 года пребывания у мудрого старца развили в Коле то, что еще в раннем детстве было заложено в его душе его матерью: дар глубокой всеосвящающей веры и, как плод ее, всепроникающее творчество. Так объяснял Ник<олай> Алекс<еевич>. Никто во всю жизнь Ник<олая> Алекс<еевич>а не был так для него дорог и незаменим, как его мать, даже и после ее смерти.

На 15-м году своей жизни Николай, вернувшись домой в «маменькину молельню», уже сознательно отнесся к их взаимоотношению. Он определенно понял ценнейшие свойства материнского сердца. Ее самоотверженную любовь, ее необычайно деятельное сострадание и неиссякаемую доброту. Он преклонился перед величием ее души — и с радостью осознал, что его сердце созвучно с материнским и что светлые откровения, полученные им у мудрого старца, необычайно гармонируют с материнским устремлением в мир света и любви.

Поистине они стали как одна душа.

И никто во всю жизнь Ник<олая> Алекс<еевич>а не был так для него дорог и незаменим, как его мать, даже и после ее смерти.

Радостно и плодотворно протекала их совместная жизнь. Но увы! Не надолго. 18-ти лет он потерял свою дорогую. Она умерла еще молодой (37-ми лет)[7] и безболезненно... Постоянная молитва, дела милосердия дали Параскеве особую духовную чуткость, — и она «предузнала» день своей кончины. По ее указанию был поставлен одр среди молельной — покрыли его соломой (так у них было принято); вокруг зажгли светильники и окурили ладаном. В течение 40-ка дней все домашние молились вместе с маменькой, а она сама читала «сорокоуст» по себе, с небольшими перерывами на отдых. В последний, 40-ой день она прочла себе «отходную», у всех попросила прощения, со всеми простилась. Коленьке наказала не плакать, обещала вымолить скорое их соединение, воспела славословие Богу и возлегла на одр, — сложив на груди руки. И так, со славословием Богу, светло, спокойно уснула... А Коленька упал замертво и лежал три дня недвижимо. Стали считать и его умершим. Но вдруг он страшно закричал и открыл глаза.

Придя в себя, вот что он рассказал: маменька явилась ему, светлая, живая, окруженная светлым облаком. Взяла его на руки (он видел себя в возрасте 4-х, 5-ти лет) и полетела с ним. Ничто им не было там препятствием; они пролетали необъятные пространства: виднелись глубокие пропасти, много страшных чудовищ, ветры сильные, бури огневые. Коля очень боялся. Но мать успокаивала его, держа на руках. Но вот они прилетели в чудное, тихое, благоуханное место — и перед широкой беломраморной лестницей, уходящей в необозримую высь, остановились. Параскева спустила Коленьку с рук и поставила у лестницы. Взяла его за руку — и стали они подниматься по лестнице. Но, поднявшись всего лишь несколько ступеней, несмотря на усердное моление маменьки взять сына с собой, они вдруг услышали громовой голос: Не готов! — и все исчезло.

Как описать его великую скорбь! Его сердечное томление!

Вот с тех пор его сердце было поражено болезнью, которая, прогрессируя, в течение одинокой, с тяжелыми переживаниями жизни окончательно разрушила <его> в Томской тюрьме.

Когда Клюев Николай Алексеевич появился в моей квартире (31—32 гг.), ему на вид было лет 45. Наружность его я уже описала. Что касается его жизненного уклада, то надо сказать: простота была особою его чертою. Он довольствовался самым необходимым. Не пил, не курил. Вставал рано и, еще лежа в постели, записывал свои творческие мысли. Он говорил, что у него не проходит время без особых восприятий, и даже во сне. В разговоре часто удивляли его своеобразные определения — весьма меткие. Спорить не любил, больше внимательно выслушивал, но по живым, проницательным глазам можно было ясно почувствовать внутри его полноту творчества. Никол<ай> Алекс<еевич> высоко ценил воспитание человека через общественное влияние и науку, но считал весьма необходимым самому человеку осознать и понять свои внутренние свойства, раскрыть в себе лучшие качества, заложенные в нем, благодаря чему и имеет он высокое звание человека и все возможности владеть и управлять силами природы и менее сознательными существами. Он говорил, что настало время позвать человеку силу доброй воли в каждом и на основе этого добра объединиться человечеству для блага общего и каждого.

Н<иколай> А<лексеевич> утверждал, что поэзия и призвана через тончайшие, свойственные ей одной откровения дать человечеству всеисчерпывающие отображения мировых явлений — от самых темных бездн падений до высочайших красот просветленности. И вся эта непрерывная гамма отображений невольно влечет человечество к желаемому светлому обновлению и взаимному созвучию.

В этой могучей преобразовательной силе и сокрыто воспитательное значение поэзии; возвышая дух человека в необозримую высь творческих возможностей, она приводит к порогу храма божественных законов, отображающихся в мировой гармонии. Надо добавить некоторое пояснение о творческом состоянии Н<иколая> А<лексеевича>. Он испытывал глубокий трепет перед тем даром, который ярко чувствовал в сокровенной глубине своего существа, но щедро делился им лишь с созвучными сердцами.

В таких ценнейших беседах проходило время пребывания Ник<олая> Алекс<еевича> у нас. Днем он хлопотал о квартире и других делах. Бывал и в артистических кругах, где его, по-видимому, знали и интересовались им как поэтом. О делах мы почти не говорили, т<ак> к<ак> он с удовольствием отдыхал за чашкой крепкого чая и домашней же философией. Считал эти беседы полезными, говоря: «Ведь рассуждения, размышления и то, что называется «философией» — хотя и домашней, — облегчает трудный и спорный путь нашей практической жизни; помогает найти общий язык к взаимопониманию».

Уже из своей многострадальной ссылки он с отрадой вспоминает время, проведенное в наших дружеских, успокоительных беседах. Так прожил Никол<ай> Алекс<еевич> у нас с полгода как в своей семье. И наконец он сообщил, что комната уже есть и он будет устраиваться. Ему, по-видимому, помогли в переезде из Ленинграда. Но кто — мы не знали. А мы и нерасспрашивали. Настал и последний день его пребывания у нас. Было жаль расставаться; но за него можно было порадоваться: он оживился и стал радостен. На прощанье он подарил моему мужу[8] сборник своих избранных стихов «Изба и поле»[9] — с трогательной благодарной надписью (автографом)[10], а мне — фотографию свою в старорусском костюме, с веточкой нарцисса в руках и тоже с надписью сердечной благодарности. Очень характерно это его изображение: мужество и сердечная нежность.

Мы распростились, думая — не надолго.

После этого переезда мы виделись всего 3—4 раза. Он бывал у нас на короткое время — спешил домой. А мы навестили его всего один раз, где-то в Гранатном переулке[11]. В полуподвальном помещении 2 комнатки с отдельным входом; одна комната метров 17-ть, окно прямо над землей. Другая небольшая, темная — спальня, с деревянной кроватью, старинной. Вся обстановка древнерусского стиля — с резьбой по дереву: столы, стулья, сундучки, полочки, а также и посуда — вся деревянная, с резьбою. И, конечно, очень старинные образа. Ситцевая занавеска в спальне и такие же на окне. Встретил нас радушно. Поставил маленький самоварчик, заварил крепкий чай. Мы принесли гостинцы на новоселье, — и опять потекла у нас дружеская беседа о дальнейшем его творчестве, об издании его произведений. Распрощались — до скорого свидания.

Но, увы, это была последняя (32-й год) наша с ним встреча. Жизнь тогда была сложная — время бежало... И вдруг на мое имя пришло письмо из Нарыма от Клюева Н. А. Оказалось, что он уже больше двух месяцев в ссылке — Нарым-Колпашево. В письме он довольно подробно сообщал о крайне тяжелом своем положении — ему грозила буквально голодная смерть: он умолял о скорой помощи. Пришлось употребить немало усилий, чтобы исполнить его просьбу. Но все же удалось послать одну за другой три посылки: 1-я — питание: сухари, сахар, чай, чеснок, лук, шоколад и др., не помню. 2-я — белье; 3-я — теплая одежда. И быстро до удивления все дошло, и ответы с извещением о получке и о несказанной благодарности. Затем началась у нас с ним переписка. Его длинные и очень подробные письма ярко передавали весь ужас его положения. И по его письмам было видно, что он

прожил бы в этих условиях недолго. Но, к великому облегчению Никол<ай> Алекс<еевич> пробыл в Колпашево (Нарымский край) всего несколько месяцев; затем его перевели в г<ород> Томск, тоже на свободное поселение. Это на тысячу верст ближе к Москве, и все же город с некоторыми возможностями для сносной жизни. В Нарыме пришлось жить в землянке и невозможно было найти пропитание. А в Томске удалось Ник<олаю> Алекс<еевичу>, правда, уже больному, все же снять у ссыльных за перегородкой угол. Это поддержало его жизнь. Переписка и помощь продолжались. Письма его приходили как целые творческие статьи. Он очень красочно описывал и свою жизнь, свои мысли, жизнь поселенцев, а иногда и свои стихи или особые видения и откровения во время своих болезней в течение нескольких месяцев. Все эти письма — 12-ть посланий: 3 из Нарыма и 9 из Томска — сейчас находятся в Институте русской литературы (Ленинград, д<ом> Пушкина) — по их запросу. Таким образом, я получила от него сообщения: 34-й год, 35-й. 36-й и 37-й из Томска; последнее было в 1937-м году, а затем — никаких вестей...

Однажды зашли 2 человека — проезжие из ссылки в Томске. Они сказали: «Клюев Николай Алексеевич скончался в Томской тюрьме»[12] и ушли. В последнем своем письме 1937-го года из Томска он, как бы предвидя свою участь, мне писал: «Если меня еще раз обидят и арестуют, — я этого уже не вынесу, так как сердце мое больше не выдержит страданий; поминайте тогда меня «на погосте». Так оно и получилось. Но мы никогда и не думали, что такое могло с ним случиться — какая причина? И о его последних страданиях не могли узнать, не имели сведений.

Надо надеяться, что по его письмам, в которых есть адрес его последнего жилища в г<ороде> Томске[13], найдут и установят все подробности его такой необычно-страдальческой жизни и кончины. К нам же, повторяю, зашли двое мужчин, сказали, что они проезжают через Москву из Томска и зашли сообщить, что Клюев Николай Алексеевич скончался в Томской тюрьме.

Ничего не добавив, ушли.

Прошло много времени со дня кончины поэта Клюева Н. А. (30 лет), — но невольно с грустью думается: как много ценного он мог бы еще внести в безграничную сокровищницу русской поэзии!

Несомненно, русский народ оценит по достоинству свое детище — и с благодарностью воспримет в его песенных самоцветах красоту и особую мудрость исключительного по самобытности его творчества!

Вечная и славная ему память!

По убеждению Никол<ая> Алекс<еевича>, истинная поэзия должна обладать глубиной мудрости — на основе всеобъемлющей любви!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заканчивая свои «Воспоминания о поэте Клюеве Н. А.», не могу не выразить глубокой благодарности тем, кто потрудился, по справедливости, восстановить нашему уважаемому и дорогому поэту (хотя и посмертно) честь гражданина горячо любимой им Родины и вполне заслуженную славу его творениям среди народов.

Русский народ и поэзия поистине им будут благодарны. Земной им поклон!

ХРИСТОФОРОВА-САДОМОВА
Надежда Федоровна
28/XII 67 г. Москва.

---

[1] Хранятся в рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук, р. 1, оп. 33, № 100. Незначительная часть была опубликована С. И. Субботиным в «Огоньке» (1984, № 40, с. 26—27).

[2] В Ленинграде Клюев жил по адресу: улица Герцена (бывшая Морская), дом 45, кв. 8 (бывший особняк князей Мещерских, ныне дом Союза композиторов).

[3] «Поморское» происхождение поэта — легенда, которую он охотно распространял, подчеркивая «северный» облик своей музы. Об этом также свидетельствует и рассказ Клюева в Томске В. В. Ильиной о том, что его отец будто бы был «крупным и богатым китопромышленником» в Поморье (см.: Швецова Л., Субботин С. «Эти гусли — глубь Онега...» // «Север», 1986, № 9, с. 108).

[4] Вытегорский уезд, где родился Клюев, относился к упраздненной после революции Олонецкой губернии. Ныне это территория Вологодской области.

[5] См примечание 3.

[6] Об этом же эпизоде из жизни поэта в передаче с его слов находим в статье П. Н. Сакулина «Народный златоцвет» (см.: Вестник Европы. 1916. № 5, с. 200).

[7] Мать Клюева Прасковья Дмитриевна умерла в ноябре 1913 года в возрасте 82 лет.

[8] То есть Анатолию Николаевичу Садомову.

[9] «Изба и поле» — последний прижизненный сборник стихотворений поэта, изданный в 1928 году, в Ленинграде издательством «Прибой».

[10] В 1932 году поэт подарил А. Н. Садомову свою книгу «Изба и поле» со следующей надписью : «Светлому русскому артисту Анатолию Николаевичу Садомову ларец песенных самоцветов преподношу в благодарность за хлеб-соль в черные дни моей жизни! Н. Клюев (Милосердие и русская поэзия будут Вам благодарны) 1932 г.» (ИРЛИ, р. 1, оп. 12, ед. хр. 536).

[11] В Москве Клюев проживал по адресу: Гранатный переулок, дом 12, кв. 3 (ныне улица Щусева, дом не сохранился).

[12] На самом деле, как выяснилось только в 1989 году, Клюев был расстрелян в Томске в октябре 1937 года (см. примеч. 28 к вступительной статье).

[13] Последние месяцы в Томске перед арестом Клюев проживал в семье Валакиных по адресу: Старо-Ачинская, 13 (см.: Хардиков Ю. «Кровь моя связует две епохи...»: Неизвестные страницы биографии Николая Клюева» // «Красное знамя» (Томск), 1989, 18 июня, с. 4—5).

Подготовка текста
и комментарии А. И. МИХАЙЛОВА.

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Из-под глыб

ГЕННАДИЙ ШИМАНОВ

ЗА ДВЕРЯМИ «РУССКОГО КЛУБА»

Широко распространено (и даже усиленно навязывается средствами массовой информации) мнение, согласно которому русская мысль после 1917 года развивалась будто бы только в эмиграции. Но верно здесь лишь то, что русская мысль на родине (как, впрочем, нередко и в эмиграции) в малой степени или совсем не доходила до широких кругов людей, поскольку выразилась она в сочинениях, которые либо вообще хранились в «тайниках», либо «публиковались» в виде двух-трех десятков машинописных экземпляров, либо наконец находили место главным образом в малотиражных изданиях, где к тому же они, эти сочинения, цензуровались и «редактировались».

Но если собрать воедино то, что было создано на территории страны в русле этой мысли за первые десятилетия после революции или позже, в 1960-х — первой половине 1980-х годов, мы получим очень значительное — и в количественном, и в качественном отношении — наследие. И потому когда заходит речь о необходимости «возрождения» русской мысли, — это не вполне верная постановка вопроса. Правильнее говорить об обнародовании плодов русской мысли последних десятилетий и продолжении ее традиций.

В этой книжке журнала продолжается публикация сочинений, созданных представителями русской мысли в так называемую «эпоху застоя». Это было, конечно же, нелегкое время. Многие деятели русского движения во второй половине 1960-х — первой половине 1980-х поплатились за свои убеждения долгими годами лагерей и ссылок. А те, кто избежал ареста, подвергались разнообразному давлению со стороны КГБ, ЦК КПСС, Главлита.

И все же русская мысль не только развивалась, но даже порождала достаточно весомые духовные движения. Так, еще при хрущевском правлении сложились два по-настоящему значительных явления — нелегальный «Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа» (ВСХСОН) и легальное объединение (хотя все же не вполне «открытое»), получившее неофициальное название «Русский клуб», который, в частности, ратовал за создание народного общества, посвященного защите и изучению отечественной истории и культуры (ряд таких обществ ликвидированы и репрессированы в 1920-х годах).

«Русский клуб», у истоков которого были Олег Волков, Петр Палиевский, Вадим Кожинов, Анатолий Ланщиков, Сергей Семанов, Дмитрий Жуков (позднее в его собраниях участвовали несколько десятков людей), стал первоначальным ядром основанного в 1966 году «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры». С этим «клубом» была связана уже, в сущности, нелегальная группа людей во главе с Владимиром Осиповым, начавшим в 1971 году издавать машинописный журнал «Вече», а затем «Земля». В 1974 году Владимир Осипов был на восемь лет отправлен в лагеря строгого режима...

Тем не менее один из наиболее видных авторов журнала «Вече» — Геннадий Шиманов в 1980 году (когда Владимир Осипов еще не вышел из лагеря), стал издавать свой альманах «Многая лета». Ряд его сочинений в 1970-е годы был опубликован за рубежом, а высказанные им идеи вызвали там множество откликов, породив целую литературу.

Один перечень касающихся так или иначе Геннадия Шиманова зарубежных книг и статей занял бы несколько страниц.

Былое и думы

(ОТВЕТЫ Г. М. ШИМАНОВА НА ВОПРОСЫ СОТРУДНИКА ИНСТИТУТА ГУМАНИТАРНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ М. А. РАЗОРЕНОВОЙ)

— Геннадий Михайлович, недавно журнал «Нева» познакомил своих читателей с книгой А. Янова «Русская идея и 2000-й год». В этой книге вам посвящена целая глава. Как вы относитесь к яновской интерпретации ваших идей?

— Янов рисует мой, так сказать, идейный портрет кое в чем довольно верно. Но при этом под его кистью исчезли полностью очень существенные, как я думаю, черты (например, отстаивание мною права каждого народа устраивать свою жизнь по-своему, без вмешательства инородцев и иноверцев, о чем сказано в цитируемом Яновым сборнике черным по белому), а вместо них, как бы в порядке «компенсации», мне приписано чудовищное желание НАВЯЗАТЬ СИЛОЙ Православие всему миру. В результате столь вольного художества на страницах яновской книги возникает под моим именем зловещий образ, знаменующий собою как бы саму суть русского патриотизма. Я хочу подчеркнуть, что этот зловещий образ создается Яновым совершенно умышленно, чтобы подверстать под него все ненавистное ему, еврею, русское национальное движение и тем самым создать идейную и психологическую базу для последующего «окончательного решения русского вопроса».

Примерно в такой же манере работали идеологи-русофобы от ЧК и ГПУ, когда стилизовали русских крестьян под кровожадных эксплуататоров, чтобы оправдать тем самым уничтожение одной их части и полное закабаление другой.

О том, как беззастенчиво Янов искажает действительность, свидетельствует хотя бы такой пример. Он пишет о каких-то «шимановцах», которые якобы уже в 60-х годах представляли собой ультраправую фракцию (чуть ли не «теневой кабинет») в так называемом Русском клубе. Хотелось бы узнать, каким образом такое оказалось возможным, если сам Шиманов в 60 е годы, как это хорошо известно многим, был еще круглым космополитом?.. Ведь я только в начале 70-х стал, как умел, писать в защиту русского православия и русского народа. И даже в первом номере «Вече» моя рецензия была написана еще рукою космополита.

— А чем вы объясняете свой, как вы сказали, космополитизм?

— Я очень рано стал сознавать себя русским, ведь мое детство пришлось на годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы, когда слова «русский народ» и «Россия» звучали гордо. И это чувство своего национального достоинства не оставляло меня никогда. Но тут вот какая была особенность: в етом чувстве не было не только никакого «шовинизма», совершенно не свойственного русскому народу, но не было даже более или менее здравого понимания реалий нашей жизни. Я всех нерусских считал как бы нашими братьями и старался относиться к ним с особенной деликатностью и уступчивостью, исходя именно из сознания нашей силы и русской ответственности за всех. И ради нашего братства я даже пропускал мимо ушей и мимо сердца нередкие уже тогда кривые усмешечки евреев в сторону русского народа, списывая их на обиды и гонения, которые евреи, как нам внушалось, претерпели от нас в прошлом.

Когда же я стал христианином, то такая настроенность переросла в настоящий космополитизм. Я буквально одергивал своих собеседников, в основном русских и евреев, когда они начинали «выпячивать» национальную тему. Мне казалось, что наше христианское единство делает нас настолько выше всех национальных различий, что придавать им какое-то значение значило бы искажать христианство. Как и множество других верхоглядов, я очень плохо понимал тогда слова Апостола о том, что во Иисусе Христе нет ни эллина, ни иудея. Мне даже не приходило в голову прочитать их до конца и вадуматься о том, почему их всегда вырывают из контекста. Ведь тут же, через запятую, говорилось о том, что во Иисусе Христе нет ни мужчины, ни женщины. Так неужели Христианство отрицает половую природу людей, отрицает брак и все различия, связанные с полом? Нелепость такого толкования апостольских слов совершенно очевидна, но тем не менее оно до сих пор очень распространено. И тут дело, думаю, не только в нашем невежестве. Такое толкование кое-кому выгодно. Но тогда я плыл в общем потоке обессоленного экуменизмом христианства, и первая моя статья по национальному вопросу была посвящена апологии космополитизма. Помню, как о. Дмитрий Дудко, прочитав ее, убеждал, что меня занесло далеко в сторону от здравого смысла. Но что мне здравый смысл? Я и сам с усам. Я уперся в то, что нации разделяют людей, и никакая логика не могла меня сдвинуть с места.

— Эта статья была где-нибудь опубликована?

— В 1969 г. в самиздате я выпустил сборник под названием «Записки из красного дома», куда и включил эту статью.

— Расскажите, что это за сборник?

— Я хотел рассказать в нем, почему я пришел к Богу и как меня за проповедь христианства засадили по требованию КГБ в психушку. Этот сборник неведомыми мне путями попал на Запад и был там опубликован на нескольких языках, его читали по Би-Би-Си, «Немецкой волне», «Голосу Америки». Начинал же этот

сборник я главою о своих родовых корнях и своем детстве, чтобы пояснить истоки своих исканий.

— Несколько слов, пожалуйста, о вашем происхождении.

— Родители мои из рязанских крестьян. Отец пятнадцати лет вступил в комсомол и записался в колхоз, против чего была вся семья. При разделе имущества ему выделили борону, которую он отвез на колхозный двор, а затем уехал в город Ряжск и поступил там в техникум. Там он и познакомился с моей матерью. А когда коллективизация вошла в полную силу, моего деда зачислили в кулаки. Дело в том, что он, будучи мастером на все руки, хватался во время нэпа за многие работы на стороне и, не поспевая в страду на своем поле, нанимал кого-то из односельчан. Вот это-то обстоятельство ему и припомнили впоследствии. Но когда милиция приехала его арестовывать, его не оказалось дома, и милиция стала его ждать. Однако его удозорил на подходе к селу его сосед и предупредил. Мой дед тут же повернул к железной дороге, добрался до Москвы, устроился на стройку (паспортов тогда еще не было) и здесь же, на стройке, сделал себе какую-то конуру. А затем, накопив материалы, построил настоящий дом и вызвал через родственников в Москву оставшихся в селе жену и младших детей. В этом доме прошли мои школьные годы.

— Скажите, «Записки из красного дома» были первой вашей книгой? Когда вы начали писать?

— В детстве и юности писал стихи, а для самиздата начал писать статьи в 1962 году, когда поверил в Бога. Но я их тогда не подписывал своим именем, это было опасно. Я и сейчас-то пишу очень неровно, а тогда писал совсем плохо, но тем не менее распечатывал свои мысли в защиту Бога и раздавал их своим знакомым. Но уже с 1965-го или годом позже начал осваивать политическую тему. Первой большой статьей такого рода была «Площадь Пушкина», в которой я, кратко описав первую в нашей стране демонстрацию правозащитников (в защиту Синявского и Даниэля), выступил с апологией правового государства. Помню, эта статья попала каким-то образом к Павлу Литвинову, понравилась ему, и он пришел ко мне знакомиться... Так что каким-то боком я стал диссидентом, на какое-то время.

— Вы хотите сказать, что ваше отношение к правовому государству затем изменилось?

— На 180 градусов. Если интересуетесь доводами, то они в двух небольших статьях: «О национальной педагогике» и «Псевдодемократическое правосознание».

— А чем был вызван ваш поворот к патриотизму, о котором вы говорили?

— Думаю, что в какой-то мере на меня все-таки подействовали слова о. Дмитрия и пример Владимира Николаевича Осипова. Но главное было в том, что весь мой склад и ход моего развития вели к этому...

— Простите, а как вы познакомились с Дудко и Осиповым?

— Я был с 1962-го духовным сыном о. Дмитрия. А с Осиповым познакомился на квартире Гудковых, которые, как и некоторые другие мои знакомые, давали мне в то время убежище. Дело в том, что после появления в самиздате «Записок из красного дома» меня, по некоторым признакам, хотели снова засадить в сумасшедший дом (чуть подробнее об этом в «Послесловии» к последнему машинописному изданию этих «Записок»). И я несколько месяцев был, так сказать, «в бегах», то есть жил на чужих квартирах. Осипов, которому власти отказывали после лагеря в прописке, то есть в крыше над головой, тоже часто ночевал у Гудковых. И вот в первый же день знакомства Осипов спросил меня, русского ли я направления; а я ответил, что нет, я европеец. И помню, как он тогда поморщился при этих словах. Но тем не менее предложил мне написать рецензию на самиздатскую книгу, автор которой — Белов* — защищал Христианство против наших антирелигиозников. Тогда-то я и узнал, что готовится первый номер первого русского самиздатского журнала «Вече».

— А что было дальше?

— А через какое-то время произошел инцидент, ставший поводом для моего разрыва с космополитизмом. Как-то на квартире моего хорошего знакомого еврея-христианина другой мой хороший знакомый, известный чувашский поэт, стал ни с того ни с сего оскорблять русский народ. И тут мое, казалось бы, неистощимое терпение наконец лопнуло. Я понял, что, позволяя чужакам безнаказанно оскорблять мой народ, я веду себя абсолютно безнравственно, как настоящий предатель, как если бы я позволял оскорблять свою мать. Я, правда, не нашелся сразу дать подлецу по физиономии, но только грохнул руками по столу и ушел, порвав навсегда с этими моими почти друзьями. После этого я уже другими глазами начал смотреть на себя и на других, по-другому начал думать, иные знания стал накапливать.

— И как же это новое ваше направление проявилось литературно?

— Я стал что-то писать для осиповского «Вече», познакомился с некоторыми вечевцами, из которых особенно заметной фигурой был Анатолий Михайлович Иванов-Скуратов (автор известного на Западе «Слова нации», не опубликованного до сих пор в нашей большой печати). В его лице я впервые встретился с совершенно новым для меня направлением мысли—русским нео-язычеством. Но это тема слишком большая, поэтому задерживаться здесь на ней не буду <...>.

И я написал под своим именем три открытых письма Н. А. Струве, главному редактору эмигрантского журнала «Вестник РСХД». Потому что в этом журнале, в 97-м его номере, был напечатан сборник антирусских статей из СССР, озаглавленный «Метанойя», что в переводе значит «покайтесь» или «перемените

* Псевдоним (Ред.).

свои мысли» (вон когда еще предлагалась нам «перестройка»).

— В каком это было году?

— Первое письмо написано мною в феврале 1972-го, а третье — в январе 1973-го. Я ждал, когда выступят более авторитетные русские люди, но когда молчание затянулось, написал сам. Никита Струве не захотел напечатать в своем журнале мое первое письмо, самое содержательное, — я направил ему второе открытое письмо. Он напечатал его, сопроводив возмущенными комментариями. Я направил ему третье открытое письмо, которым фактически порвал с ним отношения. И, к моему удивлению, эффект этих писем оказался значительным — как здесь, где их перепечатывали на машинках, так и на Западе. Тогда же, то есть после этих писем, я с удивлением узнал (мне передавали «тайные христиане» разговоры наших западников), что я, оказывается, «религиозный националист», более того — антисемит, черносотенец и даже фашист...

Но удивили меня и русские православные. Они не то чтобы соглашались с хулою на православие и русский народ, но, за редчайшими исключениями, как-то нечленораздельно реагировали на нее. Говорю, естественно, о тех, с кем лично разговаривал о «Метанойе». Думаю теперь, что их не только озадачивала трудность темы о судьбах России, но и отпугивала перспектива стать самиздатскими авторами, к чему я подталкивал. И как знать, может быть, в иных случаях их осторожность была оправданной. Мне-то самому нечего особенно было терять, а они — люди с положением, кто священник, кто будущий священник, кто кандидат наук, кто будущий кандидат. И у всех семьи... Твердо выступили против «Метанойи», помимо меня и кого-то из вечевцев, только три автора: Феликс Владимирович Карелин (под псевдонимом Н. Радугин, его статья называлась «Буди сие, буди!»), Владимир Ибрагимович Прилуцкий (под псевдонимом Л. Ибрагимов, названия статьи не помню) и Виктор Афанасьевич Капитанчук (под псевдонимом В. Прохоров, названия статьи тоже не помню). Я решил собрать все эти выступления против «Метанойи» (к ним добавились чуть позднее заметки моего единомышленника, укрывшегося под псевдонимом Ж.-Ч., и священника Дмитрия Дудко) в сборник, который озаглавил «Письма о России», напечатал его в количестве, кажется, десяти или чуть больше экземпляров (сборник оказался сравнительно толстым, я включил в него специально написанную для него свою большую статью «Вера в чудо») и все их раздал своим единомышленникам, оставив себе лишь один экземпляр. А потом его у меня кто-то взял почитать и не вернул.

— И теперь разыскать этот сборник нельзя?

— Есть один экземпляр в Англии, в архиве Кестон-колледжа. Какие-то экземпляры, возможно, хранятся у кого-то в Москве, какие-то, не исключаю, попали в КГБ, а какие-то уничтожены (моя знакомая, хранившая у себя в шестидесятые годы мой самиздатский архив, проговорилась об этом своей матери, и та, не раздумывая, тут же его сожгла).

— Насколько мне известно, у вас позднее возникли какие-то разногласия с Осиповым?

— Да, между нами был спор. С моей стороны подоплека его была такова. Именно бессилие русских православных людей и их овечья реакция на откровенно враждебную «Метанойю» заставили меня задуматься о том, правильно ли мы, русские патриоты, себя ведем, выступая, по существу, единым фронтом вместе с так называемыми «демократами» против Советской власти. Ну хорошо, думал я, рухни завтра Советская власть, — и кто же станет хозяином России? При столь подавляющем превосходстве антирусских сил даже в самой России, не говоря уж о всей мощи Запада, которая будет брошена на помощь его ставленникам и союзникам в нашей стране, на что же надеяться русским патриотам? Только на чудо. Потому что придут к власти силы, неизмеримо худшие по сравнению с теперешним режимом... Значит, нам надо твердо и недвусмысленно стать на сторону этого режима, как бы он ни был плох, и поддерживать его против западников. Тем самым мы будем не только помогать сохранению этого меньшего для нас зла, но и окажемся в более выгодном по сравнению с западниками положении. И сможем, пока сохраняется этот режим, наращивать свои силы гораздо быстрее их. Кроме того, этот дряхлеющий режим окажется в конце концов перед выбором: либо опираться на русско-православные силы и оказываться во все большей зависимости от них, либо попросту рухнуть, так как Запад не заинтересован в сильной структуре власти в России.

И вот, исходя из таких примерно соображений, я написал и пустил в самиздате свое «Письмо Наталье Сергеевне», в котором заявил о своей верноподданности советскому режиму (несколько, может быть, даже утрированно, по принципу: маслом каши не испортишь).

Осипов, будучи монархистом, так сказать, позднеромановской складки, не мог, конечно, пойти на столь недвусмысленное признание законности Советской власти. Кроме того, он обнаружил в моих словах робость перед властью и согласие на все, что она вытворяет или вздумает вытворять в будущем. Поэтому он должен был отмежеваться от моей «Натальи Сергеевны» очень решительно, что он и сделал, обратившись ко мне со своим открытым письмом. Ну, а я, естественно, возражал ему тоже публично и не менее решительно, в статье «Как относиться к Советской власти». В этой статье, а также в какой-то более поздней, я пытался изобразить те черты Советской власти, которые делают ее более предпочтительной с христианской точки зрения, нежели формальная демократия западного типа, уже изначально запрограммированная на торжество в ней денег и закулисных сил и, следовательно, объективно ориентированная на поражение Христианства в истории. Я думаю теперь, что эти соображения были в принципе верны, но, так сказать, вопиюще однобоки в том отношении, что я не догадывался тогда о подлинных размерах еврейской власти в нашей стране. Этот существенный порок я исправил уже много позднее, написав статью «Запретная тема», опубликованную в еврейском журнале «Шалом» (1989 г., № 5). Думаю, что евреи поняли мои мысли о Советской власти намного лучше русских патриотов, которые в идеологическом отношении отстают от своих конкурентов на целый порядок.

— Геннадий Михайлович, говорят, вы основали в Израиле сионистский журнал?

— Да, было дело... Но я знаю о нем только из писем моей знакомой, бывшей гражданки СССР. Она написала мне (в 1977 или 78-м году), что журнал «Сион» перепечатал то ли из «Вестника РХД», то ли непосредственно из «Евреев в СССР» мои ответы на вопросы еврейского корреспондента, после чего получился маленький взрыв: сионистские ортодоксы выгнали из редакции главного редактора Нудельмана и других ответственных за эту публикацию... А те, то есть выгнанные, чтобы чем-то кормиться, основали новый журнал — «22», в первом же номере которого продолжили полемику со мной, напечатав абсолютно бездарную статью Азбеля и Сотниковой, а также открытое письмо ко мне по-еврейски очаровательной Лии Абрамсон. Но напечатать мой ответ на это письмо, наученные горьким опытом, кажется, постеснялись.

— А что же такого ужасного было в вашем интервью?

— Да в том-то и дело, что ничего не было. Даже наоборот: я называл евреев великим народом, предлагал им любовь и дружбу на вечные времена и даже, кажется, Калининградскую область в придачу к ним. Лишь бы они избавили нас от своего присутствия, не помогали нам строить нашу русскую жизнь. Но им почему-то хочется участвовать в строительстве русской жизни и даже руководить ею, отравляя ее своими началами. Я думаю: до чего же это щедрый народ. Сами всем помогают, а вот чтобы им самим кто-нибудь помог руководить еврейской жизнью — ни за что не допустят...

— Вы сказали, что писали для осиповского «Веча», но, насколько мне известно, вы и сами издавали журнал?

— Альманах «Многая лета», первый номер которого вышел в 1980 г., а последний, пятый, в 1982-м. Это сравнительно толстые тома, по 200 с лишним машинописных страниц, но мизерным тиражом. Правда, мне говорили, что в Сергиевом Посаде их кто-то ксерокопировал и продавал слушателям Духовной академии. Решение об издании сборника было принято Ф. В. Карелиным, В. И. Прилуцким и мною. Все трое составили авторский костяк альманаха, но были и другие авторы, писавшие в основном под псевдонимами.

— Какова была цель этого сборника?

— Самая скромная. Прежде всего — брошюровать статьи и письма, отвечающие русско-православному и просоветскому направлению, о котором я уже говорил, чтобы они не затерялись и получили хоть какое-то место литературной «прописки». Потому что никакие другие органы печати — ни советские, ни антисоветские — печатать нас не собирались. И далее: общественный эффект статей, собранных в сборник, куда значительнее, нежели эффект разрозненных статей, передаваемых из рук в руки и затем исчезающих почти бесследно.

Но после пятого выпуска «Многой леты», в котором была моя «Тема для размышлений», меня вызвали телефонным звонком в КГБ, и там какой-то верзила, назвавшийся только по имени-отчеству (а фамилию я не догадался спросить), провел меня в кабинет, вытащил из стола то ли «Письма из России», то ли «Против течения» и, указывая на сборник, сказал, что все это грязь и клевета на Советскую власть... «А в том альманахе, что вы издаете теперь, нет ничего антисоветского. Но тем не менее его издание не отвечает интересам нашего государства. Поэтому предлагаем вам прекратить его издание, иначе...» — и выразительный кивок в сторону раннего моего сборника. Я намек понял и сказал, что не согласен с оценками, но вынужден подчиниться силе, хотя уверен, что рано или поздно это решение будет пересмотрено.

— Ну и как, пересмотрели они свое решение?

— Не знаю, об этом мне не докладывали. Поэтому, помешкав лет пять, в течение которых я собирал материалы и писал объемные статьи о еврейской природе капитализма и о масонском происхождении Первой мировой войны, я возобновил издание альманаха, на этот раз под названием «Непрядва». Уже вышло 19 номеров, сейчас готовится 20-й.

— Геннадий Михайлович, из тех проблем, которые вы поднимаете в «Непрядве», какая вам представляется наиболее важной сейчас?

— Самой важной выделить не могу, но одна из важнейших — проблема русского национального воспитания. Наша патриотическая печать ничего не делает для возрождения русской педагогики, для выявления с целью поддержки русских учителей-патриотов. Не пропагандирует их опыт, не сообщает о тех трудностях, которые связывают их. А если даже когда сообщит о ком-нибудь из таких учителей, то непременно забудет сообщить адрес, по которому можно было бы связаться с ним другим неравнодушным русским педагогам и всем озабоченным их делом. Я думаю, что все учителя-подвижники нуждаются в объединении своих сил и в поддержке со стороны всех русских патриотов. У нас пока ни одной русской детской газеты, ни одного русского журнала для учителей. Только общими усилиями можно поднять русскую национальную школу, без которой не будет русского будущего.

Москва, 14 декабря 1991 г.

Открытые письма Н. А. Струве, редактору журнала «Вестник РСХД»

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Уважаемый господин Редактор!

В одном из номеров Вашего журнала (№ 97) под рубрикой «СУДЬБЫ РОССИИ» помещено несколько псевдонимных статей, полученных Вами из нашей страны, в которых под видом безжалостного анализа исторического прошлого русских и их теперешнего состояния возводится враждебная КЛЕВЕТА на Православие и весь наш русский народ.

Некоторую недоброкачественность этих статей Вы, по-видимому, почувствовали сами, оговорившись от имени редакции, что не несете ответственности «за все крайние взгляды, высказанные в этих статьях». Но не кажется ли Вам, что этих вот «крайностей» или, выражаясь более точно, лукавых и злобствующих передержек слишком много — так много, что, налезая одна на другую, они создают совершенно определенную, ярко выраженную антиправославную и антирусскую картину?

В предисловии «ОТ РЕДАКЦИИ» Вы, оправдывая помещение этих статей в Вашем журнале, говорите, что «не всем будет легко принять... этот призыв к отказу... от привычки смотреть на Россию, вопреки очевидности, через розовые очки благосклонного наблюдателя». Это оправдание, кажется, адресовано кому-то на Западе, и, может быть, оно звучит для некоторых убедительно; но, не будучи западным человеком, я могу Вас заверить, что для нас, русских в России, оно совершенно неприемлемо. Нам слишком трудно баловать себя здесь розовыми мечтами и приходится волей-неволей принимать «очевидность», из чего еще вовсе не следует, что мы готовы подписаться под опубликованными Вами статьями.

Мне кажется, что способность не шарахаться из крайности в крайность, сдергивая с себя одни сомнительные очки и с поспешностью напяливая столь же сомнительные другие, Вы тоже цените, хотя бы формально. Это видно из того, что Вы все же постарались противопоставить в номере Вашего журнала «крайностям» отрицателей России мнение Франсуа Мориака, заявившего незадолго перед своей смертью, что малая точка, светящаяся в нем, светится из России, где после пятидесяти лет воинствующего атеизма христианство снова, вопреки всему, появляется в интеллигенции. Но, к сожалению, противопоставление это оказалось в действительности мнимым: не говоря уж о том, что слова Мориака просто тонут в словах иных авторов, отрицающих душу России, они и по существу-то совсем о другом — они о будущем, зарождающемся в настоящем, но вовсе не о прошлом России и не о ценности этого прошлого. Таким образом, фактически в Вашем журнале восторжествовала все-таки крайность, и крайность, как я думаю, самого дурного порядка.

Первое, что удивляет в опубликованных Вами статьях, это чуть ли не откровенный дух ненависти ко всему русскому и к России в целом. Не боль за Россию, не сочувствие к своим обкраденным и несчастным братьям — сочувствие, столь характерное едва ли не для всех русских писателей, включая и современных, — составляет пафос этих работ. А между тем авторы их вроде бы русские или, по крайней мере, хотят казаться такими, делают вид, что мнение их — это мнение самых подлинных, самых настоящих сынов России. За псевдонимами, конечно, истинной их национальности не разглядишь, но, однако, не кажется ли Вам несколько странным, что эти вот «сыны» столь бесцеремонно и даже с каким-то воодушевлением плюют на свою бедную мать, столь злорадно и предвзято судят ее, спекулируя на ее вековечной нищете, на ее драматической истории и на ее современной трагедии?.. Для подлинных детей едва ли возможна такая ненависть, а если и бывает иногда, то именуется это явление совершенно определенным словом — хамство. Хам, как Вы помните, тоже ведь был реалистом, далеко отбросившим от себя всякие розовые очки, — ну, по крайней мере в отношении к отцу своему Ною, действительно не во всем достойному подражания. Но Божия правда вместе с совестью человечества вынесли этому «реалисту» замечательный приговор; его имя стало с тех пор синонимом самодовольной низости, глумящейся над святыней.

Ныне над околдованной и полу-спящей, полу-пьяной Россией тоже непрочь покуражиться и поломаться кое-кто из хамовитых ее сыновей, уверенных, что интеллектуальный словарь спасает от хамства. Они занимаются этим делом, нимало не беспокоясь о перспективе быть так же проклятыми православной Русью, как некогда проклят был Ноем его нечестивый сын.

Господин редактор, перечитайте, пожалуйста, еще раз эти статьи: у авторов их не нашлось ведь буквально ни одного сочувственного слова для России, потому что в действительности она для них вовсе не мать, она — чужая, и не просто чужая, к которой можно быть до известной степени объективным, — нет, она ненавистная им страна. Только черную краску они признают для нее, даже грязь, малюя ее «портрет», — в действительности карикатуру.

Передержки, посредством которых рисуется эта карикатура на Россию, обладают, разумеется, привлекательным для их авторов качеством: они позволяют не грубо и потому бесполезно лгать, но облекают довольно искусно клевету в правдоподобную форму, так что читателю при некотором простодушии и на самом деле может показаться, что вещаются ему явные, несомненные истины.

Вот одна правдоподобная мысль: «русский народ совсем отвык от добра...» Что-то от истины в этой мысли, несомненно, имеется: на весь мир опускается ныне ночь бездуховности и аморализма, мы же, русские, оказались наиболее грубо и беспощадно оторванными, по сравнению с миром свободным, от источника живоносной воды — от религии, — поддерживающей и питающей в человечестве нравственность.

Но можно ли между этими двумя утверждениями поставить знак равенства?.. Я утверждаю — и уверен, что в этом меня поддержит подавляющее большинство, — этого сделать нельзя. Ибо сказать, что русские совершенно отвыкли от добра — это значит лягнуть своим интеллигентским ботинком саму очевидную правду, это значит самодовольно плюнуть в лицо всем своим близким, начиная с родителей, — несчастным и запутавшимся людям, в которых лишь по собственной слепоте греховной нельзя разглядеть несомненного или иногда затаенного уважения к добру вопреки всему уродующему и ослепляющему кошмару теперешней жизни.

«В глубине русского духа совершилось отпадение от Бога» (стр. 6), — вот еще одна правдоподобная мысль. Но не в глубине, а именно на поверхности стали русские люди безбожниками. В этом убеждаешься на каждом шагу, сталкиваясь с чудовищной дезинформацией, околдовавшей душу народа, и — с подлинно религиозною жаждою, засыпанной иногда глубоко в душе пеплом холодной, нелепой, жестокой жизни.

Русский народ, как, впрочем, и все остальные народы в пределах нашей страны, оказался в массе своей оторванным от религии, — это верно. Атеизм омрачил и исказил душу и нравственность русского человека — это тоже верно. Но ложь начинается тогда, когда утверждается, будто сама глубина народной души отпала от Бога. Случись это действительно так, было бы непонятно, как он смог бы тогда найти в себе силы для христианского возрождения или хотя бы покаяния, к которому столь истерически и небескорыстно призывают его некоторые витии. (Корысть же заключается в том, чтобы заставить русских людей так «покаяться» в своем прошлом, чтобы проклятыми и извергнутыми из народной души оказались вместе с действительными грехами и подлинные духовные сокровища — святыня и истина Православной Церкви, любовь к своему Отечеству и неразрывная, органическая связь со всем лучшим, что было в русской истории.)

«Русским народом принесено в мир зла больше, чем каким либо другим» (стр. 6). Правда, у автора сказано не «русским народом», а несколько двусмысленно — «Россией», хотя из общего смысла статьи следует определенно, что не всеми народами России вместе, а только русским народом.

Что здесь можно сказать? Необходимо прежде всего напомнить, что у России всегда были не только льстецы, но и враги, и этих последних было всегда несравненно больше. Правда, эти враги русского народа, как правило, не очень-то любили и любят себя называть врагами, предпочитая выступать под маской суровых, но честных обвинителей России, под маской ее судей и даже чуть ли не ее врачей и спасителей. И вот такие-то не открытые и явные враги, а враги, прикидывающиеся друзьями, даже подделывающиеся иногда под русских, и являются наиболее опасными — они изнутри парализуют национальное чувство, дезориентируют русский народ и тем успешнее превращают Россию в космополитическое болото. Но никогда еще это воронье не носилось с таким злобным карканьем над нашим народом, как в настоящее время, когда он оказался поверженным и отравленным ядовитыми туманами, нахлынувшими на него с Запада. Слова о безмерной вине России перед другими нациями подхватывались и подхватываются с ликованием всеми ненавистниками России — явными и тайными, — которые одинаково хотели бы видеть русский народ разрозненным, обессиленным, ослепленным, отделенным от органического преемства со своим прошлым — и тем самым от своей великой духовной культуры — и покорно разлагающимся в космополитическое сообщество, представляющее из себя только труп когда-то живого национального организма, — труп, в котором могут по-настоящему процветать лишь черви, которые, конечно, тоже «любят» и «ценят» Россию, но лишь как сытное и вкусное блюдо. Вот эти-то черви, оправдывая свои вожделения, и твердят ныне о безмерном грехе России перед ними — она не давала им есть себя, но теперь обязана в этом бесконечно раскаяться.

«Да, русскими принесено в этот мир больше Зла, чем евреями, немцами, турками и татарами», — нас заставляют это признать, не разрешая при этом даже спросить о премудром бухгалтере, о дотошном исследователе мирового зла, заступившем нечаянно на место Творца и сумевшем все взвесить и определить, отрешившись от своей столь естественной субъективности, от своей человеческой слепоты и эгоистической раздраженности, столь обычной в разорванном и враждующем мире.

Конечно, русскими принесено в этот мир много зла, — признаем его. Думаем, что не меньше принесено и другими народами. Но чтобы праведно все рассудить, надо быть на самом деле всеведущим Богом. И потому не подождать ли с окончательными оценками до Его суда, который откроет нам полную правду о всяком народе?.. Так ставить вопрос представляется нам разумным, а так, как ста-

вят его ненавистники русского народа, совершенно безумным. Не говоря уж о том, что само непосредственное чувство справедливости, не пораженное изначально ненавистью к России, вопиет против этой явной ХУЛЫ на русский народ — злобной и оголтелой попирающей саму очевидную правду.

«Атеистическое государство, возникшее на развалинах (империи), бесовская одержимость и озлобленность народа против Бога, дошедшие до журналов вроде «Веселого безбожника»,— это исторический грех всей православной церкви, которая не стала «Матерью и Наставницей» русского человека во всей должной полноте» (стр. 78).

Праведный Иов, по-видимому, не был по-настоящему праведным, если постигли его такие безмерные печали. Так рассуждали друзья праведника, и, несмотря на свою ошибку, они все-таки рассуждали менее глупо, чем теперешние «друзья» Православия. Потому что гораздо естественнее предположить человеческую греховность, нежели «греховность Церкви», о которой Сам Христос учил как о не имеющей никакого греха или порока.

Следуя логике автора вышеприведенной цитаты, отрицающей грех людей перенесением его на Церковь, было бы естественно обвинить, например, католическую церковь (которую, кстати, он очень хвалит) в том, что она по своей греховности оттолкнула от себя половину Европы в протестантизм, что она не сумела стать «Матерью и Наставницей» для сотен и сотен миллионов людей, когда-то доверенных ей Богом, которые ушли от нее в религиозное равнодушие и самодовольную плотскую буржуазность, во всевозможные виды безбожия, возникшие поначалу именно в католических и протестантских странах и лишь потом экспортированных оттуда в не-католические народы. Католическую церковь следовало бы обвинить и в явной, хотя и преступной, неспособности одолеть тот самый «прогресс», который зародился в ее же собственных недрах и который увлек ныне человечество в рабство «духу» современной бездушной цивилизации, все более открыто показывающей свое подлинное демоническое лицо. Можно было бы призвать католическую церковь к ответу и за фашизм, возникший не где-то вне католического мира, но именно в самой цитадели католичества — Италии и Испании, — а также в Германии, тоже некогда католической стране. Можно было бы еще во многом обвинить католичество, но ясно, что предъявлять подобные обвинения — значит полностью уподобиться нашим авторам, уже цитированным выше, чьи глаза, мысли и весь внутренний облик, отразившийся в их писаниях, оказались как бы перекошенными от ненависти к православному миру.

Заметим, кстати, что попытка возложить грехи человеческие на Церковь Христову мало чем отличается по своей внутренней противобожной сущности от обвинения, обращенного к Самому Богу: «Зачем допустил Он в мире столько горя и зла? Зачем не уберег Адама от падения? Зачем не вмешается, не освободит и не спасет немедленно всех, если действительно Он Бог всесильный?» Здесь, в этих обвинениях, неприметно для глаз логика справедливости оборачивается и подменяется логикой величайшей несправедливости, потому что вместо Божественного суда над человеком утверждается человеческий суд над Богом и малый тварный ум возносится в тонком надменнии над мудростью Самого Творца, над Божественным надчеловеческим смыслом и планом мира.

«Неспособность Церкви возродиться после огненной и кровавой купели десятков тысяч новейших российских мучеников — суровый приговор православию» (с. 78).

В этой замечательной фразе, словно солнце в капле воды, отразился весь дух ее автора, столь характерный не только для него одного, но и для целого содружества критиков Православия.

Да, действительно — и мы вынуждаемся это признать, — приговор Православию выносится в наши дни очень суровый. Но не суровее все же, думаем, чем тот, что вынесли некогда иудеи, крича с ликованием распятому на кресте Христу: «Если Ты воистину Сын Божий, — сойди с креста!..» И злословили они Его, смеясь над Его немощью, — точь-в-точь, как ныне злословят авторы опубликованных в «Вестнике РСХД» статей.

«Если Истина распинается миром, то разве может она быть Истиной?..» — так получается по бессмертной иудействующей логике, отрицающей Церковь поруганную и оплеванную, мученически изъязвленную и пригвожденную вслед за Христом к кресту. Ныне, в безбожный век, над Православием, кажется, имеет право смеяться уже весь мир, потому что ИМЕННО В ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ — ПОЛНОТА ИСТИНЫ.

А ведь Христос действительно «сошел» с креста — но, правда, не тогда и не так, как этого хотели и как требовали от Него иудеи. Божия мудрость и Божия воля совсем не обязаны подчиняться человеческой воле и мудрости. Христос воскрес, когда уже не было никакого сомнения в том, что дело Его проиграно окончательно, когда даже самые близкие ученики Его отреклись от Него и признали, потрясенные и убитые горем, Его поражение.

Но кто знает, не предстоит ли и Церкви Христовой пережить в будущем еще несравненно худшие времена, чем теперь, — когда Ее смерть или какое-то подобие смерти станет даже для любящих Ее очевидным и горьким фактом?.. И не тогда ли только, после голгофских страниц, Господь откроет пред всеми ее подлинную святую природу, ныне скрытую под зраком униженного и распинаемого раба,— скрытую от невидящих глаз толпы, околдованной тихим безумием обезбоженной жизни?

Едва ли стоит дальше перебирать и раскрывать все многочисленные передержки и слепотствующие клеветнические утверждения, — получилось бы не письмо к Вам, а целая книга. Достаточно сказать, что все они в том же самом роде, что и уже приведенные, и все обнаруживают свой болезненный, не-православный дух. Читая эти статьи, все время чувствуешь, что их авторы постоянно о чем-то умалчивают, чего-то не могут или, вернее, не хотят сказать прямо, а вместо этого как-то озабоченно вертятся и юлят, словно ворожат вот этими передержками и вполне прозрачными намеками вокруг своего неназванного «сокровенного», стараясь загипнотизировать по возможности читателя блеском страстных, чуть ли не экзальтированных фраз, а если гипноз не подействует, то пленить его трезвостью и солидностью правдоподобных оценок, перемежающихся с экзальтацией. Чувствуется, что очень им хочется заразить своим духом читателя и подтолкнуть его незаметно к тому, чтобы он «сам» открыл для себя эту дипломатично не названную по имени истину. Они нападают на «руссифицированное православие» и на Православие вообще, на весь наш русский народ и на русский склад души, сформированный Православием, — и хвалят, с другой стороны, процветающую католическую церковь, предлагая организовывать по католическому типу ордена.

«Соловей-соловей, слышу стук твоих копыт!..» — так, кажется, словами из русской народной сказки, можно ответить на пение таинственных «представителей русского народа», столь его явно ненавидящих и отрицающих.

Господин редактор, статьи, посланные Вам и, к сожалению, напечатанные Вами, имеют, как мне думается, провокационный характер. Их цель — убедить русских православных людей за рубежом, что здешние, так сказать, исконные русские православные христиане уже разочаровались в своем Православии, проклинают свое прошлое и возлагают надежды на Запад и на переустройство своей жизни по западному образцу. В связи с этим я хотел бы заверить всех подлинных русских патриотов, проживающих в изгнании, что это совсем не так. Мнение горстки чужаков еще не есть мнение русского православного народа. Для измены Православию и своей матери-Родине у нас нет совершенно никаких оснований. Нерушимой остается наша вера в Бога и в Его премудрый замысел о мире в целом и о нашем Отечестве в частности.

По-человечески, конечно, наше положение в настоящее время довольно трагично, может быть, безнадежно, но мы и не возлагаем своих надежд на человеческий промысел. Если миру еще предстоит долгая жизнь, то — верим — Сама Владычица наша Богородица в сроки, известные Ей, и образом, тоже известным Ей, подымет весь русский народ и освободит его от мучающих и оскверняющих его бесов. Уже сейчас начинается в нашей стране религиозное возрождение, и остановить этот процесс едва ли что сможет.

Мучительно думая о судьбе нашей Родины, мы не можем в конце концов не признать: нет, недаром почти тысячу лет на Руси теплились лампады пред святыми иконами, строились благолепные дивные храмы, совершались страшные Божественные литургии; недаром подвизались в своих подвигах бесчисленные святые и даже в своих заблуждениях стремились к правде отпавшие от Православия лже-учители; недаром в страну свою называл наш русский народ не прекрасной, не великой или обильной, но именно Святой Русью. Верить, что эта Святая Русь может оказаться каким-то фантомом, каким-то привидением, способным бесследно сгинуть, — значит верить в бессилие святости вообще, значит обличать перед всеми свою собственную ущербную душу. Святая Русь неистребима, она не может пройти, она вечна и победна, и именно ей в истории нашего народа принадлежит последнее слово.

Та болезненная перемена, которая совершилась в русских людях в результате революции и которая так поражает и смущает некоторых, не могла не быть переменой поверхностной, не затронувшей подлинного народного ядра: Святая Русь ушла с поверхности современной жизни, но продолжает жить в ее сокровенной глубине, пребывая до времени, чтобы в сроки, угодные Богу, переждав зиму, снова пробиться к поверхности и украсить собою лицо земли русской, так жестоко исхлестанное огненными и ледяными бурями.

ВОЦЕРКОВИТЬСЯ, ВОПРАВОСЛАВИТЬСЯ, ПРИОБЩИТЬСЯ КО ВСЕЙ ПОЛНОТЕ РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ, не смущаясь теперешним униженным положением Русской Православной Церкви и русского народа, не соблазняясь земным благополучием инославных церквей и других народов, — вот что нам сейчас надо. Негативизм по отношению к Православию и к русскому народу, вызванный их жалким теперешним состоянием, духовно близорук и духовно мелок, а подмена церковных и народных богатств собственным творчеством или обезьяньими заимствованиями с «переразлагающегося» Запада — это ложный и болезненный путь для русской интеллигенции, хотя, по-видимому, и неизбежный для многих вследствие общего болезненного перекоса всей теперешней жизни. Не подменять православно-народных богатств собственным художественным творчеством, а вводить его гармонически в общую ткань, пребудно обогащая и напитав духом и правдой этой ткани, — вот задача, которую приняли, принимают и примут на себя все лучшие, наиболее духовно чуткие русские люди. И не выпячиванием своих идей и делая они займутся, не обличением их действительных или мнимых грехов (не нам судить отцов наших: есть что-то глубоко непеломудренное и греховное в подобном ребяческом самомнестве и судействе), а принятием на себя всех последствий уже совершенного —

этого темного, таинственного переворота, в котором вина каждого человека и каждого народа видна по-настоящему только Богу, — с тем, чтобы труженическим подвигом, включающим в себя и собственное покаянное очищение и мужественное несение тягот, даруемых окружающим миром, и просветление его по мере сил светом Христовым, изживать постепенно с помощью Божией страшную болезнь, которой больна теперешняя Россия. Именно этой дорогой мы и обязаны идти, относясь с величайшим уважением к наследию православного народа, но не с хамским стремлением полузнаек, вскормленных на отбросах западной цивилизации, запутавшейся не меньше советского мира, хотя и на собственный лад, в своей безблагодатной свободе, в своей чувственности и в желании победить этот мир мирскими же средствами.

Заканчивая свое письмо к Вам, господин редактор, мне хочется выразить не только сожаление в связи с публикацией Вами антирусских и антиправославных статей, но и надежду на то, что подобные публикации вовсе не являются линией Вашего журнала, а лишь случайным недоразумением. Я думаю, что не открою секрета, сказав, что возрождающаяся Россия нуждается в подлинно православном и подлинно патриотическом журнале.

С искренним уважением к Вам
Геннадий ШИМАНОВ.

Москва, 1 февраля 1972 года.

ПИСЬМО ВТОРОЕ*

Господин Редактор.

Долгое время ожидая ответ на мое предыдущее открытое письмо к Вам, я получил наконец из третьих рук копию, как мне сообщили, Вашей записки; но поскольку ни обращения, ни подписи в ней не оказалось, мне остается теперь только гадать о том, что из себя она представляет: то ли вырванный из Вашего не дошедшего до меня письма отрывок, то ли весь Ваш ответ полностью. Во всяком случае, во избежание недоразумений, воспроизвожу полный текст этой записки, как она дошла до меня: «К сожалению, никак не могу дать ответа из-за ненужной резкости тона. Вы правильно отметили в некоторых местах то, что можно назвать чаадаевским соблазном, но с ним можно и нужно спорить, а Вы знаете также: Чаадаев любил Россию лучше, чем его хулители, и сделал многое для пробуждения русского самосознания. Нужно относиться к чужим мнениям с пониманием и терпением. К тому же, противореча самому себе, Вы пишете, что со многим согласны. Нетерпимость должна относиться ко лжи и бесчестию. Все остальное заслуживает уважения».

Господин редактор, я не буду скрывать, что Ваша записка неприятно удивила своей странной логикой и меня, и многих, кому я успел показать ее, кстати, людей, с полной симпатией к Вам относящихся. В самом деле, как ни прикидывай, а смысл Ваших слов получается всегда один: РОССИЮ ХАЯТЬ МОЖНО, потому что это и не хаять вовсе, а всего лишь критиковать, всего лишь «выражать свое мнение»; ПРОТЕСТОВАТЬ ЖЕ ПРОТИВ ХУЛЫ НА РОССИЮ НЕЛЬЗЯ, потому что это оказывается уже не выражением своего мнения, а проявлением «нетерпимости», «охаиванием» честнейших и вполне достойнейших критиков России... Но кто же кого все-таки охаивает?.. Вы совершенно твердо и недвусмысленно ответили на этот вопрос. Однако боюсь, что Ваша необъятная терпимость существенно пострадала при этом, оказавшись, если воспользоваться образом Стейнбека, «улицей с односторонним движением». Мне кажется, будь Вы действительно беспристрастны, насколько это необходимо руководителю дискуссии о России, Вы предоставили бы слово обеим столкнувшимся сторонам (отговорка насчет резкости тона неубедительна, потому что в антирусских статьях резкости нисколько не меньше; она лишь выражена в форме довольно иезуитской — в форме САМОкритики направленной в действительности не против самих авторов, а против Православия и России)...

Отмалчиваться же, делать вид перед своими читателями, что никакого, собственно, протеста против печально известных статей не было (на том основании, что протест был резким чрезмерно), — значит вводить в заблуждение православную общественность, значит создавать у читателей ложное представление о всеобщей якобы солидарности с опубликованными статьями. Преднамеренно или нет, но это ложное представление Вашим журналом действительно создается хотя бы уже потому, что им игнорируется целый ряд писем и статей, содержащих возражения на антирусские и антиправославные публикации. Могу, в частности, указать на статьи Прохорова, Радугина, Ибрагимова, получившие довольно значительное распространение здесь у нас и едва ли Вам неизвестные. Но, так дорожа, по-видимому, каждой живой весточкой из России, Вы почему-то не поспешили сообщить Вашим читателям о появлении ни одной из них. Почему же?

Господин Струве, я понимаю, что Вам как редактору может быть жалко было своих столь бесстрашных обличителей Русского Православия и не хотелось публичных выступлений против них, тем более на страницах Вашего же журнала. «А вдруг они обидятся от резкого слова?.. А вдруг отложат перо?.. А вдруг не обогатят больше ничем русскую мысль?» Я понимаю, что Вам, может быть, отчасти жалко было и себя: ведь это Вы, слегкомысленничав, подали в таком пикантном соусе пачкунов России, назвав выступление их «событием» в русской жизни, причем событием весьма положительным... НО ВОТ РОССИЮ-ТО... РОССИЮ-ТО НЕУЖЕЛИ ВАМ НЕ ЖАЛКО?.. ПРАВОСЛАВИЕ-ТО НЕУЖЕЛИ ВАМ НЕ ДОРОГО?..

Геннадий ШИМАНОВ
Москва, 1 сентября 1972 года.

* Письмо печатается в сокращении.

ОТРЫВКИ ИЗ ДНЕВНИКА

1. «Любовь к своей нации — вот что разделяет людей и провоцирует вражду между ними», — говорят нам космополиты. А что же, спросим мы их, — разве всякое разделение дурно?.. Вот семья, например, тоже разделяет людей на определенные ячейки, между которыми возможна и даже на самом деле бывает иногда вражда, — так что же, неужели лучше жить в свальном грехе, а не в чистом и целомудренном браке?.. Ну, а стены вашего дома разве не отделяют вас от соседей?.. или это тоже плохо?.. Вы говорите, что коммунальная система вам больше по сердцу, — ну что же, о вкусах не спорят. Но почему бы ее не усовершенствовать — не сорвать крюки и запоры с дверей или, еще лучше, вообще поснимать все двери, чтобы каждый мог свободно ходить туда и сюда, заходить куда и когда угодно, брать что захочется и вообще делать все, что только придет в голову?.. Будучи последовательным, следует признать, что для целей единения коммунальная система, конечно, хороша, но вот казарменная — еще лучше: здесь даже двери вышибать и стенки ломать не надо. Как, товарищи космополиты, вы согласны поменять свои маленькие и разделяющие вас с миром квартирки на роскошные койки в огромном зале, типа Казанского вокзала в Москве, где ничто уже не отделяет от кишащего человечества?.. Согласны?.. Хе-хе, но коечка-то... коечка-то — это ведь тоже собственность... Небось, драться начнете с каким-нибудь нахалом, завалившимся на ней поспать или просто так поваляться?.. а?.. не начнете?.. Ну, тогда я молчу. Молчу. Совсем вы меня к стенке приперли... Хотя подождите... К стенке?.. Но ведь стенок-то и не должно быть!.. Зачем отделять одно пространство от другого?.. Нехорошо. Надо было сказать: совсем вы меня прижали к земле, положили на обе лопатки. Вот я и лежу... и думаю... А как, по-вашему, стены уборных — тоже надо будет снеств?.. Или оставить?.. Пожалуй, рушить перегородки так уж рушить, чтобы ничего не оставалось... Правильно?.. Конечно, весь мир придется снести к едреной бабушке... Ну и что?.. Подумаешь — мир!.. Ради идеи чего не сделаешь?.. Все можно...

Э нет, господа хорошие... Можно-то многое, это верно, да ведь все-таки не все, согласитесь... Идеала вот, например, нашего все равно достичь не удастся: как ни крутись, ни вертись, а разрушить границы, разделяющие предметы, расквасив ли их в общую смятку, втиснув ли их друг в друга, при слабых-то человеческих силах едва ли возможно, особенно во всемирном масштабе. Не правда ли?.. Так что не остается ничего, как, хорошенечко подумав, согласиться под конец со старой, но все-таки верной мыслью о том, что действительное объединение в этом мире невозможно иначе, как только посредством не нами придуманной — установленной Господом!.. — иерархии, в которой имеется для всего свое место, отделенное, правда, от всех остальных, но зато и связанное с ними сокровенной, а иногда и видимой связью...

5. Нациям, прежде чем общаться друг с другом, нужно сначала прийти в себя — вымыться, одеться, причесаться, а главное — восстановить свое внутреннее достоинство, восстановить в себе лучшие свои черты. Сказанное в полной мере относится и к каждому отдельному человеку. Сначала надо стать русским, литовцем, поляком, евреем, а уже потом по необходимости общаться с людьми иной нации. Общение же людей денационализированных есть больное общение, это своеобразное распутство, поощряемое нынешним бездуховным миром...

7. Национализм может быть зоологическим, от которого мы раз и навсегда отказались, приняв Христианство, и глубоко человеческим — **патриотизмом**, признающим принципиальную равноценность всех наций, но отнюдь не их упразднение, потому что каждому человеку в этом мире естественно жить под покровом и защитой своего народа, питаться его мудростью и пользоваться накопленными за века богатствами своих предков...

8. Выйти замуж за русского — значит стать русской по духовному значению этого факта, выйти замуж за англичанина — значит стать англичанкой, — этого требуют правила брака и правила племени, принимающего в свое лоно нового члена. Но ты не желаешь отказаться от нации, которая тебя породила, от нации, к которой принадлежат твои родственники и друзья?.. НЕ ВЫХОДИ ТОГДА ЗАМУЖ ЗА ИНОРОДЦА, ибо, венчаясь с мужем, ты венчаешься с его народом. Национальная принадлежность определяется в первую очередь вовсе не кровью, а духовным складом человека, зали-

сящим в громадной степени от его духовного выбора. Кровь же играет существенную, но подчиненную роль. И лишь при духовном ничтожестве кровь выступает как определяющая сила...

9. Совершенно безопасно было Ивану IV жениться на черкешенке или отдавать какую-нибудь русскую женщину за принявшего Православие и Россию татарина, потому что в любом случае и черкешенка и татарин окончательно отрезались от своей прежней родины и становились фактически русскими, всасывались и растворялись в ЗДОРОВОМ русском национальном организме. Иное дело сейчас, когда русская нация БОЛЬНА, когда она уже не способна никого ассимилировать в себе, когда она сама от прикосновения инородных элементов разлагается в космополитическую массу.

Но будет время выздоровления, и это русское воскресение увлечет за собой духовной правдой и своей нравственной красотою и привлечет к себе не только нынешних полукровок и космополитов, но также и многих, многих, не имеющих в себе совершенно русской крови.

ЭТНИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ РУССКОЙ НАЦИИ НЕИЗБЕЖНО, оно в прошлом совершалось уже не раз, но самое грандиозное этническое обновление — впереди.

10. Национальное чувство у русских в силу особенных причин поражено в наше время в наибольшей степени по сравнению с другими народами, так что собирать их под знаменем патриотизма представляется делом едва ли возможным. Но, учитывая, что иного выхода нет и что только в этом выходе — правда, за это дело следует браться, и самым решительным образом. Взывая: да поможет нам Бог!..

13. В настоящее время — можно смело утверждать — русских презирают все или почти все, и чем темнее и грубее нация, тем ее презрение больше, потому что темнота и грубость не позволяют понять то трагическое положение, в котором русский народ находится. Русские живут, как правило, беднее, чем почти все остальные нации в нашей стране (во всяком случае, беднее прибалтов, кавказцев и среднеазиатов), и тем не менее они угнетатели, эксплуататоры, империалисты, а если и бедно живут при этом, то лишь благодаря своей глупости и бездарности. Поистине русскому человеку всякое лыко в строку. Но та ненависть инородцев, с которой мы сталкиваемся довольно часто, может иметь и благодетельные последствия, пробуждая в русских людях сознание своей национальности и как бы насильно утверждая в них национальное чувство. Ибо русского человека, право же, надо ударить дубиной, да не один раз, чтобы он наконец догадался, что его, пожалуй, не очень-то любят. Простых плевков и ударов не понимает он, принимая их всего лишь за дружескую шутку. Национальное добродушие его болезненно разрослось и буквально обессиливает, буквально разрушает его. Но русский народ долго раскачивается, раскачавшись же, он поднимается однажды, и тогда никакая сила остановить его не может. Поистине велик он и многое сделать может, на что не способны другие народы, но связанный и зачумленный хмелем, он беззащитен и жалок,— тоже как никто...

15. Русскому народу, если он хочет возродиться как великая нация, необходимо в сжатые сроки ликвидировать свою национальную безграмотность, вернувшись к истокам величия, к Православию и своей национальной культуре, от которых он оказался столь трагически отторгнутым в результате петровской реформы и всех последующих событий, явившихся лишь последовательным продолжением ее. Национальное равнодушие и нежелание участвовать в национальном строительстве есть знак духовного помрачения...

19. Русская интеллигенция на протяжении чуть ли не всего времени своего существования была просто заворожена вопросом социальной справедливости, в результате чего всякая озабоченность судьбами своей нации среди других народов либо просто отменялась как нелепая и ненужная в свете грядущего всеобщего братства, либо осуждалась как нечто греховное и нечистое в нравственном отношении. Национальный вопрос — один из важнейших для человека и человечества, — по существу, игнорировался господствовавшей русской общественной мыслью, и в результате мы, русские, и особенно наш интеллигентный слой, оказались совершенно неграмотными, неразвитыми и неприспособленными к национальным столкновениям, столь естественным и обычным в греховном и хаотическом мире. И вот русская нация не только теряет одну позицию за другой; ОНА УМИРАЕТ. Вместо мудрой и энергичной защиты своих законных национальных интересов и своего национального достоинства русских отличает теперь либо полное равнодушие к своей национальной судьбе, либо судорожные эпизодические усилия, поражающие наивностью и неумелостью. Но вот что обнадеживает, однако: русские были всегда довольно талантливыми учениками у других народов, и талантливыми настолько, что превосходили впоследствии своих учителей. Мы учились некогда Православию у греков, умению воевать у шведов, промышленному делу у немцев и англичан. И вот есть надежда, что однажды русские, отбросив нелепые предрассудки, возьмутся за учебу и научатся у кавказцев, у татар и евреев их духу национального единства. Но мы обязаны не только учиться, — мы обязаны также показать в дальнейшем пример действительно достойного отношения к инородцам, в котором сила подчинялась бы справедливости, а любовь и уважение к своему народу не оборачивались бы презреньем к народам другим...

36. Чего я боюсь, так это внезапной либерализации, той самой «западной демократии», на которую так надеются и которую так ждут в нашей стране многие интеллигенты. Близорукая, бездарная мечта!.. НО ВЧЕРА ЕЩЕ ОНА БЫЛА И МОЕЮ МЕЧТОЮ.

В величайших муках зачалось в России новое религиозное возрождение, и как оно на сегодняшний день ни ничтожно на вид, — ЕМУ ПРИНАДЛЕЖИТ БУДУЩЕЕ. Теперешняя в меру суровая атмосфера является, вопреки истерике демократов, не только вполне сносной для жизни (в целом), но даже более того — единственно здоровой для пробуждения и роста религиозного сознания; а это самое главное. Пока существует Советская власть, остановить религиозное возрождение в нашей стране невозможно. Остановить его может только одно — внезапный обвал, внезапная либерализация чехословацкого образца, то есть западная демократия со всеми ее прелестями. Случилось такое,— и несомненно сразу же откроется множество церквей и приток людей к религии резко увеличится, но на этом, увы, скоро все закончится и захиреет. Это будет ВЫКИДЫШ, и Россия, вместо того чтобы сказать свое самобытное, глубоко выстраданное и подлинно христианское слово миру, вместо того чтобы явиться источником величайшего религиозного света и обновления в мире, — окажется захолустьем и задворками теплохладного и сытого Запада с его искусственными и потому бесплодными метаниями.

Но нет, в России было слишком много страданий, и разрешиться им в комическом и жалком демократическом пшике Бог не позволит. Западной демократии у нас не должно быть. А те трудности, несомненнейшие и величайшие трудности, которые стоят на нашем пути и которые, кажется, поднимаются до самого неба,—это трудности роста, это трудности, которыми Сам Бог поднимет и поднимает уже нас из рабства этому миру к Своему Царству.

Из сборника «Против течения» (1975 год)

Из открытого письма Лие Абрамсон

Уважаемая Лия! Не вините меня, что отвечаю на Ваше письмо с таким опозданием. Дело в том, что редакция «Евреев в СССР» решила не показывать мне номер своего журнала с моим интервью и откликами на него. Представитель редакции не сдержал своего слова познакомить меня с этим номером по выходе его в свет.

Тем не менее по прошествии двух лет оба отклика оказались на моем столе (отнюдь не стараниями евреев), и я получил, таким образом, приятнейшую возможность пожурить редакцию журнала если не за чрезмерную скрытность, то уж за ротозейство во всяком случае. Как же это получилось, что ОТКРЫТОЕ письмо, адресованное Шиманову и напечатанное на страницах еврейского журнала, все-таки к Шиманову попало? Экие, право, раззявы... Вы, Лия, пропесочьте их там как следует, по-домашнему: ведь утечка секретной информации — это вещь серьезная.

1. О ТОМ, ЧТО СИНИЦЕЙ ЖИВ НЕ БУДЕШЬ

В отличие от статьи Сотниковой и Азбеля, в которой красота иудейского ума проявилась как-то особенно уныло, Ваше письмо произвело на меня впечатление. Я не хочу сказать, что восхищен Вашими доводами и выводами, но в самом тоне Ваших возражений, язвительных замечаний, серьезных и даже иногда горестных рассуждений, как мне показалось, мелькает порою что-то от воздыханий о такой правде, которая утолила бы всех, не только одних евреев. А это, право же, впечатляет, это уже вызывает симпатию, хотя бы и поверх всех решительных несогласий, которым пока, увы, не видно, конца.

Что же касается самого содержания Вашего письма, то скажу откровенно: я так и не понял, ради чего оно было написано. Ради того, чтобы доказать мне, что взаимопонимание и сотрудничество народов СССР в деле национального и религиозного возрождения попросту невозможны?.. Но что же в таком случае им остается?.. Очевидно, не понимать друг друга, тупо враждовать и не сотрудничать, а противодействовать друг другу. Ну что же, спасибо за «приятную» перспективу. Но я полагаю, что не постараются избежать не только русские, ибо глубоко верю в то, что народы нашей страны не лишены высших способностей и в глубине их национального самосознания не разрушительный, но созидательный пафос.

Вы, может быть, скажете, что русским достаточно не соваться в чужие дела, а что до сотрудничества, то поверить в это нет уже никаких Ваших сил и все это — де «воздушный замок», как и будущая империя с правом для всех иметь свою землю. Все это так высоко, что даже и рукою не дотянуться, а коли не дотянуться, то и стремиться нечего. Из Ваших слов о сионизме, который Вы уподобили «жалкой хибаре», можно понять, что синица в руках соблазнительнее журавля в небе. Не так ли?.. А если так, то, честное слово, напрасно Вы приняли Христианство. Какое же Христианство без журавля в небе сердечном?

Но, может быть, я просто неправильно понял Вас? Может быть, Вы всем

сердцем верите в возможность нравственных отношений между народами? Верите, по крайней мере, в необходимость работать на этот идеал, но... А письмо написали просто от избытка чувств, ведь национальные страсти, по Вашим словам, накалены до предела, и как тут было не высказаться и не излить душу?

Ну что же, и то, как говорится, хлеб. Преломим же его в надежде, что он не иссякнет, но — во славу Божию — умножится многократно для нас и для всех, кто пожелает так или иначе послужить этому идеалу.

2. О ТОМ, ЧТО СЛОВО «АНТИСЕМИТ» ОСТАЕТСЯ БОЛЬШОЙ ЗАГАДКОЙ

Итак, несмотря на мое уважение и сочувствие к евреям (Вы, кажется, даже поблагодарили меня за это), Вы расценили мои высказывания как «апологию антисемитизма». Стало быть, называть евреев великим народом, историю их признавать трагической и таинственной, желать примирения их с почвенными народами, выражать убеждение, что эти последние должны по-братски поделиться с евреями своею землею и соблюдать по отношению к ним всякую правду, — все это не только не является решительным отрицанием антисемитизма, но, наоборот, самой прекрасной его апологией.

Но почему же тогда Вы так сожалеете, что «средн нашего брата» такого отношения к евреям, увы, маловато? Почему Вам, несмотря на все Ваши возражения, так понравился мой «антисемитизм»? Или, может быть, Вы почувствовали, что это и не антисемитизм вовсе, но по привычке вдарилв за несогласие с расхожей еврейской догматикой?

Но посмотрите, какой опасный вывод могут сделать некоторые из такого явно раздутого представления об антисемитизме. Для того, чтобы стать антисемитом, скажут они, совсем не обязательно выступать против евреев как таковых. На примере Шиманова каждый может легко убедиться в том, что антисемит — это такой человек, который просто-напросто ОГОРЧАЕТ евреев своими неправильными суждениями. И даже правильными, — добавят читатели «Евреев в СССР», вспомнив про одно Ваше нечаянное признание. Ведь признаете же Вы, что даже правильные суждения могут огорчать евреев, когда пишете: «возразить, хотя и хотелось бы, нечего». Ну, разве не огорчительно?.. Так что читатели могут дать такое, правда, несколько смешное, но зато вполне научное определение: АНТИСЕМИТЫ — ЭТО ТАКИЕ ЛЮДИ, ЧЬИ МЫСЛИ (независимо от их правильности или неправильности), ЧУВСТВА (независимо от их благородства или неблагородства) И ХОТЕНИЯ (независимо от их нравственной законности или незаконности) НЕ НРАВЯТСЯ ЕВРЕЯМ, ОГОРЧАЮТ ИХ, РАЗДРАЖАЮТ, БЕСЯТ и т. д. и т. п. Значит, чтобы не стать антисемитом, нужно не огорчать евреев и соглашаться со всеми их претензиями, какими бы удивительными они ни казались. Вы с этим согласны, Лия? Если нет, то дайте, пожалуйста, свое определение антисемитизма, а я готов в интересах науки терпеливо разгадывать вместе с Вами таинственный смысл этого удивительного слова.

Но, может быть, Вы скажете: я не за то назвала вас антисемитом, что землю нам обещаете, а за то, что очень пренебрежительно отзываетесь о нашей роли в истории России. Обидно.

Ну, а как быть, если действительно роль евреев в русской истории была не совсем привлекательной? Да и могла ли она быть иной, если евреи не имели здесь своей земли, не имели своей почвы, а их антихристианские идеалы были, мягко выражаясь, несравнимо ниже христианских идеалов русского народа?

Чрезмерная обидчивость совсем не признак духовного здоровья. Некоторые иудеи куда здоровее духовно своих христианских братьев по крови. Сошлюсь хотя бы на Ш. Х. Бергмана, вот его слова:

«Наша роль в диаспоре — это роль паразитов. Возьмите всех тех евреев, которые жили и творили в Германии накануне Первой мировой войны и вскоре после нее. Возможно, что у них была — и даже несомненно была — какая-то стимулирующая фикция в немецкой культуре. Но если говорить о самовыражении нации, еврейской нации, о ее вкладе в мировую культуру, то общий итог их деятельности, мне кажется, был резко отрицательный...

Трудно объяснить все это человеку, не жившему в ту эпоху. Были журналы — такие, как «Тагебух» Шварцшильда, «Вельтбюне» Якобсона, — со страниц которых евреи регулярно, словно инъекцию, впрыскивали нигилизм и раздражение в кровь немецкого народа. О да, евреи умели многое подмечать и в силу своей безответственности могли позволить себе высмеивать любые отрицательные стороны немецкой жизни — немецкое офицерство, буржуазию, домашний уклад, — могли выставлять напоказ их отталкивающие черты. Все это началось давно, еще со времен Гейне.

Возможно, что эта смесь издевательства и боли была для немцев чем-то вроде противоядия, не знаю. Нам, сионистам, такая роль казалась отвратительной. Конечно, были многие, в том числе и неевреи, которые видели в этом миссию еврейского народа. Но если нашего таланта хватает только на это, то я предпочту любой, самый малый позитивный вклад в израильскую культуру всем нашим «успехам» в деле сотрясения мировых основ.

Авенариус (редактор журнала «Кунстворт», сыгравшего большую роль в становлении Кафки как писателя) однажды писал: «Евреи являются администраторами немецкой литературы». И это была правда. В Праге, где я родился, был немецкий театр. Им заведовал еврей, большинство актеров были евреи, да и публика почти целиком была еврейская, потому что в городе было мало немцев-театралов. По Праге ходил тогда анекдот: «Директор еврей, актеры евреи, публика еврейская, и все это называется немецким национальным театром».

«...если говорить о тогдашних немецких или чешских евреях (...), то их «роль» неизбежно внушала им ощущение превосходства, высокомерия по отношению к окружающему народу. Между тем ощущение это было абсолютно безосновательное — ведь они на самом деле и существовали-то благодаря физической и духовной деятельности этих народов. Любопытно, что в Германии в то время развивалась и чисто немецкая литература, которую евреи вообще не читали: эта литература рассказывала о жизни крестьян, которая евреев совершенно не интересовала. Таким образом, существовали как бы две немецкие литературы — та, которая интересовала евреев, и та, которую они игнорировали. И то, что при этом евреи владели многими крупными газетами и издательствами и в определенной степени контролировали таким образом развитие немецкой литературы, было нездоровым и опасным явлением» (альманах «22», Тель-Авив, 1978, с. 59—60).

Любопытно, не правда ли? Не будь таких выражений, как «наша роль в диаспоре», или «нам, сионистам», можно было бы подумать, что принадлежат эти высказывания какому-нибудь махровому антисемиту. Например, мне. Между тем принадлежат они уважаемому еврейскому философу и даже, как пишет редакция альманаха, «другу Мартина Бубера».

Спрашивается: можно ли квалифицировать «друга Бубера» как антисемита? Если да, то придется наверняка уронить тень и на самого Бубера. Кроме того, придется, по-видимому, признать, что можно быть убежденным иудеем, убежденным сионистом и даже ректором Еврейского университета в Иерусалиме и при всем при том — врагом своего народа. Стало быть, иудаизм и сионизм еще не спасительны и не равнозначны истинному еврейству? Получается так. Вывод, как видите, ужасный.

Если же Бергмана невозможно квалифицировать как антисемита, то почему русских, американцев, литовцев, высказывающих те же в принципе взгляды (а иногда высказывающихся и в том даже смысле, что народы почвенные должны поделиться с евреями своей землей), можно называть не только антисемитами, но и человеконенавистниками? Более того — даже приписывать им желание истребить евреев (см. статью Э. Сотниковой и М. Азбеля)?.. Неужели еврейское национальное сознание не находит в подобной практике ничего для себя удручающего? Неужели для евреев это самая обычная манера оценивать свое и чужое?

А теперь рискните-ка, Лия, на эти вопросы ответить. Я очень надеюсь на то, что в конце концов евреи-христиане заговорят не на нынешнем их жалком языке бедных родственников в иудейском доме, но на свободном и правдивом языке истинных детей Израиля.

3. ЕЩЕ РАЗ О ТОМ, ЧТО БЕЗ ЖУРАВЛЯ ОБОЙТИСЬ НЕВОЗМОЖНО

Из Вашего письма, равно как и из статьи Азбеля и Сотниковой, следует, что евреям гораздо лучше гнать арабов с насиженных мест и селиться самим в их палестинах, нежели добиваться вместе с русскими патриотами такого преображения всего мира, при котором право на свою землю и самобытное устроение своей жизни получили бы все народы и все религии. Но объясните мне, чем же, собственно, этот грабительский способ решения еврейской проблемы лучше решения нравственного? Это нравственное решение Вы называете прекрасным «воздушным замком». А я Вам отвечу, что заскорузлым умам вообще всякая мысль о возможности нравственного преображения мира, о возможности новой и более человечной цивилизации представляется невыносимой утопией. Но если эти заскорузлые умы правы и человечество обречено бессильно трепыхаться в нынешней полунравственности и духовном невежестве, то какой же смысл писать открытые письма и всерьез обсуждать какие-то «положения»? Не будут ли эти письма и обсуждения самым обыкновенным толчением воды в ступе?

Если нравственное очищение в мире невозможно, то надо либо принять мутные стихии его в себя и без всякого зазрения совести руководствоваться ими ради личного и кланового эгоизма (и открытые письма писать уже не по велению совести, а из чисто демагогических соображений), либо уйти из мира в своего рода затвор и отвечать в затворе, насколько это возможно, на евангельский призыв о бесконечном совершенствовании (сейчас, кстати, многие христиане именно такой путь и выбирают, пытаясь скрыться в стандартных квартирах от окружающей жизни, которая тем не менее пронизывает своими духовными токами непрочные их убежища).

Выбор, как видите, невелик и в любом случае оскорбителен для человека. Потому что лишь в борении за «утопию», то есть за вселенский нравственный строй жизни, он сохраняет свое достоинство. Эта истина никогда еще не была так очевидна, как в наше глобально-кризисное и глобально-переломное время, когда человечество с синицей в руках и без журавля в своем небе уже не знает, как сохранить себя от будущей катастрофы. И влечет его к гибели именно нравственный минимализм, неразлучный с таким «реализмом», когда уже не видят ничего дальше собственного носа и объявляют все простирающееся несколько далее «утопией» и «воздушным замком».

Неужели не ясно, что отказ от воплощения светлого идеала — это отказ от такой РЕАЛЬНОСТИ, без которой можно лишь разрушаться и развращаться духовно?

Сейчас уже весь мир балансирует на грани, по одну сторону которой полное уничтожение, а по другую — необходимость того самого «воздушного зам-

от которого Вы отказались на словах (но, как мне кажется и хочется верить, не в сердце), то есть необходимость нового типа жизни — высшего, сравнительно с известными нам из истории.

И евреям не избежать пересмотреть устаревшую сионистскую догматику именно в свете этой новейшей мировой ситуации, при которой альтернативой всеобщему отрезвлению и вразумлению может быть только общая гибель. Ныне отказ от деспотического насилия и лжи, по крайней мере в отношениях между народами, становится ИСТОРИЧЕСКОЙ НЕОБХОДИМОСТЬЮ, требованием самой истории. А поэтому предоставление евреям земли в тех странах, где они проживают ныне, и признание их права на самую полную автономию с возможностью для всемирного еврейского единения является не утопией, но такой же суровой необходимостью, как и смена нынешней цивилизации, уже давно ориентированной на самоуничтожение, цивилизацией иной, более духовной и потому более жизнеспособной.

Вот потому-то я и призвал в интервью евреев к совместному труду на эту новую цивилизацию (поначалу, естественно, к труду осмысления предстоящего дела). А что услышал в ответ?

4. ПРЕЛЕСТЬ ДУШЕВНЫХ ДВИЖЕНИЙ

Если дать сгусток написанного Вами, то получится примерно следующее:

Мы-де уже боролись за чужое дело, за русское, за отмену черты оседлости... Довольно, нас не поняли, мы пострадали, а нас упрекают в коварстве!.. Это мы-то намешивали еврейский колер на русскую революцию? Да ничего подобного! Просто не хотели на вторую роль. А кто согласится? И ныне лишь милостью Божией живы, но на вторую роль не согласны... Да, мы горячо откликнулись на призыв ассимилироваться, но — ценя свою нацию выше копченого шпрота, а не ниже, как те паршивые евреи-христиане, порвавшие с синагогой... И т. д. и т. д. и т. п.

Простите за резкость, Лия, но охота Вам было портить бумагу, выплескивая на нее всю эту дребедень? Ну с чего это Вы взяли, например, что Советская власть будто бы «великодушно избавила» евреев от черты оседлости? Неужели Вам не известно, что черта оседлости была отменена еще до Октябрьской революции? Как же это получилось, что практически всеобщую еврейскую преданность Советской власти (в те, разумеется, годы) Вы объяснили так неудачно, упустив главнейшее и очевиднейшее обстоятельство — почти поголовное начальствование евреев над русскими в те первые годы?.. Как же это получилось, что редакция не указала Вам на грубейшую ошибку и ничем не оградила от нее читателей?.. Неужели действительно национальные страсти настолько накалены в еврейском мире, что даже простые исторические факты уже не действуют на сознание? Как же тогда быть с аргументами более сложными и тонкими? Разве можно оценить их по достоинству в такой прямо-таки закусившей удила субъективности?.. Да когда ж, к примеру, это было такое, чтобы евреи «с энтузиазмом» боролись за русское дело?.. Вот ведь как разыгралось воображение. Это ж надо дойти до такой экзальтации, чтобы не только поверить собственной выдумке, но еще и пытаться загнать ею в угол своего оппонента... Да, Лия, характер у Вас действительно еврейский. Это я Вам без всякой лести говорю, поверьте. Если бы здесь не было специфического опьянения, то Вашу попытку представить горячее участие евреев в истреблении русских национальных корней как самоотверженное служение русскому делу следовало бы назвать верхом бесстыдства. Но опьянение должно служить некоторым извинением, не правда ли?

А как понимать Ваши слова о том, что евреи не согласны оставаться в России на вторых ролях?.. Это Вы что — без шуток?.. Но иначе понять Ваши слова невозможно.

...И это несмотря на все причитания о своей «жалкой участи», о бездомности, о том, что евреев во всем мире «раз, два — и обчелся» и что «милостью Божией только и живы»... Поразительная способность: хныкать — и одновременно лягаться, плакаться — и одновременно разевать рот на «первую роль» в русской жизни.

Но как Вы думаете, Лия, для чего это такой «маленькой нации» такой непомерно огромный рот? По-моему, иметь такой рот просто нескромно. Маленький ротик, соответствующий столь ненавистной евреям «процентной норме», был бы куда привлекательнее и, кроме того, содействовал бы своими размерами укреплению подлинного доверия между народами. А то ведь, завидев рот до ушей, и перепугаться можно. И невесть что о евреях подумать: будто они не только в России хотят играть первую роль, но и в Греции, Франции, США и т. д. И поди потом докажи, что слухи о стремлении евреев к мировому господству абсолютно беспочвенны и на самом-то деле они (слезы: кап, кап...) «лишь милостью Божией живы»...

1975 г.



АЛЕКСАНДР КАЗИНЦЕВ

Россия: уроки сопротивления

СТАТЬЯ IV

В ОЖИДАНИИ ГЕРОЯ

АРМИЯ НА РАСПУТЬЕ

КОГДА Назарбаева встретили овациями, Ельцин побледнел. Это было заметно даже из глубины партера. За секунду перед тем маршал назвал фамилию президента России, и зал промолчал — враждебно, глухо. Враждебными были и первые выступления. Полковники бросались на трибуну, как на амбразуру, требуя: доклад Ельцина, отчет Ельцина! А он, массивный, как буддийское изваяние, все глубже уходил в кресло, медленно отодвигался за спины Назарбаева и Шапошникова.

Так начиналось знаменитое офицерское собрание в Кремле. Стало ясно — сценарий, разработанный «демократическим» комиссаром при главкоме — Столяровым, провалился. Зря генерал гонял своих единомышленников репетировать во Дворец съездов (об этом курьезе сообщала «Комсомольская правда»). С первых же минут отбросили предложенное Столяровым определение статуса — совещание. «Нам уже хватит совещаться, мы хотим работать, решать наши судьбы», — сорванным голосом скандировал полковник из Риги.

Постановили: проводим всеармейское *собрание*. И президиум поспешно согласился. Потребовали: прямая трансляция по телевидению! И невиданное дело — Ельцин после небольшой заминки (из зала снова и снова кричали: телевидение!) встал и отправился звонить Егору Яковлеву — давай прямой эфир. Через минуту изумленные телезрители увидели на своих экранах разъяренных полковников.

А те наступали: президентов в зал! Послать самолеты и привезти во Дворец. Решать проблемы здесь же, не расходясь. Если понадобится — заседать неделю «Прошло время послушно щелкать каблуками: будь сделано!» — гневно восклицал летчик из Закавказья.

Это был голос Армии с окраин. Отпавших от Союза давно. Годами травивших военных в прессе. Отбиравших у офицеров жилье и купоны. Оскорблявших их жен. Избивавших детей. О, как отозвались во Дворце все эти выкрики: оккупанты! фашисты! плевки вслед и в лицо! «Государство за невыполнение своих обязательств перед военнослужащими должно отвечать перед судом!» — рубил воздух подполковник Солодкий из Даугавпилса.

«К ответу Горбачева! Ельцина — на трибуну!»

Они хотели ясности. Правды. Решения проблем Армии и Государства. И даже так: Государства и лишь потом Армии. Они были прекрасны в порыве самоотвержения: «Пенсия, зарплата — вопросы важные, но второстепенные. Первостепенный вопрос — о единстве Державы».

Великодушие подкреплялось трезвым расчетом. Солодкий к месту напомнил о судьбе офицерского корпуса царской России. Уничтожили сначала одних, потом всех. *Новым государствам старые люди не нужны**.

Политикам не верили. Из президиума принялись было зачитывать приветствен-

---

* Преследования уже начались. А в марте 1992 года литовские власти арестовали полковника И. Черных, командира расквартированной в Клайпеде дивизии. Власти постарались придать случаю показательный характер. Весьма опрометчиво. Ибо он и в самом деле наглядно выявляет два пути, две модели поведения — спасительную и гибельную. Но думаю, такой урок менее всего понравится тем, кто задумывал этот показательный арест.

Полковнику, как сообщала балтийская пресса, вменили теперь в вину участие в «августовских событиях». Как раз в то время я был в Клайпеде и утверждаю: обвинить И. Черных можно разве что в полном бездействии.

«Я выступлю, а завтра победит Ельцин, меня же посадят», — со вздохом пересказывали в народе слова комдива. Поначалу казалось, что эта тактика дала благоприятный результат: уже 22 августа мэр Клайпеды встретился с полковником и поблагодарил его за *сдержанность*. В качестве поощрения литовская сторона обещала выстроить для военных два жилых дома.

Однако дальнейшие события показали, *куда* на самом деле ведет этот путь. Если литовцы и думали о жилье для полковника, то лишь о «казенном доме». Выяснилось, что на следующий день после взаимного обмена любезностями на пребывавшего в блаженном неведении комдива было заведено уголовное дело. Спустя несколько месяцев власти решили поставить логическую точку, отправив И. Черных в вильнюсский застенок.

И тогда подчиненные комдива продемонстрировали другой путь — они объявили, что не поленятся совершить продолжительный [illegible] бросок, чтобы освободить командира. На [illegible] день И. Черных был на свободе...

ную телеграмму Хасбулатова — в зале затопали. «Просто телеграмма Верховного Совета»,— объявил Столяров. И снова многоголосое: не надо!

Взошел на трибуну Анпилов с пламенной коммунистической риторикой — согнали. Даже слушать не стали лозунги, которые возненавидели (это было видно!) всей душой. Стало ясно, насколько безумной была попытка поднять войска в августе заклинаниями политруков! Армия департизировалась стихийно, но органично и бесповоротно. Те, кто затыкал ею дыры во всех горячих точках, а потом выставлял на позор, на погрем фанатикам местным, на посмешище газетчикам столичным,— те должны забыть дорогу в казармы!

И не важно, что сам Анпилов Армию не подставлял. Что его самого подставили и предали прежние партийные лидеры. Зал ничего не желал принимать в расчет. Партийный? да к тому же штатский?! — вон с трибуны!

Но и Ельцина, когда он выступил под занавес, слушали не намного лучше. Это потом угодливые журналисты запели в привычном одическом стиле: «Звезда Ельцина», «Армия очаровывается», «конкретное, грозное и... сладкое выступление» — всё из рапортажа «Московских новостей».

Я сидел в зале и слышал досадливые реплики — да не шепотом, а почти в полный голос — пустота! Обещает, обещает, а ничего конкретного. Когда же дошло до конкретного: мол, Буш позволил нам продавать военную технику третьему миру и с этих продаж каждому офицеру отстегнут валюту, в рядах звучало нескрываемое презрение. С тех пор Ельцин «осчастливил» Армию разве что самоназначением на пост министра обороны России, московским побоищем в День Вооруженных Сил и раздачей оружия национал-боевикам, запятнавшим себя русской кровью: пример — Молдавия.

Никому со стороны не доверяли. Когда в перерыве к полковникам подошел какой-то областной чин и попросил слова: у меня готовая программа приема офицерских семей (земля, коттеджи и пр.), его мрачно отодвинули в сторону — у нас с в о я программа.

Дурачат! Политики нас дурачат! Эти слова не раз звучали с трибуны. Армейцы не хотели, чтобы их вновь обвели вокруг пальца. И все-таки их одурачили!

И не удивительно — они были слишком разгорячены. Их специально «заводили», накаляли почти до бешенства. Они хотели услышать, что скажет Ельцин в оправдание Беловежского пакта, в оправдание своей прибалтийской и закавказской политики, в оправдание безумного повышения цен. Ему было в чем оправдываться. И Вооруженные Силы хотели услышать честный и ясный отчет президента.

Он не произнес ни слова. Да, это стоило немалых усилий. На следующий день, сообщили газеты («Московский комсомолец» от 23.01.1992 г.), врач прописал ему домашний режим. Это был п о е д и н о к. Опасный для Ельцина и все-таки неравный. Поединок [illegible] искушенного в [illegible] — и массы, бьющейся в поисках справедливости. Поединок руководителя, у которого есть все,— и людей обездоленных, а потому уязвимых.

Он расчетливо ждал момента, когда страсть разорвет себя в клочья, обессилит себя в бесплодном порыве. Когда опьяняющая свобода обернется тяжелым похмельем. Он знал назубок все стадии процесса. У него было сколько угодно времени. И он вышел только тогда, когда наступил его час.

Собрание было, по сути, сорвано. Не избирали председателя. Распалившиеся ораторы перескакивали с одной темы на другую. А президиуму только этого и нужно было. Растерявшийся было Столяров понял и на ходу поддержал игру президента. Он охотно уступил залу все полномочия, зная, что пятитысячная масса не способна ими распорядиться.

Их одурачили потому, что несчастных легко обмануть. А люди, служившие всю свою жизнь Родине и враз лишившиеся ее, а вместе с ней смысла существования, чести, средств и элементарного крова над головой,— эти люди были поистине несчастны!

Их одурачили потому, что людей в безвыходном положении обмануть нетрудно. А их загнали в угол без выхода. Советская армия без Союза Советских—не просто терминологический нонсенс. Это приговор, исполнение которого всего лишь отложено.

Наконец, их одурачили потому, что Армия позволила себя одурачить!

Суеверно открещивались от политиков. «Политика слишком грязное дело, чтобы туда соваться!» — с омерзением воскликнул один полковник. Да, спикеры с о с т о р о н ы предадут и продадут. Так надо выдвигать с в о и х, проверенных, честных. Поддерживать уже известных. Те, кого Армия страшит, понимают значение лидера. Не случайно они последовательно убирали Родионова, Громова, Макашова, Кузьмина. Только Горбачев д в а ж д ы сменил зам. командующих округами и почти всех заместителей министра (Сталин был более мягок по отношению к Армии). Генералы один за другим становились жертвой расчетливой травли. Но остались полковники. Всех не переснимаешь. Среди них — личности выдающиеся, известные всей стране: Алкснис, Петрушенко. Трагедия собрания в том, что оно, встретив Алксниса бурей оваций, в конечном счете не сумело его поддержать.

Отвергали идеологию. Справедливо. Но выбор идей не ограничивается коммунизмом и теорией грабительского рынка. Есть идеология государственности, стабильности. Сформулированная отчасти тем же Алкснисом и парламентариями группы «Союз» и «Россия».

Открещивались, отвергали, а в результате некому и нечем было увлечь и объединить зал. Пять тысяч офицеров. Да это же средняя численность Добровольческой армии! Этого количества было достаточно, чтобы совершить беспримерные подвиги. Стать легендой. А тут вышло: не Армия, — толпа, мечущаяся по залу в поисках включенного микрофона. Масяц спустя Новодворская удовлетворенно хихикнула: одни решают идти направо, другие кричат: колонны, налево. К счастью, Армия совершенно не боеспособна.

Проиграли потому, что без лидера, без политики, без идеологии не обойтись. Даже у Махно была идеология.

Кто сказал, что Армия вне политики, что она никогда не должна становиться самостоятельной политической силой? — Это же телевитии, «Информационная программа» от 22 января! Они и не такое проповедуют: «Тяжелый, но опасный больной». Тоже об Армии. В программе «Вести» (18 января 1992 года), на следующий день после собрания. Вы думали, вас похвалят за благоразумие, за стремление держаться вне политики? Что же — дождались. А заодно и этой оплеухи: «Армия, попробовавшая крови своего народа» (программа «Да!» от 24.01.1992).

Между прочим, все, что является чудовищной клеветой на русского солдата, весьма точно характеризует дружков московских телекомментаторов — всех этих кинорежиссеров и графиков, объявивших себя национальной гвардией Грузии и принявшихся расстреливать собственный народ, упиваясь безнаказанностью. По-русски это называется: с больной головы на здоровую.

В январе Армия проиграла потому, что ее проблемы не решить изолированно, в отрыве от проблем страны. Слишком велика — не засунуть в пробирку. Не запаять в вакуум. «Всками Армия и государство были связаны одной пуповиной», — это даже «Московским новостям» ясно (№ 4, 1992). Говорили об этом и на собрании. «Армия — последняя структура государства, способная защитить народ»; «Армия — один из столпов государства». И все-таки победили «прагматики». Надо, мол, признать политические реалии и сосредоточиться на обсуждении военных проблем.

Ну что же, да здравствует прагматика. Первая же проблема Армии — кого защищать? От кого? Кому подчиняться? Как координировать действия? Что делать генералу Патрикееву, командующему Закавказским военным округом, если Армения и Азербайджан, государства, вошедшие в СНГ и теоретически получившие право на «объединенную армию», начнут всерьез воевать? Как делить Черноморский флот?

Не может быть единой Армии у одиннадцати действительно независимых держав. Кто утверждает, что такое возможно, пусть укажет на прообраз диковинного образования. Войска НАТО? Но Североатлантический союз — жесткая структура, военная и политическая. Это общность не только войск, но и геополитических интересов, задач, общность идеологии и до недавнего времени это — единство по отношению к общему противнику. То же — войска бывшего Варшавского Договора.

Ничего подобного нет у так называемого СНГ. Да и самого образования фактически не существует — так, кочующая ассамблея глав правительств. Фантом с единой армией. Из чего следует только то, что и это единство — призрачно. Обреченное развеяться. Рано или поздно. Скорее всего — рано. Украина подала пример. Аналитики предупреждают: [illegible] вокруг Армии только начинаются. Не определен статус ни национальных армий, ни единого командования. И здесь, в 1992-м, предстоят серьезные столкновения» («Московские новости», № 4, 1992).

У Армии сегодня два пути: либо уже сейчас начать расходиться по национальным квартирам, либо, утверждая профессиональную общность, восстановить ее основу, ее базу — государство. Союз Советских Социалистических Республик — или как-нибудь иначе, название роли не играет.

На собрании рассматривали и эту перспективу. Более того, почти все выступавшие тянулись сердцем именно к ней. Но каждый раз отступали перед «сокрушительным» доводом: поезд ушел.

Ушел? В 1917-м тоже так казалось. Российская империя развалилась по схожему сценарию и даже при соответствующем графике: сначала Прибалтика, потом Украина и так далее. И что же? — в 1922 году поезд прибыл на ту же станцию.

Ибо в основе общности территорий бывшего Союза все-таки не железнодорожный график, который можно принять или отменить по прихоти министерского чиновника. В ее основе — тысячелетняя судьба народов. И единство кристаллического фундамента Русской платформы, на которой раскинулась Средне-Европейская равнина. Единство, насчитывающее миллионы лет. О геофизических предпосылках объединения народов этой равнины написано немало работ. В начале века идею всесторонне рассматривал Б. Никольский, в 20—30-е годы — евразийцы, позднее — ведущий философ русской эмиграции Николай Ульянов. Совсем недавно о том же писал выдающийся современный романист и историк Дмитрий Балашов. Дело не в имперских амбициях России, — в начале нашей эры на тех же территориях расцвела держава скифов, а спустя тысячелетие — монгольский улус Джучи.

Но нет — решимости недостает для исторического деяния. Армия привыкла повиноваться приказу, лишь по нему отваживается воссоздавать или низвергать империи. Что же, в таком случае — добровольное национальное размежевание. Чем скорее, тем добровольнее, промедление будет грозить бедами прежде всего самой Армии. И не только тяготами морального выбора и житейского неустройства, как в округах на территории Украины. Массовое разоружение Советских Вооруженных Сил национал-боевиками началось в Закавказье. И — массовое дезертирство среднеазиатского контингента на территории славянских республик. На собрании командиры рассказывали, что солдат из Средней Азии приходится уговаривать выходить на дежурство. И это лишь начало!

Угрозу возникновения войн при подобном делении рассматривать здесь не будем. Хотя она весьма вероятна.

Проблем хватит и при простом возвращении Армии в Россию. Именно сюда устремится ее основная масса. После чего произойдет сокращение состава, причем многократное. Десятки тысяч офицеров останутся без работы. И попадут как раз под каток катастрофического спада производства, запрограммированного преступ-

ной экономической политикой нынешнего российского руководства. Конец 1992-го — 1993 год — это не начало оздоровления, как пытаются уверить нас сладкоголосые вице-премьеры, а низшая точка спада (по западным, в данном случае более трезвым, чем отечественные, оценкам). Шансы получить работу будут минимальными.

Только недалекие политики из вчерашней областной номенклатуры могут думать, что облегчение финансового бремени державы достигается радикальным сокращением Армии. В начале тридцатых, в период кризиса, в США создавали особые армии — трудовые: людей специально собирали, организовывали и кормили, чтобы они не бунтовали. Выбрасывать в неотвратимую нищету решительных, деятельных, с навыками военной спайки людей — такое может позволить себе разве что безумец.

Вовлечение Армии в политику неизбежно. Хочет она того или нет. Хотя, разумеется, от ее желания, готовности и умения действовать зависит эффективность политических шагов.

В «российском варианте» политикам и Армии придется договориться о равноправном сотрудничестве в осуществлении военной реформы. Импровизации типа заявления Ельцина о советских ракетах на январской пресс-конференции в Лондоне, где высшие генералы узнали о новациях, непосредственно касающихся Армии, одновременно с журналистами, должны быть исключены.

Правительству придется дать Армии экономические и социальные гарантии в обмен на признание Вооруженными Силами своей доли ответственности в поддержании общей стабильности. Именно в обмен (офицерское собрание показало, что Армия не намерена бездумно выполнять приказы политиков; может быть, послушные генералы изъявят такую готовность, но полковники попросту проигнорируют их распоряжения). За военными структурами, в том числе и неформальными — Координационным советом, выбранным на собрании, Независимым профсоюзом военнослужащих (НПСВ), а также за группой «Офицеры за возрождение России», видимо, закрепятся функции контроля над процессом. Делаю оговорку потому, что правительство, скорее всего, попытается таких функций Армии не давать.

Тут встает вопрос о готовности и способности нынешнего российского правительства конструктивно сотрудничать. Конкретно — с Армией. И вообще — с кем-либо.

Ельцин был взбешен поведением офицеров. Ясно, что он так же запомнит устроенную ему демонстрацию, как Петр всю жизнь помнил угрозы стрельцов в самом начале его царствования.

Но дело не только в Ельцине и не только в Армии. Дееспособность российского руководства, его готовность к сотрудничеству и к компромиссам с различными силами вызывает у наблюдателей большие сомнения. Оставим в стороне некомпетентную экономическую политику — это обширная тема, по которой уже накопилась специальная литература.

В начале 1992 года выяснилось, что правительство не может наладить отношения даже со своими ближайшими союзниками — политическими партиями — членами «ДемРоссии», в свое время выдвинувшей Ельцина в президенты. «Нынешняя администрация — это наглая и циничная армия нового агрессивного чиновничества, которая захватывает помещения, должности, капиталы...» Это не из репортажей Невзорова и не из статьи газеты «День». Реплика с высот недавно еще монолитного демдвижения, прозвучавшая на страницах либеральных «Московских новостей». Она принадлежит одному из приближенных к Ельцину лиц — Олегу Румянцеву. Его коллега Василий Липицкий не ограничивается констатацией. Он делает вывод: «Путь к стабильности — это путь к смене нынешней руководящей верхушки» («Московские новости», № 4, 1992).

Разумеется, милые бранятся — только тешатся. Внутри движения, присвоившего себе имя «демократического», идет тривиальная борьба за власть. Критикуя нынешнюю верхушку, политики присматривают себе место в новом кабинете.

Сторонние наблюдатели оценивают ситуации более объективно. Показательно — они тоже предрекают перемены, но место на вершине прочат военным. «В этой ситуации я, пожалуй, предпочту маршала Шапошникова. Хотя бы потому, что он за минувший месяц успел, кажется, понять, как неустойчив мир на 1/6, как тяжела ситуация, как опасны ультиматумы». «Московский комсомолец» — любимая газета сегодняшнего президента. Статья А. Минкина «Драка за трон» (23.01.1992).

Не будем пока останавливаться на конкретных именах и выяснять шансы. Важно отметить тенденцию. Объединяющую самые разные общественные течения в ожидании серьезных перемен. Процитирую газету, считающуюся заведомым оппонентом «Московского комсомольца». «...Армия долго смотрела на весь этот бардак и надеялась, что премьеры наведут порядок,— пишет ведущий военный журналист страны генерал Филатов — А они лишь разваливали. И армейцы, я так думаю, сегодня поняли, что они не глупее премьеров. Сегодня начальник финансового управления может стать лучшим министром финансов, а начальник тыла Вооруженных Сил — лучшим премьер-министром — вот в чем наконец убедили Армию бездарные антинародные правители. В Армии — прекрасные специалисты, за плечами которых академия Генерального штаба.. И, уверяю вас, без крови и без насилия, строго по распорядку пойдут по железным дорогам поезда и будут восстановлены народнохозяйственные связи, чтобы люди смогли спокойно вздохнуть и не голодать» («День», № 4, 1992).

Какой бы экстравагантной ни была эта своеобразная перекличка непримиримых оппонентов, следует признать, что какие-то общие моменты присутствуют в процитированных материалах «Дня» и «Московского комсомольца». Видимо, когда явление обозначилось достаточно ясно, оно отображается в любом зеркале, как ни крути.

К слову, о людях, мечтающих спокойно вздохнуть и не голодать. На подходах к Кремлю делегатов общеармейского собрания ждали толпы с плакатами: «Армия, спаси народ!» Люди брали офицеров за руки, заглядывали в лица, шептали: вы — наша последняя надежда. Пожилые женщины плакали (на этом фоне пережитком ушедшей эпохи звучали заверения с трибуны: «Армия не пойдет против народа». Прекрасно, что не пойдет! Сейчас сам народ, похоже, готов идти за Армией! Более того, Армия, может быть, единственная сила, способная без крови урегулировать нынешний кризис).

— Да уж не пропаганда ли это военного переворота? — воскликнет какой-нибудь читатель, воспитанный в традициях прежних времен. Тех лет, когда предупреждения об отставании СССР от Запада или о банкротстве коммунистической идеологии привычно квалифицировали зловещим словечком: пропаганда.

Пропаганда, отвечу вопрошающему, — это система определенных публицистических приемов. Я предпочитаю пользоваться другими — анализирую, размышляю. Рассматриваю один из вариантов развития событий.

Хотя до последнего времени Вооруженные Силы были не готовы к той исторической роли, которую возлагают на них обстоятельства. Парадокс: политики, журналисты, толпы на площадях готовы, а сама Армия — нет. С другой стороны, военных можно понять: отвечать им. Правда, ответ придется держать в любом случае: уклонение от ответственности — тоже выбор.

Как бы то ни было, завершая собрание, главнокомандующий упомянул, что он не выведет танки на улицы. «Что мы, Таиланд какой-то, — улыбнулся он. — И так над нами все смеются».

Помню, фраза настолько понравилась журналистам, что одно издание напечатало ее огромными буквами через всю страницу. А между тем газетчикам полагалось бы знать политическую историю. Хотя бы послевоенной Европы.

Почему, собственно, как военные — так обязательно какая-нибудь Азия, тот же Таиланд? Вспомните май 1958 года — события в самом центре Европы, в цитадели свободы и демократии — Франции. Совсем недавно пресса тыкала нам в глаза примером генерала де Голля. Конечно, тогда цель была определенная: подготовить общественное мнение к утрате Прибалтики. Вот, мол, де Голль отдал Алжир, а в результате Франция только укрепила свои позиции.

Нетрудно, однако, догадаться, что за счет одного лишь разбазаривания территорий никакая страна позиций не укрепит. Одновременно действовали, видимо, и другие, позитивные, факторы. Вот о них и о ситуации в целом напомню.

Франция 58-го года действительно походила на вчерашний Союз. Разбалансированная экономика. Ориентация на заокеанского дядюшку, неохотно дававшего кредиты, зато не скупившегося на поучения, унижавшие страну в глазах собственного народа и всего мира. Германский фактор, грозно обозначившийся после экономического рывка и усиления германской военной мощи за счет вступления ФРГ в НАТО в 1955 году. К этому добавлялась грызня многочисленных партий, вызывавшая правительственную чехарду. Неразрешимой представлялась и проблема Алжира.

Казалось, Франция уже не может бороться за достойное место в мире. Воды безвременья смыкались над обессиленной страной. И, как всегда в таких случаях, появились певцы позора и предательства. Конечно, из хорошо знакомого стана журналистов и политологов (откуда же им еще взяться?). Они с легкостью готовы были отказаться от национального суверенитета, от гордости и достоинства древней страны. Франция фатально слаба, трубили они. Франция не может претендовать на самостоятельную роль. Только союз с более сильной державой, признание зависимости от нее обеспечит спасение. В противном случае — губительное перенапряжение сил, отвлечение и без того скромных ресурсов от необходимой модернизации. Все эти тезисы (не правда ли, столь знакомые нам?) содержались в книге влиятельного социолога Р. Арона. Ну да, наверное, в каждой стране есть свои Ароны.

И вот пришел день, положивший конец вакханалии пораженческого бесстыдства. 13 мая 1958 года в Алжире прошла демонстрация французского населения, уставшего от бездарности властей. Командование армии, дислоцированной в Алжире, заявив об опасности кровопролития, потребовало создания правительства национального спасения. Названо было имя человека известного и решительного — военного героя Франции генерала де Голля. Две недели в Париже агонизировал кабинет безвестного премьера. Армия пригрозила высадкой парашютистов, и последние колебания министров исчезли. Исчезли и сами министры. А заодно и президент республики, попавший в историю только потому, что ему выпало освободить дорогу напористому генералу.

1 июня национальное собрание обратилось к де Голлю с просьбой сформировать правительство. Были приняты законы, предоставлявшие ему чрезвычайные полномочия. В том числе право разработать проект новой конституции.

Одобрением проекта завершился бесславный период так называемой Четвертой республики. «Будучи вождем Франции, — заявил генерал де Голль, — и главой республиканского государства, я буду осуществлять верховную власть во всей полноте, которую она теперь приобрела».

Началась история Пятой республики — время наивысшего расцвета Франции в нынешнем столетии.

Тем, кто смирился с унижением державы, генерал напомнил о ее величии: «...Франция лишь в том случае является подлинной Францией, если она стоит в первых рядах.. Наша страна перед лицом других стран должна стремиться к великим целям и не перед кем не склоняться, ибо в противном случае она может оказаться в смертельной опасности...»

Гешефтмахерам, стремившимся нагреть

руки на экономической неразберихе, президент заявил: «Государству надлежит строить национальное могущество, которое отныне зависит от экономики. Последняя должна поэтому быть *управляемой тем более активно, чем больше расстроена* (разрядка моя. — **А. К.**), нуждается в обновлении и требует последовательного руководства...» Де Голль подчеркивал: «Концепция власти, вооруженной для активных действий в области экономики, прямо связана с моим представлением о государстве. Я вижу в нем не сумму противоречивых частных интересов, итогом которой могут быть лишь гнилые компромиссы, как это было вчера и восстановления чего желали бы партии, а инструмент решительных, честолюбивых действий, инструмент, выражающий интересы нации и поставленный на службу только им...»

Генерал считал, что традиционный европейский парламентаризм, основанный на многопартийности, не соответствует духу французской нации. Еще в начале 50-х возглавляемое им движение «Объединение французского народа» выступало против «режима партий». Однако де Голль не пошел по пути военных диктаторов и партии не запретил. Ограничился тем, что урезал права партийного форума — Национального собрания. Сократил продолжительность сессий. Взял под жесткий контроль процедуру дебатов. И главное — отнял реальную власть. Отныне министры были подчинены одному де Голлю. «Когда кто-нибудь является министром, он фактически несет ответственность перед генералом де Голлем, и только перед ним одним», — отчеканил президент.

В результате парламент лишился своего влияния. Журналисты прозвали его «театром теней». Были ограничены права второго лица в государстве. Премьер — опять-таки по меткому слову газетчиков — стал «начальником гражданского штаба» де Голля. Генерал действительно сумел утвердить себя в качестве вождя нации.

Разумеется, это было бы невозможно без широкой народной поддержки. И президент получил ее. По данным социологов, 40 процентов французов, проголосовавших за конституцию 1958 года, объяснили свою позицию доверием лично к де Голлю. Половина из них призналась, что вообще не читала текст.

Кто же составлял опору президента? Ответ может ошеломить нашего читателя, напичканного политическими стереотипами. Армия, крестьяне, торговцы, ремесленники, рантье. Добавьте к этому пенсионеров и домохозяек, и вы очертите социальную базу генерала де Голля.

Наши «премудрые» политологи, случись это все в Союзе, тут же выдали бы заключение: крах, гибель государства, удушение демократии. А на деле вышло — взлет, расцвет. Тут уж, что называется, исторический факт — с ним не поспоришь. Хотя наши «премудрые» только и делают, что спорят с фактами.

Вот и исследователи новейшей французской истории, знающие, какими блестящими результатами обернулось правление де Голля, не преминули отметить: «Под знамена голлизма хлынула вначале главным образом так называемая статичная Франция: застойные, стагнирующие районы, средние слои города и деревни» («Франция», М., 1973).

Статичная? Нет — стабильная! Прорастающая из быта и кровно заинтересованная в его сбережении. Всею душой желающая определенности, порядка. Генерал мог уверенно опираться на эту устойчивую основу нации. И лишь обретя надежную опору, он начал смелые преобразования, придавшие Франции современный динамизм и респектабельность.

Нет смысла идеализировать правление де Голля. На первом этапе оно сопровождалось некоторым ограничением личных свобод. Затем последовало жесткое решение алжирской проблемы. И все же несомненно, что генерал решился воплотить в своей политике именно волю нации. Так как понимал ее. Как нация понимала.

В конце своей политической деятельности президент предложил интереснейшую реформу политической системы (к сожалению, она осталась нереализованной). Он стремился обеспечить участие каждого гражданина в решении вопросов, непосредственно его касающихся. Не абстрактное право влиять на такие решения — оно декларировано традиционными буржуазными демократиями, — реальную возможность. Генерал охарактеризовал видевшийся ему новый порядок как *третий путь*. Имелось в виду дорога, отличная от коммунистического и буржуазного варианта.

Франция, согласно плану де Голля, разделялась на два десятка крупных регионов. Во главе каждого правительство ставило префекта. Связывая область непосредственно с президентом, он координировал свою деятельность с региональным советом.

— Что же тут необычного, — скажет читатель, — все как у нас. В том-то и дело, что не все. Мы выбрали депутатов, получили от них короб обещаний — и с тех пор наших избранников не видели. Разве что мелькнут на телеэкране. Учитывая возможность подобного развития событий, де Голль предложил формировать советы по оригинальному принципу. Туда должны были войти депутаты парламента (им предоставлялась возможность не только витийствовать в столице, но и поработать на месте и, лучше узнав местные проблемы, эффективно защищать интересы избирателей в Париже) плюс члены, выбранные муниципальными советами (для них это было ступенькой вверх, давало им право голоса на уровне области), и, наконец, место в совете занимали делегаты профессиональных организаций. Нечто подобное предлагал у нас в 1990 году ОФТ, что было расценено журналистами как «происки партаппарата». Де Голль как будто в причастности к КПСС не заподозрен, а между тем он предлагал то же самое двадцать лет назад.

В отличие от наших «неуловимых», депутат от профессионального объединения был обречен работать в своем коллективе. И тут уж сполна мог осуществляться «рабочий контроль» за его личной и за всего совета деятельностью. Добавляю, что во Франции профессиональные объединения есть и у предпринимателей. Сводя вместе работодателей и рабочих, де Голль стремился добиться еще одной цели — их не нужно было специально сажать за стол переговоров для разрешения возникающих конфликтов. В региональном совете они должны были работать вместе, им приходилось бы глубже вникать в проблемы друг друга, а это помогало бы снять в зародыше противостояние.

Франции повезло. Она дождалась своего героя. В самый критический момент истории. Да герои в иное время и не приходят.

Вернемся, однако, к нашим дням и нашим проблемам. Вспомним о прогнозе А. Минкина в «Московском комсомольце». Не думаю, что журналист прав. Маршал Шапошников подчеркнуто сторонится политики. Ему хватает забот с армией. Не похоже, что он вынашивает чересчур амбициозные планы. Но естественное желание остаться главнокомандующим у него, безусловно, есть. Раньше для этого достаточно было заниматься сугубо армейскими делами и «не высовываться» в политику. Теперь не получится: армию растащат, и окажется, что командовать некем.

Маршал находится в непростом положении. Он последний министр Горбачева, оставшийся в руководстве после падения президента СССР, роспуска правительства и упразднения самого Союза. Он должен искать общий язык не только с неназначавшим его Ельциным, но и десятью другими президентами, зачастую не желающими даже разговаривать друг с другом. Поэтому главнокомандующий, как считают в войсках, не вполне свободен в своих действиях («Советская Россия», 1.02. 1992).

Тем больше Шапошников нуждается в координационном совете, выбранном на январском собрании. Хотя само собрание было для маршала кошмаром (вставал даже вопрос об отставке) — результат должен вполне удовлетворять его. Главком как будто даже укрепил, во всяком случае на первый взгляд, свою позицию, ловким маневром под занавес выведя из совета заведомых «смутьянов» Алксниса и Петрушенко.

Шапошников нуждается в совете, как в свое время Горбачев в Ельцине: чтобы было на кого кивать. Кому перепасовывать ответственность за резкие шаги, нарушающие статус-кво. Совет должен стать катализатором смелых решений, а на долю мудрого маршала останется корректировка, сдерживание слишком нетерпеливых (естественно, процесс должен пойти в направлении, обратном тому, какое навязано политиками, — они разрушали; военным придется воссоздавать страну).

Но справится ли совет с этой задачей? Лишившись «смутьянов», он остался без лидеров. Не сомневаюсь, что офицеры способны выдвинуть из своей среды новых, но потребуется немало времени чтобы их узнала и приняла Армия, а потом и страна. Если процесс затянется, то тактическая победа Шапошникова может обернуться стратегическим поражением (и уже оборачивается — в Минске Л. Кравчук позволил себе попросту не дать слова представителям совета; так Армия в очередной раз осталась без голоса на встречах правителей).

Завершая разговор о прогнозе «Московского комсомольца», замечу: совсем не обязательно военные будут претендовать на высший пост в стране. Но их влияние на высшее руководство, несомненно, увеличится. Собственно, уже сейчас они могли бы оказывать его. Генерал Руцкой — выходец из армейской среды — номинально занимает второй пост в России. Сейчас он оказался блокированным политиками, более искушенными в хитросплетениях закулисной борьбы. Весьма вероятно, что ход событий поможет ему обрести необходимую свободу. Для достижения этого ему, как и Шапошникову, нужен партнер. Скорее всего, им станет общество «Офицеры за возрождение России» во главе с генералом Стерлиговым.

Вполне самостоятельная и, возможно, решающая роль будет принадлежать «Союзу офицеров», возглавляемому Тереховым. Пока неясны политические амбиции НПСВ — профсоюза военнослужащих. Возможно возникновение и других военных организаций, способных включиться в государственные игры.

Сама множественность неформальных военных организаций таит немалую опасность для общества. Сейчас поздно спорить, является политизация Армии благом или бедой. Она стала реальностью. Если политизация объединит Армию и побудит ее предпринять решительные действия для восстановления стабильности, целостности Вооруженных Сил и самого государства, она окажется благом. Весьма вероятен и прямо противоположный вариант. Тогда политизация сыграет роковую роль.

Признаюсь, я уходил из Кремлевского Дворца с тяжелым сердцем. Армию в очередной раз одурачили, надавав множество невыполнимых обещаний. Политикам удалось отсрочить ее выход на государственную сцену. *Организованный выход.* Но полковники, разбиравшие шинели, не скрывая раздражения, говорили: ничего не кончилось. Мы возвращаемся в части, и там-то все начнется.

Уже в конце января в газеты стали просачиваться сообщения из частей, свидетельствующие, что «процесс пошел», как говаривал незабвенный М. С. Что произойдет, если пять тысяч делегатов, разъехавшихся по своим казармам, начнут искать собственные пути к правде и восстанавливать справедливость каждый на свой лад, вообразить трудно. Но можно — если вспомнить семнадцатый год.

Спасение в объединении Армии. Ее возрождении в качестве мощной силы, способной принимать согласованные решения и претворять их в жизнь. Дело за лидером. Сейчас все ждут героя. Кто с надеждой, а кто со страхом. Беда в том, что на ожидание нет времени.

КРИТИКА

СЕРГЕЙ НЕБОЛЬСИН

ШОЛОХОВ, ПУШКИН, СОЛЖЕНИЦЫН

Милость к поверженным.
Гораций.
Юбилейный гимн, 51—52.

Клевету приемли равнодушно.
Пушкин

НЕОДНОКРАТНО обойдя моря и земли с пламенным глаголом и даже с мироспасительным делом, нам случается вспоминать, что есть еще у нас и свой собственный дом. А там многое в беспорядке: либо было так и оставлено, либо потеряло ухоженность со временем.

Над одним из таких случаев я уже долго размышляю. Вот «Возвращение на родину» Сергея Есенина (1925). Через много лет после выезда «в люди» он почувствовал тревогу и «посетил родимые места, ту сельщину, где жил мальчишкой». Показательный итог десятилетия, полного поисков и странствий: человек дома, а дом почти чужой. И вид родной сельщины страшен, и пришелец странен ее обитателям. Да и получила жизнь свой новый вид странно: вроде бы и за спиной у блудного сына, и при его же участии («я был на стороне Октября... с крестьянским уклоном»), — и к его же горькому недоумению. Перед поэтом сторона (не сказать страна), «где каланчой с березовою вышкой взметнулась колокольня без креста... На стенке календарный Ленин. Здесь жизнь сестер — сестер, а не моя». И жизнь незнакомого младого племени взяла особый поворот.

Что ж, говори, сестра. «И вот сестра разводит, раскрыв, как Библию, пузатый «Капитал», о Марксе, Энгельсе... Ни при какой погоде я этих книг, конечно, не читал. И мне смешно, что шустрая девчонка меня во всем за шиворот берет. По-байроновски наша собачонка меня встречала с лаем у ворот».

Последнее взято вовсе не из народно-тюремной песни «Проснется день», как предполагал академик М. П. Алексеев, а прямо из «Чайльд-Гарольда». Начитанность «крестьянского поэта» иногда занижали, иногда говорили, она ему вредна (Ю. Н. Тынянов). А Есенин сделал тонкий ход, не зря введя сюда байроновское. Он погрузил «пузатый «Капитал» в чистую репетиловщину об образцах «подхода к текущим задачам». Как в «Горе от ума» — «об камерах, присяжных, о Бейроне — ну, об матерьях важных». Тем самым дано понять, каких же именно он книг не чтец, хотя бы образцовых — ведь и Репетилов к Чацкому приставал с подобным.

У Есенина при этом стоит «и мне смешно», но в целом картина невеселая, как и виды на будущее. Судьба снабдила бодрую молодежь новыми букварями и скрижалями. И взять человека за шиворот она может уж действительно в о в с е м, и пожестче, чем добродушная сестрица. Чайльд-Гарольд когда-то «с раздуминкой» представил себе: а не разорвет ли его собственная собачонке, если ее прикормит другой хозяин? Поволновавшись, Гарольд свой дом все-таки покинул, да еще с парламентским шумом. То, что увидел есенинский странник, уже исключало всякую помпу.

Младому племени Есенин еще раньше завещал в «Письме сестре» по поводу пущенного под картошку сада, а также юбилеев Пушкина: «Пускай... помянут невпопад, что жили... чудаки на свете». А вскоре после пушкинско-байроновского «Возвращения на родину», в том же 1925 году, Есенин скажет: «В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей». Однако что же: он невольно придает личному своему итогу те измерения, которые были нащупаны человеческой мыслью давно. Это знали еще во времена каких-нибудь Феогнида и Мельхиседека, и по сравнению с такими размахами послеоктябрьское отстояние России со Байрона кажется ничтожным. «Наг я на землю пришел, и нагим я сокроюся в землю», рассуждает древний грек: «Скорбная участь сия стоит ли многих трудов?» Или вот: «Ты знаешь, что изрек, прощаясь с жизнию, седой Мельхиседек?», как спрашивал Батюшков о каком-то древнееврейском страдальце. Причем умные люди говорят, что род Мельхиседека погиб при землетрясении.

> Рабом родился человек,
> Рабом в могилу ляжет, —

вот и все. «И смерть ему едва ли скажет, зачем он шел долиной чудной слез, страдал, рыдал, терпел, исчез».

Такое «не ново» едва ли успокоит кого-то полностью. И все же оглядка назад полезна. Пусть она и нам-то доступна лишь задним числом, — а все равно она хоть как-то уравновешивает. Чем сильнее боль, тем нужнее покой.

Взгляните на неожиданно черное солнце в конце «Тихого Дона». Если его воспринимать лишь будто впервые, это нестерпимо, да особенно рядом с чьим-то весельем. Еще недавно Мандельштам (1916) воспринимал это знамение приподнято: «се черножелтый цвет, се радость Иудеи». Сам Осип Эмилевич был смиренным человеком; за некровожадность он ценил и Есенина; лишь в середине тридцатых воспел яростную месть врагам народа, но и это смягчил издевкой над кремлевским горцем. Речь не собственно о Мандельштаме, а о символе: так и чудится, будто казаку подмигивает с высоты черноглазый Клямкин, дедушка нынешнего политолога. «Тепло ли тебе, девица? Надо, надо будет тебя по пути к храму и еще поприжать...»

Однако же обратитесь к старинным наблюдениям над гадким, горестным и преходящим: рано или поздно, а разрушатся и их царства и престолы, померкнет в полдень и их солнце — как говорили древние книги (Исайя, 13.10; Иеремия, 15.9; Амос, 8.9; Михей, 3.6). И вы увидите, как надежны первоисточники: они включают вроде бы неизмеримое в четкую меру. Беды испытаны, беды предвидены задолго до нас. Возмещения безвинным утратам это еще не сулит, — но уж неизбежный-то крах благополучию и торжеству самозванцев обещает наверняка. Нутром в наше время это честно ощущал и Артур Кестлер. Он написал сочувственную книжку о падении коминтерновских буйтуров, в тридцатые годы, а назвал ее точно: «Мрак в полдень». То есть это и самый первый, и самый, пожалуй, ценный образ в сочинении Кестлера; зря наша передовая печать заменила такое библейское заглавие на ложно-красивое «Слепящая тьма». Хотела, наверняка, сравниться с Зиновьевым — «Зияющие высоты» или как там, — а на деле лишила произведение единственного смысла, явно древнего. Не исчезни обозначение этого смысла с обложки и титула, дело было бы еще хоть как-то спасено.

Возможно, от такого хождения за смыслами скитальцу из стихов Есенина не легче. Да и в доле самого поэта грустное созерцание дома, порушенного словно «вдруг», было предвестьем конца — это личное чувство конца надо уважать. Но разве мы-то выжили зря? И разве нам это удалось совершенно без поддержки со стороны вечных истин?

Допускать такую самоличную удачу было бы высокомерно. Выживание продумано человечеством издавна, и не менее надежно, чем неизбежная для каждого смерть. Воспользуемся же подаренным нам послеесенинским временем для спокойных размышлений.

Сила судьбы, или, без велеречивости, сила грубого и естественно-слепого хода событий, вполне пособна губить народы и сегодня, и даже с еще большей крутостью в повороте дел. Но если жизнь справлялась с этими бедами не на авось, а тоже по давним, сверхтысячелетним законам, это обнадеживает. Почему не взглянуть тогда на распад и разлад, что мы застаем у себя дома сегодня, без оторопи?

Конечно, кому-то не нравятся и наши внедомашние деяния. Очень много поэтому попреков: чужие моря и земли мы обходили и спасали не так, как надо бы. И нас честят по Крылову: «Знай колет — всю испортил шкуру». Эти попреки очень живо подхватываются и внутри отечества — и снова не без давних образцов, на этот раз по Чехову: я бегал вокруг стола, исправно кричал «кукареку» и думал: быть мне теперь помощником письмоводителя. Только бы поскорее приехал он, письмоводитель, издалека, он уж нас рассудит. Но все-таки дела чисто домашние суть основные, и ничто не сравнить с самой кричащей бедой мира — с нашим неоспоримым внутренним беспорядком. Разве что безразличие к тому, что сильнее беспорядка,— к тому, что и среди беспорядка могло бы дать ключ к спасению.

За несколько лет до есенинского «Возвращения» — хмурым утром, как есть причины выразиться, 1922 года — по бывшей империи, бывшей вечевой республике, бывшим полям гражданской войны — пролегло немало дорог с дальним назначением. Из западных столиц в восточные собирался блистательный, и властительный в скором будущем, писатель-возвращенец, один из созидавшихся на ходу столпов новой общественности, новой эстетики. В со-

---

НЕБОЛЬСИН Сергей Андреевич — литературовед, переводчик, критик. Родился в 1940 г. в Мурманске. Окончил МГУ. Кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы. Выступает со статьями по проблемам русской классической и советской литературы. Автор книги «Прошлое и настоящее». Лауреат премии журнала «Наш современник» за 1991 год (статья «[illegible] и запрещенный Александр Блок», № 8), журнала «Москва» (1991, №№ 7 и 8).

ставе этой общественности не все могло ужиться мирно. Из России тогда поспешили отчислить несколько сотен других людей. Среди них были писатели, ученые и иногда (ради честности: отнюдь не всегда) мыслители. Изгнанники двинулись с востока на запад и даже в Новый свет. Начиналось еще одно хождение российских умов по миру; и тут даже готовые умы умнели — пусть и запоздало, но для мира все равно с пользою. Были и другие судьбы. Кто-то оставался, как он сам говорил, в «этой стране». Кто-то менее презрительно, но не менее величественно добавлял: «с м о и м народом». Кто-то просто углубился в нетленное; кто-то, если употребить ходкий оборот, «вынужденно занялся, печатаясь мало, художественным переводом»; кто-то задумал, как сострил современник, пересидеть большевиков в петроградских архивах. Но не забудем и других перипетий, которые тоже затронули кого-то — ну, примерно сто сорок миллионов человек.

Ученое слово «перипетия» — или, скажем, «перипатетика», то есть что-то вроде умной беседы о сущностях на прогулке между двух трапѐз, — может быть, не вполне удачное для того хождения по мукам, которое после Богородицы у нас только одно и бывало подлинным. Однако так или иначе, а тем же хмурым утром 1922 года на родной верхнедонской хутор Татарский разбитым и поверженным возвращается дюжий землепашец, неудавшийся семьянин, осиротевший сын и почти отвоевавший свое лихой казак Григорий Мелехов.

Скольким людям в нашей стране Григорьевы шляхи знакомы по себе, по своим братьям и отцам, по мужьям, по незабытым дедам! Сколько людей убеждены, что Бердяев и Федотов им ближе. И те, и другие не должны удивляться, что к Григорию подходят высшие мерки из стариннейших книг.

Далеко позади его рождение в семье «турковатого» Пантелея Мелехова, с крещением, наверное, у какого-нибудь отца Виссариона. В соседних, с детства известных Шолохову до курицы местах такой был вроде и на деле. Виссарион, по роману, убит в гражданскую, а Гришкина кончина как никогда близка вот теперь. Позади, конечно, и Гришкина юность — и забубенно-гулящая, и трудовая: кормилец семьи, кормилец России; в составе народа — кормилец отчвсти и Европы, при всей агротехнической неупорядоченности своего землепользования, о чем с сожалением писал как-то Брокгауз. Позади разрушительная прелесть бесплодной, позволенной себе против векового устава любви. Она началась по известной еще Пушкину песне «Как девица за водой поутру шла...», «Не хочу перстня носить, хочу так дружка любить» — что-то вроде этого; случилось подобное и в нелегкой судьбе у родившей писателя-гения казачки. Кончилось же это — в романе — гибелью Григорьевой Аксиньи, в седле и от шальной пули, под известным уже ветхозаветным знаком черного солнца. Потесненная Аксиньею, наложила на себя руки печальная красавица, жена Григория Наталья. Что еще?

Позади и война, давшая казаку четырех Георгиев и погоны есаула. Ратник не был скареден насчет своей крови, столь нужной для спасения Парижа, — хотя в такой несоюзнической прижимистости и подозревал русскую ставку в 1916 году дипломат-француз Палеолог. Григорий смертно терзался о другом — о зазря, в нечеловеческом остервенении боя зарубленном в Галиции австрийце. Позади московский госпиталь, где-то в Мясницкой части, с чьими-то разъясненьями о вскрытых недавно, и с полной точностью, пороках русской государственной жизни: народу необходима немедленная смена руководства; да и партия так считает. Петроград 1917 года... позади и он, где умный студент дал казакам в подарок и знак дружбы воспалительный портрет Карла Маркса. Польщенные станичники (кажется, это был Гришкин земляк Христоня) с уважением повесили портрет у себя в полку. А студент, судя по описанию, — не известный ли это тогда Кока Немцер из университета, пропагандист и агитатор?

Позади разрыв Григория со старым начальством, включая начальство республиканско-вечевое. С начальниками, впрочем, придется столкнуться и после Питера, хотя и в самых неожиданных проявленьях. Лучезарный образ, который высмеял однажды Маяковский:

> В стране советской полуденной
> Среди высоких ковылей
> Семен Михайлович Буденный
> Скакал на сером кобыле, —

конечно, не покрывает ни всей гражданской войны, ни даже облика какой-то одной стороны, Маяковскому наиболее понятной. Остроумно заметил П. В. Палиевский об известном литературоведе-скептике: «Он разбирается в красных примерно так же, как Павка Корчагин в белых». Да только ли этот скептик, только ли Павка с Маяковским? А Григорий побывал во многих странах. Побывал, мучаясь не своим, как казалось иным, делом (цель и средства; несводимость личности к станам и неотделимость ее от народа). Но что уж он умел, так это никогда не трусить: и никогда не стрелял в своих, да еще с зажмуренными от страха глазами. И всегда довольно несознательно, если в строго политическом смысле, предпочитал знакомый с детства труд дома и на земле тому затянувшемуся побоищу, да еще разжигаемому, которое Блок в 1919 году с возвышенной усталостью назвал скукой. Красные в столицах; раскулачивание на Дону и мятеж; Добровольческая армия и безнадежная партизанщина. Да, помещику Листницкому казак за Аксинью бока намял; да, за барские замашки генерала Фицхелаурова укоротил внятно. Но разве это спасло?

«З а р у б л ю н а м е с т е». И генерал, как известный поляк в «Борисе Годунове», очень гордо смотрит на Гришку, но почему-то смолкает. А тут — сила все-таки поборола силу. О, чуть ли не все оказалось в этой жизни разбитым наголову и избытым, кроме разве тоски по братству, по дому и родине, по покою и воле, по земле и труду.

Итак, Григорий подходит к Дону, а потом к своему куреню с тяжким грузом за плечами; а что же впереди? Впереди — Иисус Христос, один из ответов готов; но такого ответа реализму, да и житейскому вниманию к близкому человеку, здесь будет мало. Или впереди — как в есенинском «Возвращении» — пес, что готов разорвать забытого хозяина? Впереди — особый путь на восток? Или, скорее, зять Михаил Кошевой с наганом? Он еще когда обещал Гришке, что пулю в лоб врагу — будь тот хоть брат, хоть сват — пустит не задумываясь. Не разойтись ли полюбовно? — встревает в отношения двух казаков пушкинский вопрос. Михаил, однако, несговорчив. Неужто же дело кончится в ближайшей станице, в каком-нибудь «районном отделении»? Или разоблачат чуть позже? Кто писал «Тихий Дон», кто жил в красных Вешках так долго, тот досконально узнал не только начало или преддверие, но и крутую середину тамошних двадцатых годов. И познал ее не только по расстрелу, скажем, Григорьева прототипа — тоже «турковатого» Харлампия Ермакова, с соседнего хутора по имени Базки. Призрак с косою бродил по пятам и за самим романистом, и даже в более снисходительные тридцатые годы. (Не все у нас осмеливаются писать об этом.) А может, все-таки впереди, как желал того Шолохову позже Алексей Николаевич Толстой, слияние Григория с новизною на созидательной стройке? Или же георгиевскому кавалеру еще достанется и война 1941 года, — насчет чего тот же классик сказал, что на ней-то Григория себе уже трудно представить?

Да нет. Скорее всего, впереди немного, и нет литавров. В пределах того обозрения, что дано нам финалом, — лишь малолетний Гришкин сын Мишатка; казака встречает именно он, и завязавшийся разговор очень прост. Слияние с общими судьбами им обоим, несомненно, предстоит, — да и был ли когда особый отрыв; однако простодушно-честную простоту в писательском взгляде на событие подчеркнем особо.

Это было все, добавляет лишь кратко писатель, что осталось Григорию на родной истерзанной земле. Правда, сжатое «всё» тоже заслуживает обдумыванья — и с точки зрения полноты уместившегося в книге мирового смысла, и благодаря поучительности на случай других тягостных возвратов домой.

Да, мы говорим одновременно и о книге, хотя в 1922 году ее еще не было. И действительно: сколько тогда было Шолохову — семнадцать лет? Двадцать два? Отвечают по-разному. Но все равно ясно: даже для первого тома «Тихого Дона» нужны были по меньшей мере еще лет пять, за которые и предстояло созреть писателю, вполне соответствующему задаче. Сразу ли созревали Пушкин и Лев Толстой, сразу ли созрел, с совершенно другой стороны смотря, Солженицын? Толстой и Пушкин лишь после двадцати пяти начинали создавать бесповоротно великое. Да и потом свою большую эпику или драму создавали не иначе, как годы поработав с записями других, видавших больше, с летописями и т. п. Что ж, созревание такое наглядно и здесь. Оно налицо с переходом от сюиты донских рассказов к высшему и полному виду и объему шолоховского реализма. Как и в очерках Толстого о Севастополе, и по таким же причинам, в ранней шолоховской прозе еще проскальзывают красивые «слова». Эта жертва приносится и в «Поднятой целине»; так что задача была решена совсем лишь вблизи сорокового года — когда, собственно, и был оглашен печатно мелеховский финал, событие уже восемнадцатилетней давности. Сосредоточимся на этом вызревании и заглянем в предисловие Шолохова к «Лазоревой степи» (1927). К этому времени хотя бы и первый том «Тихого Дона», а все же вполне сложился. Уже развернулся, говоря по-пушкински, в свободную даль этот безыскусно-прямой рассказ, где безжизненно-бодрые, не сознающие в самих себе тлена или дешевизны слова встречаются разве в цитируемых подпольных реляциях либо в бескровно-заемной речи благородных. (Вроде «работа по разложению армии на фронтах идет успешно»; вроде Листницкого с чтением жене однополчанина — «тургеневская женщина!» — сладких стихов о «странной близости» и про «берег очарованный»; вроде самой этой сластолюбивой Горчаковой, значительно бросающей Листницкому насчет Аксиньи — «какая порочная красота!»). Столь точно расставляя на заслуженные места как людей тогдашней России, так и сами их языки — от газетного и штабного до декадентского, мигрантского и землепашески коренного, новый роман в 1927 году уже рос не по дням, а по часам. И поэтому Шолохов уже мог начать разъяснение своих твердых правил: каким должно быть честное эпическое повествование.

Предисловие к «Лазоревой степи» лишь по расположению предваряло этот сборник, но по времени исполнения и по сути вводило читателя дальше, почти в «Тихий Дон». Казаку, замечал здесь Шолохов, побывавшему «в Москве, на Воздвиженке, в Пролеткульте на литературном вечере МАППа, можно совершенно неожиданно узнать о том, что степной ковыль (и не просто ковыль, а «седой ковыль») имеет свой особый запах. Помимо этого, можно услышать о том, как в степях донских и кубанских умирали, захлебываясь напыщенными словами, красные бойцы.

Какой-нибудь не нюхавший пороха писатель очень трогательно рассказывает о гражданской войне, красноармейцах — непременно «братишках», о «пахучем седом ковыле», а потрясенная аудитория — преимущественно девушки из школ второй ступени — щедро вознаграждает читающего восторженными аплодисментами.

На самом деле ковыль — поганая белобрысая трава. Вредная трава, без всякого запаха. По ней не гоняются гурты

овец, потому что овцы гибнут от ковыльных остьев, попадающих под кожу. Поросшие подорожником и лебедой окопы (их можно видеть на прогоне за каждой станицей), молчаливые свидетели недавних боев, могли бы порассказать о том, как безобразно-просто умирали в них люди. Но в окопах, разрушенных непогодью и временем, с утра валяются станичные свиньи, иногда присядут возле сытые гуси, шагающие с пашни домой, а ночью, когда ущербленный месяц низенько гуляет над степью, в окопы, которые поглубже и поуютней, парни из станицы водят девок...»

Какая-то крестьянская прямота и слова, и подлинной жизни; она уже в приговоре «поганому ковылю», не подлежащем никакому романтическому или страстно-экологическому обжалованию. Сама жизнь указывает и на все другое. Она словно сама предлагает вчитаться в «Тихий Дон», где помалкивавшие до поры окопы как раз и заговорили. Ведь именно там, как на лучших страницах Толстого, война «безобразно-проста» (о чем, правда, писал и Пушкин), причем теперь война сводит перед читателем гораздо меньше вельмож, правителей и блестящих генералов. Судя по сплошному перечню персонажей, приложенному к книге С. Семанова «В мире „Тихого Дона"», книга вывела на исторический смотр именно всю, а никак не избранную Россию: впечатляющее зрелище с сотнями и сотнями самобытных лиц, и никак не красивость парада на Марсовом поле. И, конечно, совсем не Шолохов, даже в ранних рассказах о Доне и Конармии, внедряет в картины жестокого непременный колер «красивой жути»; и уж тем более не он пугает казаком как прирожденным зверем.

Да, в «Тихом Доне» сплошь и рядом увековечены лица, что были не для всех обязательно «братишки». И, разумеется, когда заговорили, попросту и неопровержимо, донские окопы, балки и яры, они поведали о чем-то непривычном «ушку девическому в завиточках-волосах» (его не жаловал и В. В. Маяковский; но по своим соображениям, по своему опыту, как он выражался, «любвей», уж далеко не девических, с особенным акцентом). Поведали окопы и о том, чего в доле казачества не захотел бы заметить и по-своему мужественный Пролеткульт. Что ему погибшие в расколе, в сопротивлении расколу народа и страны? «Безжалостно уничтожались как наиболее ретроградная масса». Хотя не рецидивы ли той же животности волей-неволей отметил Шолохов в новой донской молодежи, что собирается, как и гуси, у окопов по известным нуждам?

Для кого-то это «зоологическая порода существ, гуляющих по костям», — готовое оправдание «Скотному двору» Оруэлла или тоскливому животноподобию «людишек» в некоторых вещах Платонова. Насколько Шолохов здесь спокойнее и умнее многих, насколько ближе к равнодушию природы по Пушкину, к самоуправству бытия у гробового входа. Будь это в старые времена, будь в конце двадцатых годов, а младая жизнь здесь не предается «суду». Пошли станичные парень с девкой в окоп или в красностал за Доном — как, помнится, бедовый Митька Коршунов с дочерью купца Мохова, — они писателя не ужасают, и не гипнотизируют «сладостно».

Суетливо распаленные «скрещенья ног» выходят курсивом на страницы искусства в совсем не шолоховских случаях. Обычно это бывает там, где подлинная «оснащенность природой для любви», которой так увлекался Гарсия-Маркес, оставляет желать лучшего и, конечно, уступает плодотворно здоровой силе землепашца. Пусть он создал о любви не изящные октавы, но зато бесподобно звучные и пышущие жизнью и артистизмом песни. Нет, не «Тихий Дон» озабоченно внушает культуру досемейной эротики школам второй ступени. Грех виден роману — и, помимо просто грешных людей, есть в Татарском и Дарья Мелехова, воинственно похотливая бездетная особь. Однако нету в романе, никак не найдешь четвероногого вожделения к опыту волчиц и верблюдов, упорно учащих человека «жить» через беллетристику подражательного «магического» покроя. Повторим: от этого Шолохову еще не становится больше всего близок благородно-худосочный «человек-артист» из литературного будущего. Не подкреплен роман никаким стиховым приложением по античному смыслу Qualis artifex pereo! — то есть какой вот я мастер, а погибаю. Это понятно, ведь здесь повсюду и насквозь поэзия высшего качества: от исповедей богато-простой человеческой души, от голосов и видов земли с согласным человеческим трудом на ее лоне до собственно песенных донских напевов обо всем этом. Передавая такую поэзию нам, автор предлагает вроде бы «чужое», о чем так любят шептать с подозрением. Что ж, все равно о сквозном качестве книги приходится сказать словами Достоевского: создатель «Ах вы сени мои, сени» — поэт не ниже Пушкина.

Ну а выше ли Пушкина человек-артист какой бы то ни было? (Художественно творящий все, за что он берется, народ — вопрос особый. Поет Гришка за плугом или на сенокосе, в казарме или строю, он невыделимая часть творчества сообща и дружелюбно.) И можно ли представить себе какого бы то ни было иного «артиста», чтобы он по-мелеховски прошел испытания 1914—1922 годов или был как солдат Соколов в годы 1941—1945, прямой сколок с «Тихого Дона»? Можно ли представить себе, чтобы такой «художник» крикнул чванливому военачальнику «зарублю на месте»? Григорий объясняет, почему на это способен он сам: интеллигентности не обучен. Память, правда, добавляет сюда образ пахаря, который ни в чем не уступил князю Вольге. Так что первенство и в деле, и в песне вполне объяснимо.

Былины; а быль? А Иван Солоневич? Родословная сельская; она укреплена и новейшим опытом. Каменная хватка рук и ум. «Россия в концлагере»: место действия ад, а слово бодро и живо, не натужно-

«народно», не из Даля натаскано. И повествуя хлестко, но не злобно, Солоневич будто и за лютых учителей своих кубок подымает. Удалец не оплошал. Рассказ беглеца, но не труса, не угодника съездам и оттепелям напечатала казачья «Кубань». А что Гришка был бы не против; да и мученик-казак Миронов, да и Харлампий Ермаков, будь он жив, «Россию...» прочел бы охотно. (Вспоминается самодельный обелиск казаку, с дерзкими цифрами, сколько он порубил и тех и других; власть его с холма у Базков сняла, но хранить, любопытное дело, разрешила родным.)

* * *

Вспоминается то, это. А кому и вспомнить нечего. Метко бросил в «Теленке...» Солженицын — из областей «культуры», что когда-то приютила гонимого, а отчасти и поверх ее же заслонов: Рой такой-то, «историк», расписался о «Тихом Доне», а раньше и дня об этом не думал. Разумеется, прочесть здесь скрытно-ревностное наставление каждому пишущему согражданину в духе «ты сперва вот с мое посиди» — значило бы заподозрить художника в том недостатке человечности, который искусству едва ли свойствен. Нет, спросить иного: «А ты, собственно, кто такой?» — дело далеко не всегда лишнее. И тут совсем не обязательна визгливость: например, Андрей Битов говорил мне в 1974 году, что именно этот вопрос часто задает мысленно своим ниспровергателям. Это столь же обычное дело, как вовсе не обязателен художественный дар в том, кого «преследовали» и т. п. Суетливо же торговать явно левым товаром, с суконным рылом в калашный ряд, насыщать «личной болью» чужие выписки, морочить новограждан натужной «культурой историка» — жить по лжи.

Конечно, в науке разные «невольные воспоминания» способны бывать и безличными. Но что касается воспоминаний вообще, то без них история литературы вообще немыслима. Ведь даже искусство есть воспоминание, которое доверено под большую ответственность художнику и его слову самою жизнью; в искусстве есть и размышления, но снова и они же ведутся не мозгом, а всем одухотворенным бытием в человеке. Поэтому обречена на воспоминания и любая хоть сколько-нибудь дальновидная и содержательная, ищущая духа и воздуха, а не просто структуральных крючкотворств литературоведческая филология. С освобождением же таких профессиональных воспоминаний от безличности дело сложнее. Вторично-вспомогательная, по отношению к искусству слова, работа литературоведа опять же воленс-ноленс состоит в том, чтобы вовремя и удачно собираться с чужими художественно-одухотворенными мыслями; а литературная критика имеет право добавить: и в том, чтобы вовремя и удачно высказать свое общественное мнение. Собираться с чужим опытом, когда этого опыта не помнишь, невозможно. И лишь когда его помнишь долго, он начинает тебя настраивать и упорядочивать, неизбежно становясь уже и твоим собственным.

Порядок и настровнность такого рода едва ли когда достижимы до конца. Например, трудно без заглядывания в книгу сказать наверняка, Виссарионом ли звали батюшку в Татарском и был ли подлинный батюшка Виссарион именно в Вёшках или в другом из верхнедонских селений, тут читатель может в чем-то поправить и того шолоховеда, который держится заведомого уклона в краеведение; трудно и сразу, и точно сказать, какие именно лагерные воспоминания менее достоверны, менее жизненно крепки и более осмотрительно подведены под дух эпохи, нового мышления, очередного съезда или антисъезда, чем самобытнейшие записки Солоневича. Тут опять же только читатель с собственными переживаниями чего-то сходного способен к последней точности, а нам лишь в общем известно, что подобные подлаживания под дух эпохи бывают. Когда вспоминаешь про братание Христони со студентом-марксистом в Питере, то не сразу приходит на ум, как тончайшей иронии Шолохова отчетливо противостоит та очарованность и завороженность, с которыми наблюдает за отроковицей над конспектами «по Марксу» любимый, и любимый искренне, герой Пастернака из «Живаго»; и это натуральное противостояние художников весомее, чем упрек Пастернаку от архимандрита Константина Зайцева — будто писатель здесь подыгрывает властям предержащим не иначе как вопреки собственному представлению о Марксе; нет, честная разница художественных пород, представленных тут писателями, как раз и важна больше всего, если хочется понять «Тихий Дон», взятый рядом с другими певцами того времени. Но если не брать этого рядом совсем, то любая ни с чем не соотнесенная отдельность виснет в воздухе без дела, без порядка и неприкаянно. И не вспомнись «скрещенья ног» в устах Пастернака — не бросится в глаза и целомудрие лучшей советской прозы; была и у Шолохова главка со скрещенными ногами брачущейся Натальи, и он ее из «Тихого Дона» в окончательном виде — убрал; приличия и вкус народного слова.

* * *

Вспомним же снова Гришкин укорот генералу и разные подходы разных культур к сходным вопросам. Ведь в «Илиаде» боец Терсит недоволен высоким руководством, — но за это Одиссеем побит он, а не Агамемнон-руководитель.

Доля всех «подлых» и в дальнейшем казалась искусствам заслуженно такою же жалкой.

Незадачливый флорентийский кузнец исказил самовольным перепевом какие-то строки из Данте — и за это сам Данте подвергает его кузню прямому погрому, как рассказано в новеллах Саккетти. У Шиллера-Жуковского, в «Торжестве победителей», снова с явно выстраданной болью упомянут «презрительный Терсит», он теснит память о подлинных героях. Надо петь все высокое, а не какое-то «я брат твой» из уст ничтожества; зачем быть «Гомером Терситовым»? — порицали Гоголя.

Издевка, с которою выступил в «Северном море» Гейне, у нас прижилась: потомки Терсита особенно потешны, когда гордятся родословной (мол, предки и у них воевали под Троей). Это далеко от серьезного внимания к Микуле или Илье, это далеко даже от моцартовско-пушкинского дружелюбия к слепому «скрыпачу»-неудачнику. Но это и не случайно. Дерзость не по чину иными лицами, и верно, проявлялась, так было и у нас. Несуразный Дениска с листовкой из бунинской «Деревни» разве не полный Терсит? Разве чеховский лакей, недовольный затянувшейся отлучкой из Парижа по прихоти хозяев, растет только из литературной почвы? Да, жизнь России сохранила старые типы, и иногда литература их дерзания только подбадривала. Разве сегодня нас учит «всему цивилизованному» не тот же буфетчик, поднятый ходом событий? И разве питерский студент не мог стать из поборника зарубежных вождей перед Христоней элитарным литератором, с посягательствами на «мою» Одиссею? Что уж говорить о Листницком: тот далеко не худосочен, он немало по-настоящему «страдал», знает поэзию Блока, да и воевал по-настоящему, пока не застрелился после новой измены со стороны неуемной офицерши Горчаковой. Поэтому возможны Илиады и Одиссеи чисто офицерские, хотя и не каждый мичман-поэт есть Одиссей только потому, что «долго плавал» и все думал, что жена с сыном его в Петербурге на самом деле ждут. Высокопородное, в таких эпопеях, будет иметь право, как и раньше, на всю площадь рассказа, а «подлое» только на проходные картинки.

В прежние и по-своему привычные соотношения и измерения великого и ничтожного, в вопросы братства, чести и подстрекательства к раздорам, в вопросы высоких обманов и пренебрежения к нищим духом «Тихий Дон» предлагает ввести что-то чрезвычайно свежее.

Вглядимся в странствования народа, как они здесь предстали. Набоков (кажется, он — и, кажется, он это сделал первый) при всей сомнительности своих «тонких усмешек» оказался не столь уж далек от правды, когда по поводу «Тихого Дона» бросил слово про казацкую Илиаду. (По Набокову, «казацкая» означает почти как бы «дурацкая»). Гомеровские вехи соответствуют Григориеву пути и всерьез, и наилучшим образом — пускай Мелехову и не досталось сидеть в Генштабе, строить в любом из лагерей планов на «полное уничтожение», замышлять наперед общеубийственные ходы конем и проч.

Носимый враждебными стихиями, народ упорно движется домой; и какая у него может быть челядь; но линия все равно древнейшая. Нет подкрепительных утех избраннику у цариц и кудесниц — вроде Цирцеи или «Каллипсо»; нет и, собственно, высокого и отдельного избранника, нет барства — а общность чертежа угадывается: вплоть до сходства и с «Тристаном и Изольдой», не говоря уже о «Капитанской дочке». Народ не раз попадает между Сциллой и Харибдой, между хищно сходящихся скал «Симплегад»; он только не проталкивает между ними, вперед себя, никакую новинную голубку, чтоб на ее хвосте проскользнуть между опасностями самому. Но разве и это не классично? Разве зря после Гомера трудились над вопросами чести и совести Пушкин и Достоевский? Гомер этим не посрамлен. Он преображен, и это прямое дело традиционного образного искусства. И если бы Гришке, как Одиссею, запредельные сирены предложили послушать про «берег очарованный и очарованную даль», он едва ли бы уступил, он знает песни не хуже этой. Полудержавинская «Пчелочка златая, что же ты журжешь?» (как пели казаки в разных хороводных игрищах) или «Ой ты, батюшка, наш Тихий Дон» всегда при нем. И тут Григорий и Шолохов мало расходятся со всемирной классикой, даже при личном незнакомстве с Чайковским и Мусоргским, с Достоевским и Львом Толстым. Разве что Эдисон Васильевич Денисов в таком союзе звуков, чувств и дум усомнился бы, да и то по вынужденности судьбой-индейкой. В глубине души и сверхмодернист, вполне по Глинке и Сусанину, «чует правду» и даже трепещет.

Возвратимся на шлях Григория, который странствует и воюет не только без прислуги, но и без княжеской «раздумчивости» толстовского Андрея. Нет у него и болезненно-блудливых вожделений Анатоля Курагина — грязненьких, сколько бы грехов ни искупила Анатолю его бородинская кончина. Григорий гоним неотступно, без отдыха и срока. Ему не до прогулок с теннисной ракеткой или с сачком «доктора энтомологии», зорко и похотливо наставленным на какую-нибудь триналцатилетнюю девочку, чью-то любимую дочь и сестру. Кому она дочь и сестра? Энтузиасту «Лолиты» или всего лишь ничтожному отсталому крестьянину? Пусть читатель выберет сам, что для него в таком докторе — или, скажем, в отце-обновленце — христиански покойнее. А вот брат — брат Григория уже, конечно, не станет печально-мудрым советским генералом, как некто из круга покойного Живаго. Урядник Петро Мелехов сдался Кошевому под честное слово еще в мятеж и убит, естественно, сразу же после сдачи; его служебный рост исключен. Григорий же тянется к дому; не потому даже, что там любимая «Пенелопа» (казаку здесь не повезло), или же какая-нибудь преспокойно обманутая, но зато способная легко простить «Донна Анна» или «Клара»; само подобное имя в средостении романа было бы диким, там даже средиземноморски знойная Анна Погудко, подруга большевика Бунчука, проходит как-то стороной. Григорий и не страдалец-политик думского пошиба, в ком уязвлено революцией довольство его конституцией куцей; он не ждет возврата имения или особняка на Поварской или же вновь сладкой близости ежедневно — о, обездоленные дети начальства — Елисеевского магазина с шоколадом. Григория можно, конечно, представить себе и изгнанником: в Новороссийске двадцатого года его задержал, по сути, лишь случай, лишив места на иностранном пароходе. Не облюбованному нашими голубыми экранами роду мигранта — «юноша бледный со взором блудливым, сын нувориша с Де Садом в руках» — этому Григорий положительно чужд. Он и под Парижем, и в Южной Америке возьмется именно и непременно за плуг и вскоре научит Мишатку, а потом и будущих Мишаткиных сыновей, снабжать иные страны хлебом. Он и далеко от родины будет вспоминать не пуховики с легкодоступными горничными, не дорогую книгу с пикантными древнегреческими мифами, а пашню, хотя бы и без микроагротехники. Мужские, сыновние, отцовские и художественные наклонности у него, конечно, есть, у его мира тоже есть родословные связи с «великой культурой» — она-то иначе из чего возникла? Он и есть ее исток. К дому его влекут не виды на начальствование — хотя бы и в сельсовете, где рядом с Кошевым легко приживется, перековавшись и овладев политграмотой, прелестница Дарья, а желание прежде всего, как и прежде, — потрудиться на родной ниве.

Жить на своей земле оседлым трудовым миром, в широком и добровольно-родственном согласии — от отдельной семьи до связующего самобытные народы человечества; жить без чванливости и самодурства толстопузых при непременном обеспечении слабых; жить с добросовестной, бескорыстной и непременной отдачей миру всех сыновних и братских долгов вместо стяжательского заимодавства-ростовщичества; жить с постоянной охраной обычая и человеческого достоинства каждого — с охраной теми общими нравственными силами, которые гораздо надежнее, чутче и справедливее любых законов. Вот каковы коренные, с огромной родословной, побуждения Григория. Они ничуть не уступают умной, по-своему, мечте Столыпина о матерой крепости мира зажиточных, себялюбивых и общественно полезных частников; и народные побуждения превосходят, пожалуй, эту мечту естественностью и полнотой.

За эти и коренные, и государственные побуждения, внушенные ему трудящимся православным народом, Григорий и терпит муки долгого пути из одной эпохи в другую.

В рамках эпохи новой — как представить себе развязку прямо по Гомеру: хозяин возвращается, натягивает залежавшийся лук и при поддержке сына разгоняет наглецов, что заполонили Итаку и досаждают жениховством Пенелопе. «О Русь моя, жена моя!» Но разве нет в «Тихом Доне» все равно живого чисто гомеровского простора и соответственного же, да еще и с избытком, содержания? Сила поборола силу — но какая какую? И разве мало здесь нужных уроков?

* * *

Что касается чисто заемных «параметров» и «парадигм», то, например, «Улисс» у Джойса перенасыщен ими, с худосочными блумами и дедалусами на местах, которые греки отводили людям великой крепости и, что называется, высокого полета. И внедренный в чахлую почву набор чужих знаков не случайно именуется парадигмой. Кроме библиотечной и потому мнимо греческой разметки «Улисс» не несет, да никак не мог бы и приподнять, ничего соотносимого с могутной античностью. Что и скрывается умным обозначением по-гречески. Почти массовое между тем признание Джойса с «Улиссом» безоговорочно и подобострастно, а имя Шолохова то и дело рождает взвинченную склоку. Может ли дело объясняться тем, что сильное слово сказал казак с недостаточно голубой кровью? Но за «мелкобуржуазные корни» можно было бы сторониться и Джойса. В науке же, где голубизна крови вовсе не так уж и очевидна, это мерило использовать опрометчиво, не происхождение писателя рождает в ней, очевидно, переполох и нервозность. Скорее, сказывается огромность вопроса, скрытого в «Тихом Доне». Обязанная работать на совесть, наука нуждается в особом кругозоре, чтобы этот вопрос нащупать — и кругозор нужен гораздо более чем книжный. То есть науке нужно родство не с книгой, а с прочной жизнью и с ее истоками. А легко ли это, и дает ли ощущение близости истоков само по себе то, что ты занимаешься Древним Египтом или «читаешь по-гречески»? Возможен ли вкус к истокам в любителе литературы как голоса голой современности, которая однодневна, ни в чем, кроме политики, не коренится и ни в какие дали и глубины не смотрит, особенно в глубины живые?

А «Тихий Дон» весь построен на такой связи. Это свидетельство: на одиссеевы высоты способен без хитростей и подлостей подняться тот, кто, казалось бы, только участи терситов и заслуживает. Чертыхающимися же половыми перед прочным существом мироздания выглядят как раз гонители и судьи землепашца, который чего-то недопонял и к чему-то не готов. У этого свидетельства велика глубина предыстории, велика и его дальновидность. И его не перечеркнуть отговорками, будто «в меняющемся мире» верность вечным истинам нелепа.

Может ли писатель сообщать всемирную весть, передавать и наращивать накопления веков без книжной учености? Наука довольно ловко уклоняется от исполнения трудового долга и тогда, когда гнушается образованности, и когда уверяет, что всему голова библиотека. Это лжет против пушкинского «Памятника», даже против «Прославления писцов», которое у нас перевела с древнеегипетского Анна Андреевна Ахматова. Но это никак не колеблет «Тихий Дон», хотя бы обращало неправду и на него. Всемирно весомое содержание роман не обязан был черпать «из книг». О чем-то похожем говорила толкователям своего мужа еще Надежда Яковлевна Мандельштам. Зачем, найдя умную строку у Осипа Эмилевича, подозревать в нем сугубого начетчика-талмудиста? — ведь мировые образцы были у людей культуры притчей во языцех, хотя первоисточники читал отнюдь не каждый; каждый только слышал других, дышал общим воздухом. Ну а тогда Шоло-

ховский мир, и Россия в целом с испытанным ею оборотом дел, и подавно был полон вселенскими напряжениями. В мире земли звучали отголоски всех вечных вопросов. А можно ли найти условия, которые были бы лучше для преемственности между трудом Шолохова и сверхтысячелетним трудом человечества? В общении с истиной едва ли что напрочь разграничивает народы, которые все эти тысячи лет творили не зря. Ведь даже и ад, средоточие мерзостей, довольно интернационален по наполнению.

Кстати, в аду, как он нарисован у итальянца Данте, оказался и древний искусник Одиссей. Сколько бы заслуг Данте за ним ни видел, он решился на это — хотя бы как преданный наследник Вергилию, который его по аду и водил. Ведь по Вергилиевой поэме «Энеида» Рим связан с Троей, откуда бежит пострадавший от ахейского войска царевич Эней, попадая потом как раз в «Италию». Но еще определеннее Данте выступил тут как человек христианской, новой эры: это она признала всех людей братьями, усомнилась в законе «кто победил — тот и прав», а потому она и Одиссея должна была признать хотя и удачливым, но преступным братоубийцей. Так шло расширение кругозора у человеческой совести. Но задумаемся: кто бы взялся разместить в аду еще и Григория Мелехова? Бесы и иные руководящие деятели Подземелья, возможно, сделали бы это охотно. Они, пожалуй, даже снабдили бы пропуском на выход умницу Одиссея, чтобы избавить его от соседства с чернью. В каком-нибудь наземном сооружении, приспособленном заново под чисто светские нужды, величавый хитрец получил бы у них почетное место. Скажем, место Учителя или Большого Мастера. Впрочем, ад и тогда наверняка остался бы международным.

В области совести и милосердия, открытой всем искренним народам одинаково, «Тихий Дон» держится совершенно других правил и не побуждает человечество идти вспять.

* * *

Оставим «метафоры» ради той донской земли, где живет и мечется Григорий. При размышлениях о жизни, которая взяла революционное направление в развитии, это оправдано: Шолохов воспроизвел ее не через химеры, а, что называется, исторически конкретно. При родственных чувствах к этой земле нетрудно видеть в «Тихом Доне» повесть о судьбе собственно донцов, предысторию и итог расказачивания по Троцкому и Свердлову. Разве доля казаков сама по себе не стоит внимания? Его Россия и уделяла Дону издавна, что позволяет верно понять казачье и тут.

Дон заветный, сок кипучий, искрометный. Давние слова; а, скажем, былины о «старом казаке Илье Муромце» или песни про Степана Разина, любимые Пушкиным, еще древнее. Сколько людей, думавших совершенно по-московски (то есть в собирательном общерусском духе), сколько наших «руководящих умов», как назвал Пушкина Достоевский, дорожили казаком.

Сколько всенародных задач оказывалось этим обозначено. И сколько в казацком наследии есть принадлежностей для освоения заново.

Ими пользуются, конечно, по-разному.

> Любо братцы, любо,
> любо, братцы, жить!
> С нашим атаманом
> не приходится тужить!

До самого последнего времени в наших радиопостановках и т. п. эту песню пели исключительно пьяные петлюровцы и всякие иные «архаровцы»; еще бы, это песня с предсмертной тоской казака — по жене, по матери-старушке, широкой степи и буланому коню. Не везло и всенародному, государственному герою, устроителю Дона атаману Платову: из одной «ленты» о Левше в другую он переходил в виде непросыхающего держиморды. Едва ли здесь будет что скоро меняться, в известных руках. Хорошо лишь, что не все песни и картины из прошлого очернены кистью сонной. Они близки миру «Тихого Дона», роман вырастает из них; и чьим весом, как не Шолохова, их удавалось беречь от потаптыванья до смерти с помощью героики «красных дьяволят» и «комиссаров в пыльных шлемах». Не знаю, как упомянутый уже «Эдисон Васильевич», а Глинка и Рахманинов об этой гибели пожалели бы: не любили они дьяволят. Здесь Шолохов уж точно представлял в СССР их интересы.

Или вот кубанская — «Йихал козак на вийноньку». Казак погиб, любовь его поругана: «А злыи люды на сылу взялы нещасну дивчину». Комментарий с опережением к событиям 1919 года; архивы говорят о том же. Или: «Ой, на гори тай женци жнуть», ее поют везде. Неосмотрительный атаман ушел в поход и «промэняв жинку на тютюн де люльку», над ним посмеиваются соратники. На этот смех казак Сагайдачный весело же и отвечает: «Мэни з жинкой нэ возыться, а тютюн да люлька козаку у дорози знадобыться», так что «нэ журыся». И как не вспомнить Тараса Бульбу за мгновенье до плена у ляхов: он упрямо ищет в траве дорогую люльку, не думая про опасность и «жену».

А вот его сын Андрий: добрый был бы казак, не оступись в черную измену. Подъезжает Остап: «Батько, это ты убил его?» Отец и брат хоронят отступника. Вскоре ляхи казнят Остапа: и он, и Андрий остаются знаками на одном из существенных русских перепутий, вплоть до сегодня.

Пушкин кое от чего казака и предостерегал, например, от лихоимства: в «Годунове» сичевики «лишь только селы грабят («а поляки лишь хвастают да пьют»). Пушкин же искал выхода для ударившихся в бунты. «Вот мой Пугач», — пишет он Давыдову, посылая историю пугачевщины: «В передовом твоем отряде урядник был бы он лихой». И верно, зачем полцарства не по чину? А в чужих царствах пригодились бы они и сегодня, рубаки и пластуны. И вместо воплей об «имперской политике» бросались бы в воздух чепчики, косясь, посторанивались бы и давали дорогу непоспевшие к лакомому куску. Все свободолюбивы, по сути, одинаковы. По

Пушкину же, и лихость должна знать меру. «Эй, казак, не рвися к бою: делибаш на всем скаку срежет саблею кривою с плеч удалую башку». Донец и «красный делибаш» (образ из будущего?) все же схватились. Что получилось, известно:

> Делибаш уже на пике,
> А казан без головы.

«Головы берегите. Ими ишшо думать...». Поэтому ценен не только прямодушный Тарас, но и гоголевский Мосий Шило. Молись на луну, топчи крест — требуют одолевшие турки. Мосий помолился, растоптал крест и притих, а вскоре вывел товарищей из неволи и снова встал за православное дело. Недаром Гоголь назвал его по Моисею, пророк выше критики.

В общем, казаком у наших старых писателей обозначена любая передовая принадлежность к общему, всем любезная складка. Москвич Лев Толстой склонялся вместе с Олениным перед Ерошкой и Лукашкой. Что же тогда говорить о верности казачеству у Федора Крюкова. Он, конечно, был болен институтско-питерским разрывом с Донщиной и честно выразил это через стенанья отпускника-студента в «Казачке»: «Ты у себя дома, а я дом потерял...» Но и через наружную созерцательность рассказов о донском «простонародье» переданы чисто родственные порывы. Отнять их — останется лишь мировоззренчески благоговеющий Оленин: не ново, но и не так мало, и как раз в меру крюковского дарования.

Так пишет о крестьянах и Солженицын; но символичную высоту донского понимает и он. Лет тридцать назад, на приеме у Хрущева, он был рад и горд сказать о себе и Шолохове сразу: не «южане», а «да, донцы». Хотя Солженицын уж явно и совершенно иногородний, а сколько здесь упоения Доном — еще до занятий «над вопросом» о донской романистике; даже до вопроса о Ленинской премии (ибо это было как раз перед его «постановкой» в верхах, где мнение великого донца считалось не последним). Это «да, донцы» сказано совсем недаром.

Через казацкий опыт осознавали и возможность братства совсем разных народов. (Григорий Мелехов, «турка», здесь тоже и не нов, и значителен.) «Богатырь ты будешь с виду и казак душой»; там же — «Злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал». Но по Лермонтову же, да и по Толстому, известна правда куначества. Дело не в «чеченах» и не в «турках»... Внутренний турок — вот трудно распознаваемый в его «тысяче разных видов» серьезнейший враг, — наставляет Добролюбов по поводу тургеневского «Накануне». Позже, устами проницательного живописца Диего Риверы («Мама и нейтронная бомба») признал себя имеющим тысячу разных лиц коммивояжер и комиссар Евтушенко.

А казацкое в женщине? Кто-то из стариков бросает о Наташе Ростовой: «казак-девка». И Наташа — «казак» не только тогда, когда ребенком пляшет что-то русское в Ильинском, но и при младенческих пеленках и коклюшах в столичном семействе, где со страстью ведет новое дело. Более производительного, более духовно полного труда человечество для женщины так и не придумало. Все рожденные и вскормленные дома, при изобилии братьев и сестер, все росшие под добрую песню и под «пляску с топаньем и свистом» люди — стране пригодились. В них не было недостатка, и никто не заявлял, что их слишком много.

Издавна годились сметка, верность и сила казаков: в стоянии на Хортице, в походах Ермака, в удивившем Европу возведении Комсомольска и Магнитки. Став лишними в родных станицах, казаки прижились в забоях метро. Мирные дети труда... Ценили их труд деятели подземелья. Тяжких бед русское художество Дону наперед не желало. Но революционное развитие жизни вблизи XX века остро чуяла и классика. Требование «воспроизводить» его исторически конкретно было приемлемым и для нее; и при чем здесь циркулярные указания Первого съезда писателей? В «Тихом Доне» все было сделано согласно давнишним побуждениям художеств: направлять общежитие по тому пути, где донское роднилось с общероссийским, а то — откликалось на замыслы даже дорусские, попросту говоря, общемировые. Не Гомер ли, при всей потехе над Терситом, воспел, хотя бы и походя, жизнь какого-то таинственного для тех времен северного народа «гипербореев» — жизнь мирно-справедливую и нестяжательскую. За возмущение этого мирового потока, устремлявшегося к правде, лукавым политиканством —

> Давай народ искусно волновать, —

или свирепыми циркулярами, трибуналами, подозрительным «новым» христианством ленинского призыва и прочими напастями побуждения народов не ответственны.

* * *

Совершенно особой оказывалась лишь ответственность писателя. «А ведь ты, Миша, контрик. Твой «Тихий Дон» белым — ближе, чем нам». И если даже домыслить и добавить, что при этих словах Шолохову народный комиссар Ягода «дружелюбно улыбался», на душе не легче. Так бывало не раз. К сороковому году роман был дописан и издан, позади была жизнь, равная как раз пушкинской на время «Памятника» и «Капитанской дочки»: ровно столько ушло на новое размышление русского художественного слова о чести и милости. Но тягость испытания! Сделанную в промежутке «Поднятую целину» не понять, забыв про Мосия Шилу из «Тараса Бульбы»: православный, смирно согласившийся помолиться на луну. Полезно было проверить, через двадцатипятитысячника Давыдова-Плоткина, и некоторые особенности расказачивания — нерв романа, который тогда же все писался и писался. Там о будущих, по сравнению с гражданской войной, практикантах Гремячего Лога сказано не меньше, чем в «Поднятой целине», хотя и без забав деда Щукаря. Вспомнить только Штокмана и Мишку Кошевого. Какая, однако же, твердость в охране подлинного вида «Тихого Дона»

как главной жизненной задачи. Так берегут, как оберегался «Тихий Дон», только явно собственное детище. А при подлоге ведут себя проще: «подобно нищей развращенной, просящей лепты незаконной с чужим младенцем на руках» — почему не навести чужому ребенку ярко-красных румян? Тогда не будет миролюбивых намеков Ягоды. Почему не учинить правде красноречивого увечья? Лепте сверху тогда уже обеспечена верно, без слежек и засылок в Вешки постояльцев с наганом для расправы подальше от столиц.

О, украв у какого-нибудь «настоящего автора» рукопись вроде «Тихого Дона», сколько художников слова быстро почистили бы ее и прямиком втолкнули бы Григория в коммуну с плакатами и стенгазетой. А как издавна различали родных матерей и самозванок? Для подлинной матери собственная безопасность, жизнь и даже «честь» — ничто перед невредимостью ее дитяти. Так проверял матерей Израиля мудрец Соломон. Что мешает нам (или вам) держаться в вопросе о Шолохове такого же уровня?

Миролюбиво-вкрадчивое предложение: без ложной боязни, назовите нам только сами источники, к которым вы прибегали. Ну, там, записки чьи-то, дневники. Это же такая обычная для вашего искусства вещь, не вы один. Только подлец будет за это вас, как вот вы странно выражаетесь, преследовать.

И почему не назвать, разве не известно, что подлецов уже давно нету?

Справку о зачатии и двух его непредвзятых свидетелей? «Казака взять думали!» — огрызается Григорий, от верной пули уйдя с дружественной вечеринки на хуторе. Разумеется, «объективное научное исследование» может оказаться похожим на «неподкупное следствие по делу» и неожиданно, невольно. Например, называли же «Клеветникам России» сделкой писателя с совестью. Это извинительно: ведь убеждение, что без сделки с совестью ничего путного не создашь, могут многие питать с явной личной обоснованностью. Литературный, как он себя зовет, цех не свободен от профессиональных и даже наследственных болезней, они заслуживают снисхождения, какими бы ни были затяжными.

О, как многие хотели бы сказать: да, я плевал на крест, потому что собирался тоже написать свой «Тихий Дон». Да ведь не бросишь камня и в тех, кто просто молчал и таился. Но тем и значительнее бесстрашные да еще плодотворные умы, они-то искупали житейскую невоинственность других. Тем ярче прирожденный борец Солженицын. Десятилетиями он явно и упорно, не взирая на личные боли, копит и копит в себе спокойную милость к падшим. И уж тем более беспримерна та милость к падшим, если только забыть про пример Христа, которою исполнено всеобъемлемое художество Пушкина и Шолохова.

Бывают грехи, в которые впадаешь по силе мук от растерянности и злобы дня, от вспышки и своей злобы. Но в общем деле размышлений, как нам обустроить Россию, растерянность и учительское высокомерие, сведение счетов и счетцев не должны стать затяжным недугом профессионального революционера. А к нынешнему общему делу «Тихий Дон» — вплоть до последних слов «это было все» — имеет живое отношение.

Ведь и мы возвращаемся в резоренный дом. Что кто-то не жил и дня, и уже тем более ие пахал там, где ближе всего к основам искусств, — не беда. Не беда, что кому-то возвращаться и некогда: дописывает рукопись, а картотек накопилось — и за три года не увяжешь. В целом-то страна все равно общая, даже при наблюдении издали. И «Тихий Дон» не хуже, чем дописываемый поклеп на него, разъясняет, как и что обустраивать.

* * *

Что ж, вот и сбылось то немногое, о чем бессонными ночами мечтал Григорий. Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына. .

Между двумя последними предложениями «Тихого Дона» стоит выразительное многоточие. Шел март двадцать второго года, с Кубани подступала весна. Неистребимая привычка пахаря — откликаться на это. Подумать о плуге, задать побольше корму быкам. Уцелевшие казаки потянутся в поле, а там повалят всем хутором на сенокос... Ведь и хутор казацкий, как хорошо знают наши культурологи, — не жилище домовитого балтийского одиночки. Да и не Балтике ж кормить Европу! Так мог еще в двадцать втором году размышлять по несознательности Григорий. И «это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром».

В сороковом же году это дополнялось и итогами, и предчувствиями. Хотя и без особой надежды на «русских князей», становилось опять так нужно единение перед новым нашествием монголов. По вечному для нас вопросу вопросов была своевременно предъявлена нужная книга. В таких выражениях когда-то оценивали горьковскую «Мать»; так С. С. Аверинцев в «Литературной газете» завершил выступление о «Плахе», предварительно с беспощадностью и остроумием показав, что такое в культурном отношении новый роман кыргыза Ч. Айтматова. Шолохов решал задачу, конечно, покрупнее. И на русский вопрос вопросов им дан ответ. В гражданских хождениях по мукам побеждают не «лагеря», сама схватка лагерей подавляется неизбежно разумом жизни. Этот разум говорит через тех, чья жизнь и всегда шла согласно высшему замыслу: в поте лица добывать хлеб. Подлинно, Бога глас к нему воззвал — и бытие откликнулось. На краю гибели, из обоих станов, миллионы и миллионы домашних, семейных, трудовых и корневых людей смирились с неисчислимыми угрозами. Так красиво было бы умереть сразу же, так античто «не ново». Люди переступили за рубеж позднейшего затмения) не дождавшись зарубежных плутов на бензине, они ушли в ковырянье земли, в самые простые и разные общегосударственные работы, производительные и оборонные — по возделыванью нивы, воспитанию детей и по обеспечению целостности стране. Этим, а не дробью барабанщиков, хлипких корнетов из новоначальств жизнь была остановлена на краю гибели который раз, хотя люди гибли и дальше. Не без черного солнца для иных, но то же самое все равно получится каждый раз, когда страну взбудоражат прокламациями, «свободными выборами», декретами «суверенных правительств», когда воспалят алчность «народов», особенно в лице их вороватых вождей. Но если так, то зачем снова начинать? И почему снова начали?

Сейчас, наверное, ясно: по крайней и роковой противохудожественности зачинщиков и доверчивых последователей. Художественная глухота — это свойство, которое может губить и неплохих людей. Она поражает особей даже с гениальным музыкальным слухом и не считается даже ни с какими этническими различиями. Музыкант благородного, в этом смысле, происхождения гадко и нарочито сквернословит при всех. Разве это не противохудожественно? Таково его визгливое «челло» и в «политике». Эта бесштанность, эта плоскодонность досадно отличает тех, кто живет газетой, массовкой, телевизором и помешался на «совестях нашей нации». Совестей этих, судя по газетам, как раз и именно две. Одна лезла на трибуны съездов с нечеховским, прямо скажем, заявлением: «Как вы понимаете, я здесь имею особое право выступать чаще других»; она была так довольна собой и женой, своей конституцией куцей... Другая — то божится «Словом о полку Игореве», то трусит впереди молодежи с заверениями: «Я тоже, и уже давно, больше всего ценю Хлебникова и Мандельштама». Это двойственность, очень показательная для уяснения природы и состояния «нации». Эта двойственность тоже противохудожественна.

Надо уметь любить Мандельштама. Чтобы его полюбить по-настоящему, без обмана, надо понять его культуру, надо с детства по-особому построить свой ум. А чтобы строить? Надо знать, надо овладеть наукой и учиться упорно, терпеливо, а не просто подслушивать новости у передовых собственных аспирантов. Те же требования приложимы к постижению и подлинно прекрасного — искусства, растущего из песни землепашца. Антихудожественным людям все видится иначе. Жена одной из совестей кричит с броневика на революционном параде: мы — не быдло! Мы — не быдло! Сколько сладострастия в смаковании слова «быдло», сколько убежденности, что быдло — есть. Чует мое сердце: с точки зрения конституции куцей — это реакционно оседлый, ни на какие сборища не рвущийся глубоко православный все еще народ — и все, что с ним еще родственно связано.

Художественное влечет к покою и воле, источает правду, поэзию согласия. Вокруг этого бегают люди, которые приходуют художественное по совершенно казенным накладным, нелепым в применении к искусству, свирепым к нему.

Среди них — приспешники разоблачительского дела; те прибывают на временную подмогу с очередной выходки на площадях. Их основная чесотка — что «Шолохов сомнителен как человек». Мол, сам убедился, сам слышал. Писатель имел жену, нескольких детей от нее же, а с казаками выпивал: «Приезжая холуйствовать в Вешки, сам видел, как он пил». Из времен еще до полка Игорева смиренная русская словесность отвечает: «пиях», ну и что же?

«Аз же неподобно ходих путем сим святым, во всякой лености и слабости и во пьянстве и вся неподобные дела творя... не возносяся ни величаяся путем сим... исписах все, еже видех очима своима, дабы не в забыть было то, еже им показа Бог видети недостойному». Так за любого грешного писателя отвечает поденщикам развенчаний игумен Даниил из двенадцатого века. Я, говорит он, не безупречен, но я сделал, чему обязывал меня опыт и дарование, ибо «убояхся онаго раба лениваго, скрывшаго талант господина своего и не створившаго прикупа им, да сие написах верных ради человек».

Сами же вдохновители позора — глубже. Они понимают ложь и узость в застрельщиках «ярости масс», трусость оплевывания солдатской казармы и проч. Говоря поневоле известным непушкинским стильком, они поднялись над неудачными образованцами. Они ценят серьезную науку: сами пользовались тьмою советников, подчас совершенно беззащитных и бескорыстно жертвенных. Они не гнушаются употреблением умных и достоверных посторонних источников. Они сделали почти неимоверное — разобрались «по вопросу о национальностях» и этим нажили себе таких новых гонителей, доберманов и пинчеров, которые не уступят колымским егерям. (А по Христу, вопрос-то дутый, тем более когда берутся за его прояснение они.) Не говорю уже и о другой почти невероятности: они сами поверили в свою собственную православность. Но и высшей марки скептик оказывается не вполне надежен. Это свойство лжи.

Это и самообман. Ведь «скептицизм», о котором мы говорим, думает про себя, будто он «против Шолохова». На самом же деле он — против «Тихого Дона», ибо втискивает его в сугубо партийные ведомости. Мы бы даже сказали точнее: «ведомостя». Ну разве такой самообман не конфузен для непредвзятых художеств?

Называть общенародный голос, противный злобе и жаждам судилища, голосом белого лагеря — это уступка самому мрачному прошлому и вовсе не в пользу тех же белых. Получается не скептик-гуманист, вроде Баруха Спинозы или Монтеня, а какой-то опять неистовый Виссарион — куда там его вёшенскому батюшке-тезке! Это, скорее, боевой отец Вякунин с воспаленным взором, из парламента вот уже год, наверное, как не заходивший в церковь.

Или певец про «комиссаров в пыльных шлемах», лысый рапсод все той же «единственной, гражданской», несменяемый даже в разгул нового мышления. Может быть, кому-то важно держать шлемы и ятаганы наготове — опять ходить на отсталую деревню за несознательно выращенным и укрытым от порчи хлебом; но жаль, что таков и литературовед-скептик. Он и умен, и духовно свободен, но обреченно гнет в газету, в заезженное «идейное содержание»; бессилен отвыкнуть от партийности по Ягоде тот, у кого с Ягодой не должно быть уж ничего общего. Ну а если наука не может объяснить, что написано, то как поверить ее судебному приговору, кто написал? Концы с концами не сходятся.

Такова трудность художественного для нехудожественного человека. От чьего-то порока должны страдать все. Что же касается Александра Исаевича Солженицына, то скажем наконец и о нем. Весьма подозрительное литературоведение, столь недоверчивое к трехтысячелетним накоплениям культуры, не станет ему хорошим подспорьем. Да это и вообще не его область — судить о чужих книгах. Он — прямой депутат века по смелой, честной и острой политологии, по истории и публицистике. Говоря особым языком, он в этом деле избранец. А в искусстве он крюковец-цветаевец. Именно здесь, если прибегнуть к словарю уже совершенно чистому, его талант и его же явный, как хорошо выразился игумен Даниил, прикуп.

Не так ли? А жить не своим прикупом — жить по лжи.

Препятствовать всеобщему знакомству со смыслом «Тихого Дона» для публицистики нет никакой нужды. Пора уже, надо уйти несколько вперед от давнего суждения, согласно которому книжки («либелли», по-латыни) имеют ту или иную судьбу в зависимости от их восприятия читателями. Да что в конце концов судьба самих книг, они живучее нас! Между тем в меру внимания к книгам имеют и читатели свою судьбу, даже целые народы. А уж самых главных книг это касается точно. Было бы не по-христиански яростно навязывать морям и землям непонимание главной советской книги, родственной душе всего человечества.

Иными словами, книга эта — бездонный мир, куда погружаться и вникать можно вечно, может любой. Даже иностранцу важно понять Россию, а какая книга в этом смысле богаче. В самой же России это могут делать и подавно многие. Например, русский человек — чтобы понять, скажем, судьбу собственных родителей, если они с землей связаны. Русский же филолог — по вкусу к полифониям, к точкам зрения, мироотношениям, к рассказчикам, повествователям, авторам; к самому по себе неподражаемому и не подражательному языку Шолохова. Русский интеллигент — по любопытству к своеобразному «материалу», и чтобы было побольше зарубежных соответствий; а побьют чью-то карту по части «подлинного создателя книги» — найдется свежая работа: искать нового выдвиженца. Напишутся когда-нибудь и совершенно непредвзятые, не тронутые ученостью в прорехах и заплатах, книги о всемирной полноте содержания «Тихого Дона». А что, ведь роман — память жизни подлинно вселенская, и ее тоже, так сказать, личная память. Это память о том, что́ с наибольшей угрозой для всех гибнет в расколе, что́ надо при выходе из раскола спасать в первую очередь, что́ оберегать от раскола и распада всегда. Оберегите его — цвет нации, — и придет все остальное, от Пушкина до Рахманинова, от непривозного хлеба до порядка в запущенном доме. Разве не в изящнейшем японском трехстишии у «Басё» сказано про песню земледельца: «вот исток, вот начало всего искусства»? Так что плохо ли будет «культуре», если окажется, что и в двадцатом веке наибольшую ношу поднял пахарь-боец из глуши степных селений? Что самую весомую книгу столетия наполнил смыслом и красотой именно он? По исконному знанию любого дела, в том числе и по причастности к истокам искусства, он не любит красивостей, вроде «седых ковылей»; он крепок, не напичкан липовой каратаевщиной; он, наконец, способен к решительной самозащите даже в лагере — разве это кому-нибудь лично обидно? Проверьте по себе: вы чувствуете личную злобку, хотя бы мелкую? Злобку надо «угладить»; злобка — ложь, «особливо» в художнике слова. Не надо «утанывать» в ней; искусству «не след» это делать.

А Солженицын прав. И «сперва посиди с мое» — конечно, не его кредо. Это чтобы сел каждый, а тем самым и все? И страдалец за всех — их же, всех, ненавистник? Нет; относительно «Тихого Дона» ошибиться нельзя: совершенно определенного «решения по вопросу» наш далекий согражданин ждет не вообще, и не ради красного словца, а как раз сокровеннейше лично; глубоко личной «озабоченности по вопросу» он ждет и от других.

